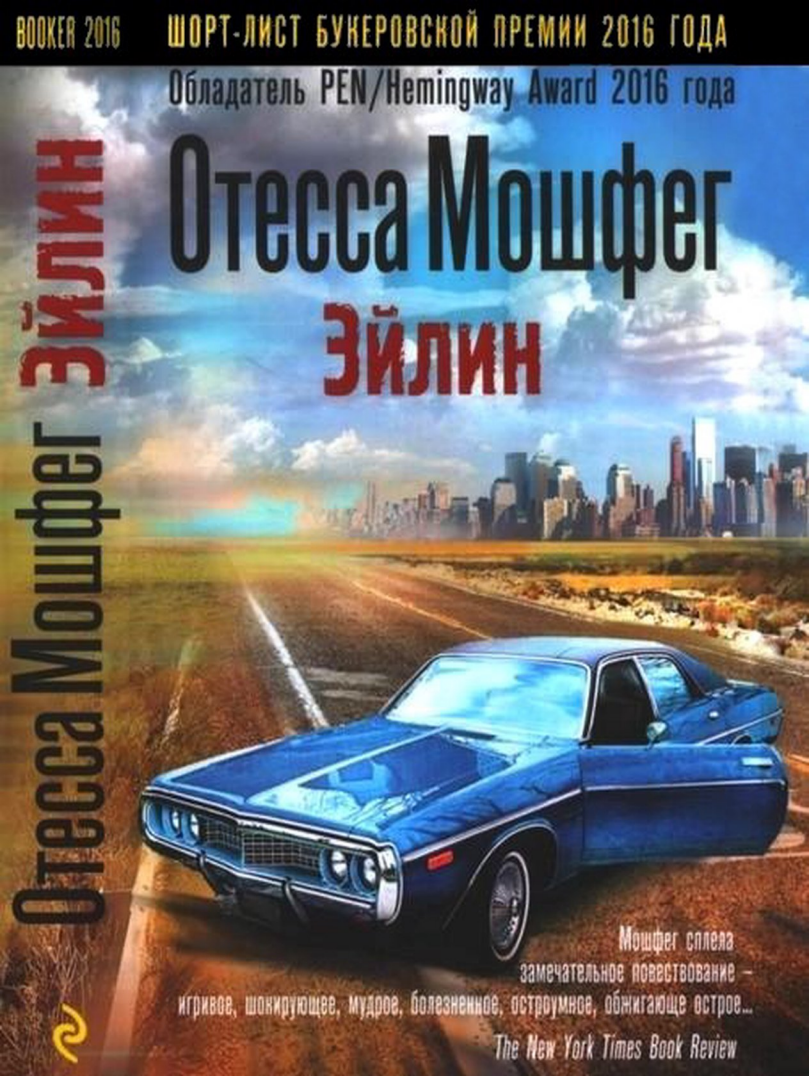
BOOKER 2016 ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2016 ГОДА

Обладатель PEN/Hemingway Award 2016 года

Отесса Мошфег

Эйлин

Отесса Мошфег Эйлин



Мошфег сплела замечательное повествование – игривое, шокирующее, мудрое, болезненное, остроумное, обжигающе острое...

The New York Times Book Review

Эйлин

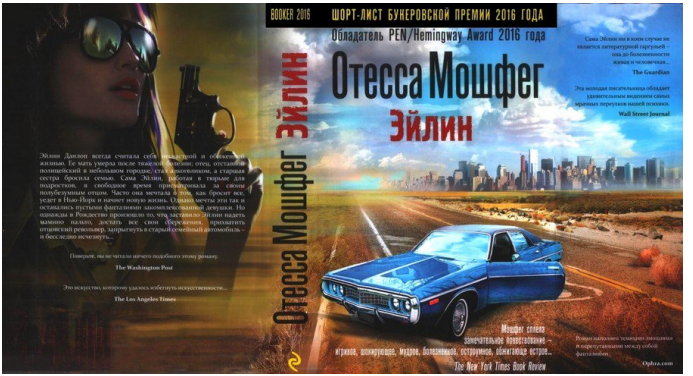
Отесса Мошфег

Аннотация
Отесса Мошфег. ЭЙЛИН
1964
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Канун Рождества
Финал

Аннотация

Эйлин Данлоп всегда считала себя несчастной и обиженной жизнью. Ее мать умерла после тяжелой болезни; отец, отставной полицейский в небольшом городке, стал алкоголиком, а старшая сестра бросила семью. Сама Эйлин, работая в тюрьме для подростков, в свободное время присматривала за своим полубезумным отцом. Часто она мечтала о том, как бросит все, уедет в Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты эти так и оставались пустыми фантазиями закомплексованной девушки. Но однажды в Рождество произошло то, что заставило Эйлин надеть мамино пальто, достать все свои сбережения, прихватить отцовский револьвер, запрыгнуть в старый семейный автомобиль — и бесследно исчезнуть…

«Сама Эйлин ни в коем случае не является литературной гаргульей — она до болезненности живая и человечная… / *The Guardian*»


BOOKER 2016
ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2016 ГОДА
Обладатель PEN/Hemingway Award 2016 года
Отесса Мошфег
Эйлин
Отесса Мошфег Эйлин
Эйлин Дантон всегда считала себя неудачной и обделенной жизнью. Ее мать умерла после тяжелого инсульта, отец, отставной полицейский в небольшом городке, стал алкоголиком, а старшая сестра бросила семью. Сама Эйлин, работая в тюрьме для подростков, и свободное время проводилась за своим полубезумным отцом. Часто она мечтала о том, как бросит все, уедет в Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты эти так и оставались пустыми фантазиями закомплексованной девушки. Но однажды в Рождество произошло то, что заставило Эйлин надеть мамино пальто, достать все свои сбережения, прихватить отцовский револьвер, запрыгнуть в старый семейный автомобиль – и бесследно исчезнуть...
Повторяю, на ее счету ничего подобного этому роману.
The Washington Post
Это искусство, которому удалось избежать искусственности...
The Los Angeles Times
Сама Эйлин ни в коем случае не является литературной пустышкой – она до болезненности живая и человечная...
The Guardian
Эта молодая писательница обладает удивительным видением самых мрачных переулков нашей психики.
Wall Street Journal
Мошфег сплела замечательное повествование – игривое, шокирующее, мудрое, болезненный, остроумное, обжигающе остроe...
The New York Times Book Review
Роман заполнил territory between и перестраивает между собой фантазийно.
Ophra.com

Отесса Мошфег
ЭЙЛИН



Отесса Мошфег родилась в Бостоне. Ее ранние произведения — повести и рассказы — были отмечены различными литературными премиями. А первый же роман получил такую популярность у критиков и читателей, что за короткое время получил престижную награду PEN/Hemingway Award за лучший дебют 2016 года и вошел в шорт-листы различных престижных литературных премий, в том числе и Букеровской.

Эта молодая писательница обладает удивительным видением самых мрачных переулков нашей психики.

Wall Street Journal

Мошфег сплела замечательное повествование — игривое, шокирующее, мудрое, болезненное, обжигающе острое…

The New York Times Book Review

Роман наполнен темными эмоциями и перепутанными между собой фантазиями.

Ophra.com

Поверьте, вы не читали ничего подобного этому роману.

The Washington Post

Это искусство, которому удалось избегнуть искусственности…

The Los Angeles Times

1964

Я выглядела точь-в-точь как девушка, которую можно увидеть в любом городском автобусе. В руках библиотечная книга в ледериновом переплете — наверное, что-то о растениях или географии; на светло-каштановые волосы, вероятно, натянута тонкая нейлоновая сетка. Вы могли бы принять меня за студентку медицинского училища или машинистку, отметить нервные движения рук, постукивание ногой, прикушенную нижнюю губу. В моей внешности не было ничего необычного. Мне легко сейчас вообразить эту девушку: странную, молодую и тусклую версию меня самой. В руках — старомодная кожаная сумочка или маленький пакетик арахиса, который я ем по одному орешку, катая их между затянутыми в перчатку пальцами. Вот я втягиваю щеки и тревожно смотрю в окно. Утреннее солнце высвечивает тонкий пушок на лице, который я пыталась замаскировать при помощи компакт-пудры — слишком розового оттенка для моей бледной кожи. Я была тощей и угловатой, движения — ломкими и нерешительными, а поза

— всегда неудобной, застывшей. У меня были крупные черты лица, а широкие, бросающиеся в глаза ямки от подростковых прыщей мешали увидеть, какая радость или безумие могли скрываться за этой убийственно-холодной новоанглийской внешностью. Если б я носила очки, то могла бы сойти за интеллигентку, но я была чересчур нетерпелива, чтобы быть по-настоящему интеллигентной. Можно было бы решить, что мне нравится тишина закрытых комнат, что я ищу покоя в скучном безмолвии, что мой взгляд медленно скользит по газетам, стенам, тяжелым занавесям, но никогда по-настоящему не отрывается от того, что как-то выделяется в моих глазах, — от книги, стола, дерева, человека… Однако я не любила спокойствие. Я не любила тишину. Я ненавидела почти все. Я постоянно была ужасно несчастной и злой. Я пыталась совладать с собой, но это делало меня еще более неуклюжей, несчастливой и сердитой. Я была как Жанна д'Арк или Гамлет, но родилась в неправильной жизни — в жизни, где я была никем, ненужной, незаметной. Лучше и не скажешь: тогда я не была собой. Я была кем-то другим. Я была Эйлин.

И тогда — это было пятьдесят лет назад — я была ханжой. Просто посмотрите на меня тогдашнюю.

Я носила плотные шерстяные юбки длиной ниже колена и толстые чулки. Я всегда застегивала свои пиджаки и блузки на все пуговицы. Я не была девушкой, на которую оглядываются прохожие. Однако в моей внешности не было ничего по-настоящему неправильного или уродливого. Полагаю, я была просто среднестатистической девушкой, юной и милой, но в то время считала себя худшей из худших: уродливой, отвратительной, не подходящей для этого мира. Такой, что привлекать к себе внимание казалось попросту нелепым. Я редко носила украшения, никогда не пользовалась парфюмерией, никогда не красила ногти. Иногда я надевала колечко с крошечным рубином — оно когда-то принадлежало моей матери.

Мои последние дни в образе злой маленькой Эйлин прошли в конце декабря, в суровом холодном городке, где я родилась и выросла. Зимой здесь выпадал снег — добрых три или четыре фута снежного покрова. Он захватывал территорию каждого двора, подступал к карнизам окон первого этажа, словно потоп. За день верхний слой снега подтаивал, в сточных канавах хлюпала вода, и ты вспоминал, что жизнь время от времени приносит радость, что солнце все еще

светит. Но после полудня солнце скрывалось, и все опять застывало, а на снегу образовывался наст — такой толстый, что к ночи уже способен был выдержать вес взрослого человека. Каждое утро я разбрасывала соль на узкой дорожке, ведущей от переднего крыльца к улице. С козырька над парадной дверью свисали сосульки, и я стояла там, воображая, как они срываются и пронзают мою грудь, пробивают хрящи моих плечевых суставов, подобно пулям, или разносят на кусочки мои череп и мозг. Тротуар от снега расчищали соседи — семейство, к которому мой отец питал глубокое недоверие, потому что они были лютеранами, а он — католиком. Но отец не доверял никому. Он был трусливым и безумным, какими становятся почти все старые пьяницы. На Рождество эти соседи-лютеране оставляли на нашем крыльце белую плетеную корзинку с вощеными яблоками, завернутыми в целлофан, и бутылкой хереса. Я помню открытку с надписью: «Господь да благословит вас обоих».

Кто знал, что творилось в доме, пока я была на работе? Это было трехэтажное здание в колониальном стиле; деревянные наружные стены его побурели от времени, а красная краска отделки осыпалась хлопьями. Я представляю, как мой

отец выпивает в честь Рождества подаренный херес и прикуривает от плиты старую сигару. Это забавная картина. Обычно он пил джин, иногда — пиво. Как я уже говорила, отец был пьяницей. В этом с ним было просто. Когда что-то случалось, его легко было отвлечь и утихомирить: я просто давала ему бутылку и выходила из комнаты. Конечно, в молодости его пьянство напрягало меня. Оно делало меня нервной и раздражительной. Так случается, когда живешь в одном доме с алкоголиком. В этом смысле моя история не уникальна. За столько лет я жила со множеством мужчин-алкоголиков, и все они научили меня тому, что беспокоиться бесполезно, спрашивать «почему» бессмысленно, а пытаться им помочь — самоубийственно. Они — те, кто они есть, к худу или к добру. Теперь я живу одна. Живу счастливо. Даже весело. Я слишком стара, чтобы меня заботили проблемы других людей. И я больше не трачу время на раздумья о будущем и на беспокойство о том, что пока еще не случилось. Но когда я была молода, я беспокоилась постоянно — не в последнюю очередь о своем будущем, но в основном в связи с будущим моего отца. Как долго он еще проживет, что он может сделать, что я обнаружу вечером, когда вернусь с работы…

Наш дом был не особо уютным. После смерти моей матери мы так и не разобрали и не выбросили ее вещи, ничего не переставили. Раньше в доме прибиралась только она, и теперь, когда ее не стало, наше жилище сделалось грязным и пыльным, со множеством бесполезных безделушек; все комнаты были забиты вещами, вещами, вещами… И все же оно ощущалось как абсолютно пустое; было похоже на брошенный дом, хозяева которого как-то ночью бежали неведомо куда, подобно евреям или цыганам. Мы практически не пользовались комнатой для отдыха, или столовой, или спальнями наверху. Вещи просто стояли или лежали — и собирали пыль. Журнал, брошенный на подлокотник дивана и забытый на много лет. Конфетница, полная дохлых муравьев. Этот дом вспоминается мне, словно фотографии домов в пустыне, брошенных после ядерных испытаний. Полагаю, вы и сами можете додумать подробности.

Я спала на чердаке, на раскладушке, которую мой отец лет десять назад приобрел для поездки на природу — куда, конечно же, так и не поехал. Чердак не отделали до конца; это было холодное и пыльное место, куда я ушла, когда моя мать заболела. Спать в моей детской спальне, находив-

шейся рядом с ее комнатой, было невозможно — она всю ночь плакала, кричала и звала меня по имени. На чердаке же было тихо.

Звуки с нижних этажей дома почти не долетали сюда. У моего отца было кресло, которое он перетащил из комнаты отдыха на кухню; в нем и спал. Спинка у кресла откидывалась назад, если потянуть за рычаг, — в те дни, когда он его купил, это была забавная новинка. Но рычаг сломался и больше не работал, и механизм кресла ржавел, застыв в вечной неподвижности. Все в доме было таким же, как это кресло, — угрюмым, сломанным и замершим.

Я помню, как меня радовало, что солнце зимой садится так рано. Под покровом сумрака мне было немного уютнее. Однако мой отец боялся темноты. На словах это может показаться милой причудой, однако оно не было таковой. По ночам он зажигал плиту и духовку, пил и наблюдал за пляской голубого пламени при слабом свете потолочной лампочки. Он вечно жаловался на холод, но всегда одевался легко. Как-то вечером — с которого я начну свое повествование, — я обнаружила его сидящим босиком на ступенях и прихлебывающим херес; в пальцах у него был зажат окурок сигары.

— Бедная Эйлин, — саркастически произнес отец, когда я вошла в дверь.

Он глубоко презирал меня, считал меня жалкой и непривлекательной и без обиняков говорил об этом вслух. Если б мои тогдашние мечты сбылись, в один прекрасный день я нашла бы его у подножия лестницы со сломанной шеей, но он бы еще дышал. «Как раз вовремя», — сказала бы я самым скучающим тоном, какой смогла бы изобразить, и бросила бы полный отвращения взгляд на его почти мертвое тело. Да, я ненавидела его, но чувство долга во мне было сильно. В доме нас было только двое — я и отец. У меня есть сестра, и насколько я знаю, она еще жива, но мы с ней не общались уже более пятидесяти лет.

— Привет, пап, — ответила я, поднимаясь мимо него по лестнице.

Он был не особо крупным мужчиной, но у него были широкие плечи и длинные ноги, и в его облике было что-то величественное. Его поредевшие седые волосы были зачесаны от лба к затылку и казались гуще, чем были. Однако выглядел он на десяток-другой лет старше своего подлинного возраста, а лицо его постоянно выражало циничный скептицизм и неодобрение. Сейчас, через столько лет, я понимаю, что он

был очень похож на мальчишек-заключенных в той тюрьме, где я работала: такой же обидчивый и сердитый. Его руки все время тряслись, вне зависимости от того, сколько он пил. Он вечно потирал подбородок, красный, морщинистый и обвисший; поглаживал его так, как взрослый может потрепать по макушке мальчишку, назвав его маленьким шельмецом. Отец говорил, что жалеет лишь о том, что так и не сумел отрастить настоящую бороду, хотя очень хотел этого, однако ему не удалось. Он всегда был таким — опечаленным, надменным и нелогичным одновременно. Мне кажется, на самом деле он не любил своих детей. Обручальное кольцо, которое отец продолжал носить много лет после смерти моей матери, наверное, свидетельствовало о том, что он питал хотя бы какую-то любовь к жене. Но я подозреваю, что он не был способен на любовь — подлинную любовь. Он был жесток по натуре. Единственное оправдание ему, которое мне удалось найти, — это картина того, как родители избивали его в детстве. Это не лучший путь к прощению, но уж какой есть. По крайней мере, это сработало.

Хочу сразу пояснить — это не история о том, как жесток был мой отец. Смысл моего рассказа не в том, чтобы пожаловаться на его жестокость.

Но я помню тот день, когда он обернулся, чтобы взглянуть на меня, и поморщился, словно от моего вида ему стало тошно. Я стояла на лестничной площадке, глядя вниз.

— Тебе придется снова выйти из дома, — прохрипел он, — и доехать до «Ларднера».

«Ларднером» назывался винный магазин на другом конце города. Отец выпустил из рук пустую бутылку из-под хереса, и она покатилась вниз по лестнице, подпрыгивая на ступенях.

Сейчас я стала чрезвычайно благоразумной и даже спокойной, но в те дни меня было легко разозлить. Отец постоянно требовал, чтобы я исполняла его приказания, словно горничная или служанка. Однако я была не способна сказать «нет» кому бы то ни было.

— Ладно, — ответила я.

Отец что-то проворчал и затянулся коротким окурком сигары. Когда меня что-то выводило из себя, я находила некоторое успокоение в заботах о своем внешнем виде. На самом деле я была одержима тем, как я выгляжу. Глаза у меня маленькие, зеленого цвета, и вы вряд ли заметили бы в них особую доброту — тем более в те дни. Я не из тех женщин, которые желают постоянно радовать окружающих. Я не мыслю такими

категориями. Если б вы увидели меня тогда — с заколкой в волосах, в тускло-сером шерстяном пальто, — то могли бы счесть меня просто проходным персонажем этого повествования, честным, спокойным, скучным и незначительным. Издали я выглядела застенчивой и мягкосердечной — и временами хотела быть именно такой. Но я довольно часто вспыхивала, ругалась и потела от злости; и в тот день я захлопнула дверь санузла, пнув ее подошвой ботинка и едва не сорвав с петель. С виду я была скучной, безжизненной, невосприимчивой и равнодушной, но на самом деле я всегда была яростной, озлобленной, мои мысли неслись бурным потоком и часто принимали убийственный оборот. Было легко прятаться за этим тусклым, невыразительным лицом. Я действительно считала, что обманываю всех. И на самом деле я не читала книжек о цветах или о ведении домашнего хозяйства. Я любила книги об ужасных вещах — убийствах, болезнях, смерти. Помню, я взяла в публичной библиотеке один из самых толстых томов — описание египетской медицины, — чтобы побольше узнать о жутких практиках бальзамировщиков, которые вытягивали мозги умерших через нос, словно разматывая клубок пряжи.

Я любила представлять свой мозг именно так — как клубок перепутанной пряжи в моем черепе. Фантазии о том, что мои мозги можно распутать, распрямить и тем самым вернуть в состояние покоя и душевного здравия, успокаивали меня. Я часто ощущала, что в моем мозгу что-то соединено неправильно, и проблема эта так сложна, что решить ее можно только посредством лоботомии — мне нужен полностью новый разум или полностью новая жизнь. Я могла быть весьма требовательна в своей самооценке. Помимо книг, я любила читать номера журнала «Нэшнл джиографик», которые выписывала по почте. Это была настоящая роскошь, и сам факт получения этих журналов вызывал у меня особое чувство. Меня пленяли статьи, описывавшие наивные верования первобытных племен, их кровавые ритуалы, человеческие жертвоприношения, все это бессмысленное страдание… Вы могли бы назвать меня мрачной и безумной. Но не думаю, что я была столь уж жестока от природы. Если б я родилась в другой семье, то смогла бы вырасти совершенно нормальной, действовать и чувствовать себя так же, как обычные люди.

Правду сказать, я жаждала наказания. Я была совершенно не против того, что мой отец помы-

кал мною. Я злилась и ненавидела его, верно, но ярость придавала моей жизни некое подобие смысла, а беготня по его поручениям помогала убить время. Именно так я и представляла себе жизнь — сплошное отбывание приговора, отсчитываемого тиканьем часов.

В тот вечер, выйдя из туалета, я постаралась выглядеть как можно более жалкой и уставшей. Отец нетерпеливо зарычал. Я вздохнула и взяла протянутые им деньги. Потом застегнула пальто. Мне было легче от того, что есть куда пойти, что мне не нужно коротать вечерние часы, расхаживая по чердаку или наблюдая, как мой отец пьет. Больше всего на свете я любила куда-либо выходить из дома.

Если б, оказавшись на крыльце, я захлопнула дверь с такой силой, как мне хотелось, одна из сосулек над головой могла бы неожиданно сорваться. Я представила, как она пролетает сквозь ямку над моей ключицей и вонзается прямо в сердце. Или, если я запрокину голову назад, сосулька, возможно, проткнет мне горло и пройдет прямо через пустой центр моего тела — я любила воображать подобные вещи, — потом пронзит мои внутренности и, наконец, рассечет нижнюю часть туловища пополам, точно стеклянный

кинжал. Именно так я в те времена представляла свою анатомию: мозг, подобный спутанному клубку, тело, похожее на пустой сосуд, интимные органы — точно некая чуждая и чужая страна. Но я, конечно же, аккуратно закрыла за собой дверь. На самом деле я не хотела умирать.

Я ездила на старом «Додже» своего отца — с тех пор, как он сам больше не мог водить его. Я любила этот автомобиль. Это был четырехдверный «Коронет», матово-зеленый, весь побитый и исцарапанный. За много лет дно кузова проржавело от льда и соли. В бардачке «Доджа» я хранила мертвую мышь-полевку, которую как-то раз нашла на крыльце — замерзшую, свернувшуюся комочком. Сначала я взяла ее за хвост и подбросила в воздух, потом подхватила и сунула в бардачок вместе со сломанным фонариком, картой автострад Новой Англии и несколькими позеленевшими пятицентовиками. В ту зиму я то и дело посматривала на эту мышь, проверяя признаки разложения, незаметные на таком холоде. Кажется, это каким-то образом позволяло мне чувствовать себя сильнее. Маленький тотем. Талисман на удачу.

Оказавшись снаружи, я проверила температуру воздуха, высунув кончик языка и держа его на

ледяном ветру, пока он не начал болеть. Полагаю, в тот вечер температура упала ниже минус десяти по Цельсию. Даже дышать было больно. Но я предпочитала холодную погоду жаркой. Летом я была беспокойной и раздражительной. Я часто дышала и стремилась поваляться в холодной ванне. Я сидела за своим рабочим столом в тюрьме, неистово обмахиваясь бумажным веером. Я не любила потеть на виду у людей. Подобное свидетельство своей плотскости я находила непристойным, отвратительным. Точно так же я не любила танцевать или заниматься спортом. Я не слушала «Битлз» и не смотрела по телевизору «Шоу Эда Салливана»[1]. Меня в те поры не интересовали ни развлечения, ни известность. Куда больше мне нравилось читать о древних временах и дальних странах. Понимание того, что сейчас вокруг происходит что-то занятное, заставляло меня ощущать себя жертвой изоляции. А если избегала этого намеренно, я могла считать, что у меня все под контролем.

У «Доджа» было еще одно свойство — во время

---

[1] Примечания: 1

«Шоу Эда Салливана» — популярнейшее американское телешоу, транслировавшееся с 1948 но 1971 г.; ведущий — журналист Эд Салливан. В нем, в частности, принимали участие все виднейшие представители рок- и поп-музыки той эпохи.

поездок на нем меня всегда тошнило. Я знала, что с выхлопной системой что-то не в порядке, но в то время я и подумать не могла о том, чтобы как-то справиться с этой проблемой. Отчасти мне даже нравилось кататься с постоянно опущенными стеклами, несмотря на мороз. Я ощущала себя очень храброй. Но на самом деле я боялась, что, если подниму шум из-за неполадок в машине, ее у меня отберут. Эта машина была единственной вещью в моей жизни, которая давала мне хоть какую-то надежду. Это было мое единственное средство побега. До того как уйти на пенсию, мой отец постоянно разъезжал на этом «Додже». Он беспечно раскатывал на нем по городу, парковал на тротуарах, цеплял им углы, бросал с включенным мотором, так что посреди дороги ночью у него заканчивался бензин, царапал машину о грузовик молочника, о стену здания и так далее. В те времена все иногда водили автомобили в пьяном виде, но это его не извиняет. Сама я была законопослушным водителем. Я никогда не превышала скорость и никогда не проскакивала на красный свет. В темное время суток я предпочитала ехать медленно, едва прижимая педаль газа, и смотреть, как город проплывает передо мной, словно в кино. Мне всегда представлялось, что

у других людей дом& куда уютнее, чем мой собственный, там стоит мебель из полированного дерева, а перед красивыми каминами подвешены чулки для рождественских подарков. В чуланах хранятся жестянки с печеньем, а в гаражах — газонокосилки. В те дни было легко считать, что все живут лучше меня. Одно ярко освещенное крыльцо чуть дальше по улице заставляло меня чувствовать себя особенно несчастной. Перед ним стояла белая скамья, у двери виднелся скребок для очищения обуви от снега, похожий на перевернутое лезвие конька, а над входом висела гирлянда из остролиста. Вы назвали бы этот городок очень милым и привлекательным. Но если вы не выросли в Новой Англии, вы не знаете, какая странная тишина охватывает занесенные снегом прибрежные городки по ночам. В других местах нет ничего подобного. Закатный свет ведет себя очень необычно. Он как будто не угасает, а уползает в океан. Кто-то просто утаскивает свет прочь.

Я никогда не забуду веселый звон колокольчика над входной дверью винного магазина «Ларднер». Мне нравился этот магазин. Там было тепло и упорядоченно, и я бродила по отделам так долго, как только могла, притворяясь, будто

выбираю товар. Я, конечно же, знала, где стоят бутылки с джином: в центральном отделе справа, если встать лицом к кассе, в нескольких футах от дальней стены, на двух полках. На верхней — «Бифитер», на нижней — «Сигрэмз». Мистер Льюис, работавший в магазине продавцом, был таким вежливым и веселым, как будто даже не подозревал, для чего люди покупают спиртное. В тот вечер я взяла джин, расплатилась и вернулась к машине, уложив бутылки на пассажирское сиденье. Как странно, что крепкое спиртное не замерзает. Это было единственное, что попросту не поддавалось морозу. Дрожа от холода, я скользнула на водительское сиденье «Доджа», повернула ключ в замке зажигания и медленно поехала домой. Помню, я выбрала долгий и живописный маршрут, потому что уже наступила темнота.

Когда я снова вошла в дом, отец сидел в своем кресле на кухне. В тот вечер не случилось ничего особенного. Это просто подходящее время для начала рассказа. Я поставила бутылки на пол так, чтобы он мог дотянуться до них, и смяла в кулаке бумажный пакет, а потом бросила его в кучу мусора возле двери черного хода. Я поднялась на чердак. Я прочитала журнал. Я легла спать.

Итак, продолжаем. Меня звали Эйлин Данлоп.

Теперь вы знаете мое имя. Мне было двадцать четыре года, и мне платили пятьдесят семь долларов в неделю за секретарскую работу в частном исправительном заведении для подростков мужского пола. Теперь я считаю это заведение тем, чем оно было по своей сути и назначению, — тюрьмой для детей. Я буду называть ее «Мурхед». Девлином Мурхедом звали кошмарного домовладельца, у которого я снимала жилье несколько лет спустя, и мне кажется уместным использовать его фамилию как названия этого заведения.

Через неделю я сбегу из дома и больше никогда не вернусь. Эта история о том, как я исчезла.

Пятница

Пятница ознаменовалась омерзительным запахом рыбы, поднимающимся из подвальной столовой, плывущим через холодные комнаты, где спали мальчишки, по застеленным линолеумом коридорам и в лишенный окон кабинет, где я проводила рабочий день. Запах был столь противным и навязчивым, что я учуяла его даже снаружи, на стоянке, когда приехала в «Мурхед» тем утром. У меня было обыкновение запирать сумочку в багажнике своей машины, прежде чем идти работать. В раздевалке за кабинетом были шкафчики, но я не доверяла местному персоналу. Когда я устроилась туда работать в возрасте двадцати одного года, наивная вне всяких пределов, отец предупредил меня, что самые опасные люди в тюрьме — это не преступники, а те самые люди, которые там трудятся. Могу подтвердить: это чистая правда. Вероятно, это самые мудрые слова, которые я когда-либо слышала от отца.

Я взяла с собой обед, состоящий из двух ломтиков хлеба с маслом, упакованных в фольгу, и банки консервированного лосося. В конце

концов, была пятница, постный день, а мне не хотелось попадать в ад. Я прилагала все усилия к тому, чтобы улыбнуться и кивнуть своим сослуживицам, двум женщинам средних лет с жесткими налакированными прическами; в отсутствие начальства эти дамы практически не поднимали головы от любовных романчиков в мягких переплетах. Их рабочие столы были усыпаны желтыми целлофановыми фантиками от карамелек, которые стояли в вазочках из поддельного хрусталя на уголках столешниц. Хотя эти женщины и были ужасны, однако они стоят далеко не в первых строках отвратительных личностей, встретившихся мне в жизни. Работать вместе с ними в тюремном офисе было не так уж плохо. Я занималась бумажной работой, и это означало, что мне редко приходилось общаться с кем-либо из четырех или пяти кошмарных и уродливых тюремных надзирателей, чьей задачей было исправлять порочные души юных обитателей «Мурхеда». Эти надзиратели были похожи на армейских сержантов; на прогулке они колотили мальчиков по ягодицам резиновыми дубинками, а если те пытались сопротивляться, применяли к ним удушающие захваты. Когда доходило до подобных жестокостей, я старалась

смотреть в другую сторону. Чаще всего я смотрела на часы.

Ночные охранники сдавали смену в восемь часов утра, когда я только приезжала на работу, и я не была с ними знакома, хотя мне запомнились их усталые лица — один прихрамывал и выглядел полным идиотом, а другой был лысеющим ветераном с желтыми пятнами от табака на пальцах. Они не играют никакой роли в моем повествовании. Но один из охранников дневной смены выглядел просто чудесно. У него были большие, словно у гончей собаки, глаза, жесткий профиль, который отчасти смягчала молодость и, как мне казалось, некая затаенная волшебная грусть. Длинные волосы с боков головы были зачесаны назад блестящими высокими валиками, разделенными на затылке пробором. Звали его Рэнди. Я любила наблюдать за ним из-за своего стола. Он сидел в коридоре, который соединял офис с остальной частью заведения. Носил Рэнди стандартную накрахмаленную серую форму, начищенные ботинки с высокими голенищами, а к поясу его была прицеплена тяжелая связка ключей. Он любил сидеть на табуретке боком, покачивая одной ногой в воздухе, и в этой позе его пах был виден мне как на ладони. Я была не

из тех девушек, которые нравились ему — я это знала, — что причиняло мне боль, хотя я ни за что не призналась бы в этом. Он предпочитал красивых, длинноногих и пухлогубых девушек — блондинок, как я подозревала. И все же ничто не мешало мне мечтать. Я проводила часы, наблюдая, как напрягается его бицепс, когда он переворачивает очередную страницу комикса. Когда я представляю его сейчас, мне видится, как он перекатывает зубочистку во рту. Это было прекрасно. Это было поэтично. Однажды я задала ему вопрос, нервный и нелепый: не холодно ли ему зимой в форме с короткими рукавами. Рэнди пожал плечами. «В тихом омуте черти водятся», — подумала я, едва ли не тая от восторга. В моих фантазиях не было ни малейшего смысла, но я все равно воображала, как однажды он кинет камешком в окно моего чердака, сидя на рычащем мотоцикле перед моим домом, и мы рванем ко всем чертям из этого городка. Я не могла отделаться от подобной игры воображения.

Хотя я не пила кофе — от него у меня кружилась голова, — но я направилась к кофеварке, стоящей на углу коридора, потому что на стене над нею висело зеркало. Созерцание своего отражения успокаивало меня, хотя я страстно ненавидела

свое лицо. Такова жизнь человека, одержимого самим собой. Я томилась от горя из-за того, что некрасива, и отдавала этому куда больше времени, чем готова признать даже сейчас. Я протерла глаз от кусочков засохшей слизи, оставшихся после сна, и налила себе чашку сливок, приправив их сахаром и сухим солодовым молоком, хранившимся в ящике моего стола. Никто не сказал ни слова по поводу этого странного коктейля. Мои сотрудницы были вечно угрюмыми, скучными и замкнутыми. В то время я подозревала, что они состоят между собой в тайной любовной связи. Тогда подобные извращения все чаще и чаще были на слуху; жители городка даже опасались нарваться на «латентных гомосексуалистов», находящихся в поисках пары. Мои подозрения относительно офисных дам вовсе не были такими уж унизительными. Это помогало мне ощутить хоть немного сострадания, когда я представляла, как по вечерам они отправляются по домам к своим опостылевшим мужьям, такие одинокие и печальные. С другой стороны, при мысли о том, как они расстегивают блузки, запускают руки друг другу в лифчики и раздвигают ноги, мне хотелось блевать.

В книге, которую я нашла в публичной библио-

теке, был небольшой раздел с иллюстрациями — посмертные маски таких известных личностей, как Линкольн, Бетховен и сэр Исаак Ньютон. Если вы когда-либо видели настоящее мертвое тело, вы знаете, что люди не умирают с такой благодушной улыбкой, с такой безмятежностью на лице. Но я взяла их гипсовые маски за образец и усердно упражнялась перед зеркалом, учась расслаблять лицевые мышцы, поддерживая выражение доброжелательного спокойствия, которое я видела на лицах этих мертвых людей. Я упоминаю об этом потому, что именно такое лицо я и носила на работе — свою «посмертную маску». В те времена я была молода и чрезвычайно чувствительна, однако полна решимости никому не показывать это. Я отгораживала себя от реальности этого места — «Мурхеда». Мне приходилось это делать. Меня окружали страдание и позор, но я ни разу не убегала в туалет, чтобы поплакать.

Позже в то утро, отправившись передать почту в кабинет начальника, располагавшийся в здании, где мальчики учились и занимались оздоровительной деятельностью, я прошла мимо надзирателя — Мальвани, Мальруни или Махони, не помню его фамилии, они все для меня были

на одно лицо, — который крутил ухо мальчику, стоявшему перед ним на коленях.

— Думаешь, ты особенный? — вопрошал надзиратель. — Видишь эту грязь на полу? Ты тут значишь меньше, чем кусок грязи между плитками. — Он заставил мальчика склонить голову, ткнув его лицом в свои огромные ботинки с окованными железом носами, достаточно жесткими, чтобы запинать кого-нибудь до смерти, и приказал: — Вылизывай.

Я видела, как мальчик открыл рот, затем отвела взгляд.

Секретаршей у начальника была женщина с таким холодным взглядом и настолько полная, что казалось, будто она вообще не дышит, а ее сердце не бьется. Ее «посмертная маска» была впечатляющей. Единственные признаки жизни, которые она подавала, — это жест, которым она подносила палец к губам и слюнявила его кончик бледно-сиреневым языком, высовывая его изо рта примерно на сантиметр. Двигаясь словно робот, она перебрала стопку конвертов, которые я ей отдала, затем отвернулась. Я выждала еще минуту или две, притворяясь, будто отсчитываю дни на календаре, висящем на стене над ее столом.

— Пять дней до Рождества, — произнесла я,

пытаясь, чтобы это прозвучало радостно.

— Хвала Господу, — отозвалась она.

Я часто думаю о «Мурхеде» и его смехотворном кредо — «*parens patriae*»[2], — и поеживаюсь. Мальчики, содержавшиеся здесь, были очень юными, почти детьми. Они неизменно пугали меня, потому что я чувствовала, что не нравлюсь им, кажусь им неприглядной. Поэтому я старалась держаться от них подальше, словно от сумасшедших или от диких зверей. Некоторые из тех, что постарше, были высокими и красивыми. И они тоже не оставляли меня равнодушной.

Я вернулась за свой стол. Конечно, я могла бы поразмыслить о многом. Шел 1964 год, будущее казалось широкой и многообещающей дорогой. Со всех сторон что-нибудь разрушали или строили, но я в основном размышляла о себе и своих страданиях, одновременно перебирая ручки в стаканчике или вычеркивая день на календаре. Секундная стрелка на часах вздрагивала и рвалась вперед, словно человек, который сначала ощущает невыразимый страх, а потом, ведомый отчаянием, прыгает с обрыва — лишь для того,

---

[2] Примечания: 2

Юридический термин: в буквальном переводе с латинского — «отец нации»; право государства выступать в качестве истца от имени граждан.

чтобы зависнуть в воздухе. Мои мысли блуждали, не останавливаясь почти ни на чем, хотя чаще всего их притягивал к себе Рэнди. Когда в эту пятницу мне пришел зарплатный чек, я сложила его и сунула в лифчик, который, честно говоря, не мог похвастаться своим содержимым — всего лишь маленькие твердые холмики, которые я скрывала под слоями одежды: хлопчатобумажный бюстгальтер, блузка, шерстяная кофта. Я все еще испытывала подростковый страх того, что люди, глядя на меня, видят прямо сквозь мою одежду. Подозреваю, что никто не лелеял фантазии о моем обнаженном теле, но я боялась, что если чей-нибудь взгляд упадет вниз, то обязательно исследует тайные участки моего тела и каким-то образом расшифрует запутанные и бессмысленные складки и полости, так плотно стиснутые между моими ногами. Я всегда старалась скрыть свои складки и полости. И конечно же, я все еще была девственницей.

Полагаю, мое ханжество сделало свое дело и сберегло меня от трудной жизни, подобной той, которая была уготована моей сестре. Она была старше меня и отнюдь не девственница, и жила с мужчиной, который не был ей мужем, в поселении за несколько городков от нашего. Наша

мать называла ее «шлюхой». Как мне видится, Джоани была очень милой, но под ее девичьей жизнерадостностью скрывался грешный, сластолюбивый характер. Однажды она сказала мне, что Клифф, ее парень, любит «пробовать» ее по утрам, когда она просыпается. И засмеялась, когда мое лицо сморщилось от недоумения, а потом застыло и покраснело — когда я поняла, что она имела в виду. «Разве это не забавно? Разве это не лучше всего на свете?» — хихикала сестра. Я, конечно же, ужасно ей завидовала, но никогда не показывала этого. На самом деле мне вовсе не хотелось того, чем она хвасталась. Мужчины, парни, перспектива сойтись с кем-нибудь из них — все это казалось мне нелепым. Самое большее, чего я желала, — молчаливый роман. Но даже это пугало меня. Мне нравился Рэнди и некоторые другие мужчины, но они даже не смотрели на меня как на женщину. О, эти мои интимные недра, закутанные, словно младенец в пеленки, в толстые хлопчатобумажные трусы и в старый пояс-бандаж, принадлежавший некогда моей матери… Я красила губы не для того, чтобы выглядеть модно, а потому, что без помады они были того же цвета, что и мои соски. В двадцать четыре года я старалась сделать так, чтобы никто и не

подумал вообразить меня без одежды. В то время как большинство молодых женщин, похоже, стремилось как раз к противоположной цели.

В тот день в тюрьме была вечеринка. Доктор Фрай уходил на пенсию. За десятилетия работы тюремным психиатром он скормил мальчишкам-заключенным невероятное количество успокоительных средств. Ему, должно быть, было уже за восемьдесят. Сейчас я сама стара, но в молодости мне было абсолютно плевать на стариков. Мне казалось, что само их существование мешает мне. И уход доктора Фрая на пенсию меня ничуть не волновал. Когда мне на стол положили открытку, я подписала ее своим четким почерком прилежной школьницы, выведя саркастическое «Всего доброго». Я помню, что на лицевой стороне открытки был черной тушью нарисован ковбой, удаляющийся в закат. Боже ты мой. За годы работы в «Мурхеде» доктор Фрай время от времени приходил понаблюдать за визитами родных. Контроль над этими визитами был моей повседневной обязанностью, и я смотрела, как он стоит в открытых дверях комнаты свиданий, кивая, причмокивая деснами и хмыкая. Время от времени он вмешивался, жестом длинных дрожащих пальцев указывая мальчику, чтобы тот сел

прямо, ответил на вопрос, извинился и так далее. Но доктор ни разу не сказал «здравствуйте» или «как дела, мисс Данлоп?» Я была невидимкой. Я была мебелью. После обеда — кажется, я оставила банку тунца на столе, так и не съев ни ломтика рыбы, — весь персонал созвали в столовую, на кофе с тортом, дабы сказать доктору Фраю «адью». Но я отказалась в этом участвовать. Я сидела за своим столом и не делала ничего, просто смотрела на часы. В какой-то момент я ощутила зуд под трусами и, поскольку меня никто не видел, сунула руку под подол юбки. Но мои интимные места были так плотно запеленуты, что почесать их оказалось затруднительно. Поэтому мне пришлось просунуть руку под пояс юбки, под бандаж, под трусики, а потом, почесавшись, я вытащила пальцы и понюхала их. Полагаю, это естественное любопытство — нюхать свои пальцы. Позднее, когда рабочий день подошел к концу, я протянула эту же ладонь — которую так и не помыла — доктору Фраю, пожелав ему хорошего отдыха на пенсии.

* * *

Не могу сказать, что, работая в «Мурхеде», я была защищена. Но я была изолирована. Городок,

где я жила и выросла — я буду называть его Икс-вилл, — сам по себе не очень-то способствовал «неправильному» образу жизни. Однако в нем были и не вполне приглядные кварталы, где жили неквалифицированные рабочие и люди, попавшие в трудные жизненные обстоятельства. Располагались такие кварталы ближе к океану, и я несколько раз проезжала мимо обветшалых домиков, дворы которых были завалены мусором и детскими игрушками. Когда я видела на улицах этих людей, таких несчастных, сердитых и замкнутых, это меня одновременно очаровывало, пугало и заставляло чувствовать стыд из-за того, что я не настолько бедна. Но улицы в том районе, где я жила, были обсажены деревьями и чисто подметены, дома любовно подновлялись, ими можно было гордиться и любоваться, и я ощущала себя пристыженной из-за того, что посреди этого порядка я настолько неопрятна, сломлена и равнодушна. Я не знала, есть ли еще в мире другие люди, которые, подобно мне, «не вписываются в обстановку», как это обычно говорится. Более того — типично для любого неглупого молодого человека, живущего настолько изолированно, — я считала, что только я сама обладаю сознанием, пониманием того, как странно быть живой, жить

на этой странной планете под названием Земля. Я видела серии «Сумеречной зоны», которые отображают то тщательно скрываемое от всех беспокойство, которое я ощущала в Иксвилле. Это было ужасно одиноко.

Бостон с его кирпичными зданиями, увитыми плющом, дал мне надежду на то, что там есть другая жизнь, что молодые люди могут жить там так, как им хочется. Свобода была не так уж далеко. Я ездила туда только один раз, сопровождая свою умирающую мать к врачу, который не смог вылечить ее, но выписал лекарства, которые, как он выразился, должны были принести ей облегчение. Эта поездка в те времена казалась мне невероятно шикарной. Да, конечно, мне исполнилось двадцать четыре года. Я была взрослой. Вы скажете, что я могла бы поехать куда угодно. И правда, в последнее свое лето в Иксвилле, во время одного из долгих запоев отца, я отправилась в поездку по побережью. У меня кончился бензин, и я застряла на проселочной дороге в часе езды от дома. Потом какая-то пожилая женщина остановилась, дала мне доллар и подбросила до заправочной станции, сказав на прощание, что «нужно впредь планировать все заранее». Я помню, как подрагивал ее двойной подборо-

док, когда она вела машину. Она была мудрой деревенской женщиной, и я испытывала к ней уважение. Именно тогда я начала фантазировать о побеге, мало-помалу убеждая себя, что решение моей проблемы — той проблемы, что я родилась и живу в Иксвилле, — найдется в Нью-Йорке.

Это было штампом в те времена и остается штампом сейчас, но когда я слушала по радио мюзикл «Привет, Долли!», мне казалось вполне возможным заявиться на Манхэттен с деньгами, которых хватит на съем комнаты в пансионате, после чего передо мной само по себе, без особых усилий и размышлений с моей стороны, развернется будущее. Это была всего лишь мечта, но я изо всех сил подпитывала ее. Я начала откладывать деньги в ящичек, спрятанный на чердаке. Мне вменялось в обязанность вносить в «Банк Иксвилла» пенсионные чеки отца, которые полицейское управление города присылало в начале каждого месяца. Банковские служащие называли меня «миссис Данлоп», похоже, путая с моей матерью, и я думала, что смогу без проблем опустошить накопительный счет нашей семьи и получить на руки конверт со стодолларовыми купюрами, если солгу и скажу, что мне нужно купить новый автомобиль.

Я никогда и ни с кем не обсуждала свое желание покинуть Иксвилл. Но несколько раз, в самые темные для моей души часы — когда мне было ужасно плохо, когда меня охватывало желание направить машину на ограждение моста, или в одно особенно тоскливое утро, когда я едва подавила порыв сломать себе руку, прихлопнув ее дверцей машины… В такие часы я воображала, какое облегчение могла бы испытать, если б только раз могла прилечь на кушетку в кабинете доктора Фрая и, подобно какому-нибудь павшему герою, сознаться в том, что моя жизнь просто нестерпима. Но на самом деле она была вполне терпимой. В конце концов, я же вытерпела ее. В любом случае та молодая Эйлин никогда не приняла бы лежачее положение в присутствии мужчины, который не был ей отцом. В этом положении ее маленькие груди неизбежно выпирали бы вверх. Хотя тогда я была тощей и костлявой, я считала себя толстой, а свою плоть — непомерно громоздкой. Я ощущала, как мои бедра и груди чувственно покачиваются туда-сюда, когда шла по коридору. Я считала, что всё во мне невероятно огромно и отвратительно. Это заблуждение принесло мне немало горя и стыда. Теперь я посмеиваюсь над ним, но в те времена я несла

тяжкий груз печали и отвращения к себе.

Конечно же, никто в тюремном офисе не проявлял ни малейшего интереса ко мне, к моим горестям или к моим грудям. Когда моя мать умерла, а я устроилась работать в «Мурхед», миссис Стивенс и миссис Мюррей старательно поддерживали дистанцию со мной. Никаких соболезнований, даже ни единого сочувственного взгляда. Они были самыми далекими от материнского образа женщинами, каких я когда-либо встречала, и потому отлично подходили для тех должностей, которые занимали в тюрьме. Они не были жестокими или строгими, как вы могли бы подумать. Они были просто ленивыми, некультурными и абсолютно неряшливыми. Полагаю, им было так же скучно, как мне, но они развлекали себя сладостями и дешевыми книжками в бумажных обложках, и без малейшего стеснения облизывали пальцы после пончиков с джемом, отрыгивались, вздыхали или кряхтели. Я до сих пор помню мысленно нарисованную мною картинку: эти две женщины в сексуальной позе, уткнув лица в интимные места друг друга, вдыхают запах и вытягивают языки в пятнах от карамелек. Эта картинка приносила мне некоторое удовлетворение. Быть может, она позволяла

мне чувствовать себя более достойной по сравнению с ними. Отвечая на телефонные звонки, они зажимали переносицу двумя пальцами, словно прищепкой, и говорили высоким гнусавым голосом. Быть может, они делали это ради развлечения, а может быть, это просто ложное воспоминание. В любом случае их манеры было трудно назвать хорошими.

— Эйлин, дай мне дело того новичка — ну, того сопляка, как там его зовут? — сказала мисс Мюррей.

— Того, с чесоткой? — уточнила миссис Стивенс, причмокнув карамелькой, которую как раз сосала. — Браун, Тодд. Честное слово, с каждым годом к нам присылают все более уродливых и тупых.

— Следи за словами, Норрис. Эйлин, скорее всего, когда-нибудь выйдет замуж за одного из них.

— Это правда, Эйлин?.. Часики-то у тебя тикают, да?

Миссис Стивенс постоянно хвасталась своей дочерью, высокой тонкогубой девицей, вместе с которой я когда-то училась в школе. Она вышла замуж за какого-то бейсбольного тренера из колледжа и переехала в Балтимор.

— Когда-нибудь ты станешь такой же старой,

как мы, — хмыкнула миссис Стивенс.

— У тебя свитер надет задом наперед, Эйлин, — заметила миссис Мюррей. Я оттянула ворот, чтобы проверить. — А может быть, нет. Просто ты такая плоская, что я и разобрать не могу, какая сторона передо мной — задняя или передняя.

Они все время отпускали такие реплики. Это было ужасно.

Полагаю, у меня манеры были такими же плохими, как у них. Я была невероятно угрюмой и замкнутой, недружелюбной. А иногда напряженной и нервной или же раздражающе неуклюжей.

— Ха-ха, — отозвалась я. — И никто не разберет, где тут зад, а где перёд, да?

Я никогда не умела ладить с людьми, и еще в меньшей степени умела постоять за себя. Я предпочитала сидеть и молча злиться. Я была тихим ребенком, и в детстве сосала палец достаточно долго, чтобы испортить прикус. Мне повезло, что мои зубы не выехали слишком далеко вперед. И все-таки мне казалось, что у меня уродливые лошадиные резцы, и потому я почти не улыбалась. А при улыбке старалась, чтобы моя верхняя губа не задралась, и это требовало огромной сдержанности, самодисциплины и самоконтроля.

Вы не поверите, сколько времени я потратила на то, чтобы укротить свою верхнюю губу. У меня действительно было ощущение, будто моя ротовая полость — это тоже интимное место, складки и впадины мягкой плоти, и позволить кому-либо заглянуть туда так же постыдно, как раздвинуть ноги. В те времена люди не жевали жвачку так часто, как теперь. Это считалось детским занятием. Поэтому я держала в своем шкафчике пузырек «Листерина» и часто полоскала рот, иногда даже глотала бальзам, если не могла дойти до раковины в женском туалете, не заговорив ни с кем по пути. Я не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, будто у меня пахнет изо рта или что внутри моего тела вообще происходят какие-либо органические процессы. Необходимость дышать сама по себе была постыдной. Вот какой девушкой я была.

Помимо «Листерина», в моем шкафчике всегда лежала бутылка сладкого вермута и пакет шоколадных конфет с мятой. Эти конфеты я регулярно крала в исквиллской аптеке. Я была искусной магазинной воровкой, одаренной тонким умением прихватывать всякие мелочи и прятать их в рукавах. Моя «посмертная маска» много раз уберегала меня от неприятностей, скрывая мой восторг

и ужас от глаз продавцов и кассиров, которые, вероятно, думали, что я очень странно выгляжу в своем объемистом пальто, бродя вокруг полок со сладостями. Перед тем как в тюрьме начинались посетительские часы, я делала большой глоток вермута и закусывала парой мятно-шоколадных конфет. Даже спустя несколько лет работы здесь необходимость встречать страдающих матерей, которые приходили навестить своих сыновей-узников, заставляла меня нервничать. Наряду с прочими смертельно скучными обязанностями часть моей работы заключалась в том, чтобы просить посетительниц записать свои имена в толстой бухгалтерской книге; после этого я говорила, что им нужно сидеть в казенных пластиковых креслах оранжевого цвета в вестибюле и ждать вызова. В «Мурхеде» существовало глупое правило — одновременно может происходить только один визит. Быть может, оно было принято из-за ограниченного количества персонала или нехватки помещений в «Мурхеде». Так или иначе это создавало атмосферу непрерывного страдания, когда в течение нескольких часов матери сидели, ждали, всхлипывали, постукивали ногами по полу, вытирали носы и жаловались. В попытке отгородиться от собственных тяжелых

чувств я составляла бессмысленные опросы и раздавала самым беспокойным из матерей бланки, размноженные на мимеографе и прицепленные к картонкам с зажимом. Я думала, что заполнение опросов даст этим женщинам некое ощущение смысла, создаст иллюзию, будто их жизнь и мнение достойны уважения и интереса. Я придумывала самые разные вопросы: «Как часто вам приходится заправлять свою машину?», «Какой вы видите себя через десять лет?», «Вам нравится смотреть телевизор? Если да, то какие программы?». Матери обычно бывали довольны, получив хоть какое-то занятие, хотя притворялись, что их отвлекают от важных дел. Если они спрашивали, ради чего нужны эти бланки, я отвечала, что это «правительственный опрос» и что они могут не писать свои имена, если предпочитают сохранять анонимность. Однако никто из них не воспользовался этим правом. Все они заносили свои имена в соответствующие строки анкеты — куда аккуратнее, чем в книгу посещений, — и отвечали так бесхитростно, что это причиняло мне боль: «Раз в неделю, по пятницам», «Я буду здоровой, счастливой, а мои дети добьются успе-

ха», «Выступления Джерри Ли Льюиса[3]».

Моей задачей было вести картотеку с отдельными ящичками, полными рапортов, показаний и других документов на каждого заключенного. Заключенные оставались в «Мурхеде» до истечения срока приговора или до тех пор, пока им не исполнялось восемнадцать. Самому младшему из тех, кто при мне попал в тюрьму, было девять с половиной лет. Начальник любил угрожать более крупным парням — высоким, толстым или то и другое разом, — что их переведут во взрослую тюрьму раньше срока, особенно тех, кто причиняет неприятности. «Ты думаешь, что здесь плохо живется, молодой человек? — спрашивал он. — Через денек в тюрьме штата любой из вас будет неделю плеваться кровью».

Мальчики, сидевшие в «Мурхеде», казались мне не такими уж плохими людьми, учитывая обстановку. Любой из нас на их месте был бы ленивым и злым. Им было запрещено делать большинство вещей, которые делают дети: танцевать, петь, жестикулировать, громко разговаривать, слушать музыку, даже лежать без особого разре-

[3] Примечания: 3

Джерри Ли Льюис (р. 1935) — американский певец, пианист, композитор, один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла.

шения. Я никогда не говорила ни с кем из них, но я знала о них все. Я любила читать их личные дела и описания их преступлений, полицейские отчеты и собственные признания мальчиков. Помнится, один из них пырнул водителя такси в ухо перьевой ручкой. Очень немногие из них были собственно из Иксвилла. Они прибывали в «Мурхед» со всего нашего региона: отборные массачусетские юные воры, хулиганы, насильники, похитители, поджигатели и убийцы. Многие из них были сиротами или беглецами из дома; они были грубыми и упрямыми, ходили важно, враскачку. Другие происходили из обычных семей, и их поведение было более домашним, восприимчивым, а походка — крадущейся, опасливой. Грубияны нравились мне больше, они казались мне привлекательными. И их преступления выглядели куда более нормальными. А вот балованные мальчики совершали извращенные, по-настоящему жестокие преступления: душили своих маленьких сестер, поджигали соседских собак, подсыпали яд священникам. Это меня удивляло. Однако через несколько лет работы и это мне наскучило.

Послеобеденное время той пятницы запомнилось мне потому, что одна девушка приехала

навестить того, кто совершил преступление против нее, — насильника, я полагаю. Она была красива, имелась в ней какая-то горькая яркость, а в то время я считала, что все привлекательные женщины развязны, сексуальны, легкомысленны и вульгарны. Подобные визиты, конечно же, были строго запрещены. Только близким родственниками позволялось посещать заключенных. «Семья» — вот термин, который мы использовали. Я сказала об этом девушке, но она все равно настаивала на том, чтобы увидеть парня. Сначала она была очень спокойна, как будто заучила наизусть свои речи. Поверить не могу, что я оказалась достаточно нахальной, чтобы с «посмертной маской» на лице осведомиться у нее, желает ли она войти в семью этого парня. «Вы хотите сказать, что помолвлены и собираетесь заключить брак?» — спросила я. Когда я задала этот вопрос, она словно лишилась рассудка, повернулась к заплаканным матерям с их анкетами и картонками, обругала их последними словами и швырнула книгу посещений на пол. Не знаю, почему я обращалась с ней настолько холодно. Полагаю, что я могла ей завидовать. В конце концов, меня никто даже не пытался изнасиловать. Я всегда полагала, что в самый первый

раз меня обязательно возьмут силой. Конечно, я надеялась, что насильником будет самый сентиментальный, нежный и красивый из мужчин, кто-то, кто втайне влюблен в меня, — в идеале, Рэнди. После того как девушка ушла и у меня выдался свободный момент, я пролистала дело того насильника. На фотографии был изображен прыщавый чернокожий парнишка с сонным выражением лица. В перечень его преступлений входили похищение выстиранного белья с соседской веревки, курение сигарет с марихуаной и порча чужого автомобиля. Он показался мне не таким уж плохим.

Помимо прочего, моей задачей в часы посещений было говорить охранникам, кого из парней вызывают на свидание — по одному зараз, конечно же.

Яснее всего я помню двух охранников: Рэнди, конечно же, и Джеймса. Мне кажется, у Джеймса была черепно-мозговая травма или какое-то нервное заболевание. Он всегда был беспокоен, постоянно потел и, похоже, испытывал крайний дискомфорт в чьем-либо присутствии. Самой трудной частью работы для него была необходимость общаться с мальчиками или появляться перед плачущими матерями. Оставаясь один,

Джеймс замирал в зловещей неподвижности, словно слишком сильно натянутая резинка рогатки. Он, казалось, часами мог сидеть так, подобно каменной статуе, когда выпадала его очередь охранять коридор, — но эта каменность грозила взрывом в любую секунду. Теперь я полагаю, что это была нелепая трата человеко-часов, потому что другой охранник сидел чуть дальше по коридору, у дверей в жилое крыло — или как там мы называли помещения, где мальчики жили, спали, прогуливались и читали Библию — в общем, делали то, что им положено было делать.

Еще одной нелепостью — о которой я только сейчас вспомнила — было то, что я отвечала за обеспечение безопасности со стороны женщин-посетительниц. Поскольку в тюрьме не было охранниц или надзирательниц, моей обязанностью было обыскивать матерей заключенных, лениво похлопывая их обеими руками по плечам и бедрам и проводя рукой по спинам. Обычно Рэнди тоже присутствовал при этом, стоя на страже у двери в комнату свиданий, и иногда, прикасаясь к этим женщинам, я воображала, что трогаю руками Рэнди. Рэнди, который, как и эти женщины, похоже, почти не замечал меня. Я была просто парой рук, нервно мелькающих в воздухе. Все

посетительницы были просто грустными женщинами, безвольными и полными раскаяния, они никогда не проявляли агрессии. Конечно же, во время своих смехотворных обысков я ни разу не нашла ни спрятанный нож, ни пистолет, ни флакончик с ядом в кармане какой-либо из этих убитых горем матерей. Охранники, похоже, также практически не обращали на это внимания. Мужчины редко приезжали навестить узников. Быть может, это потому, что они не могли отпрашиваться с работы, но мне кажется, что у многих мальчиков, попавших в тюрьму, попросту не было отцов, и в этом заключалась часть проблемы. Все это было очень печально.

Светлым пятном среди этого страдания посетительских часов был шанс побыть рядом с Рэнди. Я помню странный запах его пота. Этот запах был сильным, но не отвратительным. Добрый запах. В те времена люди пахли лучше. Я уверена, что это правда. С годами мое зрение ослабло, но обоняние по-прежнему остается острым. Нынче мне часто приходится выходить из комнаты или отходить подальше, если рядом со мной кто-то дурно пахнет. Я не имею в виду запах пота или грязи — скорее какой-то искусственный, едкий запах, обычно исходящий от людей, которые

пытаются замаскировать естественный запах своего тела кремами и парфюмерией. Этим пахучим людям нельзя доверять. Они — хищники. Они — словно псы, которые валяются в фекалиях других животных. Это тревожит. Хотя я в целом испытывала паранойю относительно того, как от меня пахнет — не воняет ли мой пот, не исходит ли из моего рта вонь такая же омерзительная, как и привкус в нем, — но я никогда не пользовалась парфюмерией и всегда предпочитала мыло и крем без запаха. Ничто не привлекает к мерзкому запаху больше внимания, чем аромат, призванный замаскировать его. Когда мы с отцом остались одни, стирка стала моей обязанностью, но я редко ею занималась.

Однако, если я бралась стирать, запах грязной одежды и белья был таким отвратительным, что я часто задыхалась и кашляла, мучаясь сухими рвотными позывами, стоило мне его учуять. Это был запах чего-то похожего на скисшее молоко и пот, сильно сдобренный запахом джина, и даже сейчас мой желудок выворачивается при одной мысли о нем.

Рэнди пах совершенно иначе — резко, как океан, сильно и тепло. Он был очень привлекателен. Он пах, как пахнет честный человек. Миссис

Стивенс говорила мне, что все охранники были наняты через бюро по трудоустройству окружного управления исправительных заведений. Так что, полагаю, все они некогда отсидели свой срок. У всех были татуировки. Даже у Джеймса — кажется, свастика. Татуировка Рэнди изображала размытое лицо женщины — я надеялась, что это его мать. Однажды рано утром в первые месяцы своей работы в «Мурхеде», пока наши офисные дамы собирали пасхальную корзинку, я прочитала личное дело Рэнди, к которому прилагался список его подростковых правонарушений — половое извращение и взлом с проникновением. В юности он отбывал срок в «Мурхеде», и этот факт сделал его для меня еще более привлекательным.

Вы меня знаете. Я провела много часов, гадая, в отношении кого Рэнди мог совершить половое извращение. Я полагала, что это какая-нибудь девушка-подросток, у которой были неприятности с родителями из-за того, что она не вовремя явилась домой или забеременела. Рэнди не казался мне склонным к насилию, но время от времени я видела, как он применяет силу, утихомиривая мальчишек. Мне представлялось, что он хорош в рукопашной. Одной из моих любимых грез

была такая картина: Рэнди подождет окончания моей смены и попросит разрешения проводить меня до машины. Когда я дойду до скользкой ледяной дорожки возле стоянки, он предложит мне опереться на его руку, но я откажусь, и он почувствует себя отвергнутым и смущенным. Но потом я поскользнусь на льду и буду вынуждена, несмотря на свою застенчивость, ухватиться за его крепкий локоть обеими руками, затянутыми в перчатки, а он посмотрит мне прямо в глаза и, быть может, поцелует меня. Или вместо этого схватит меня за плечи и прижмет меня к «Доджу», уткнув лицом в заиндевевшее стекло, задерет мою юбку и разорвет мои колготки и трусики, а затем проведет пальцами у меня между ног, чтобы ощутить все мои складки и полости, а затем, не сказав ни слова, войдет в меня, жарко дыша мне в ухо. В этой фантазии на мне не было пояса-бандажа.

Это не любовная история. Но я расскажу еще немного о Рэнди, прежде чем перейти к подлинному персонажу моего повествования. Забавно, как любовь может перепрыгивать с одного человека на другого, подобно блохе. Пока несколько дней спустя не появилась Ребекка, именно постоянные мысли о Рэнди удерживали меня на плаву.

Я все еще помню его адрес, потому что на выходных я часто проезжала мимо его квартиры в соседнем городке и, тайно поглядывая из «Доджа» на его окна, пыталась увидеть: дома он или нет, один ли, спит он или бодрствует? Я хотела знать, что он делает, о чем думает, приходят ли ему в голову хотя бы мимолетные мысли обо мне. Несколько раз, без всякого умысла, я натыкалась на него в Иксвилле, просто проходя по Мэйн-стрит. Всякий раз я приветственно поднимала руку, открывала рот, чтобы заговорить с ним, но он просто проходил мимо меня. Моя грудная клетка едва ли не схлопывалась внутрь от разочарования. «Когда-нибудь он увидит меня, настоящую меня, и полюбит», — твердила я себе. А до тех пор слонялась вокруг, поглядывала на него и делала все возможное, чтобы постичь его привычки, жесты, выражения лица, считая, что беглое понимание языка его тела сумеет помочь мне, когда придет мой час доставить ему удовольствие. Ему не нужно будет говорить ни слова. Я сделаю все, чтобы он был счастлив, — так я думала. Но я не была глупа. Я знала, что Рэнди вступал в сексуальные отношения с девушками. И все же я не могла представить его участвующим в акте соития, как я тогда мысленно называла это. Я не могла даже

начать воображать его обнаженные интимные места, хотя в порнографических журналах отца и видела их. Однако я представляла, как в моменты после соития Рэнди, беспечно смеясь, лежит на смятой постели рядом с неразличимой женской фигурой. Я невероятно ценила малейшее внимание с его стороны. Один его взгляд в мою сторону заставлял мой пульс несколько часов биться быстрее. Но довольно о нем. До встречи, Рэнди, до встречи.

Вот как я выглядела в ту пятницу: скрипучие туфли «под крокодилову кожу» с толстыми стоптанными каблуками и квадратными пряжками золотистого цвета; белые колготки, в которых мои тощие ноги казались деревянными, как у куклы; толстая желтая юбка из ткани-букле, ниспадающая ниже колен; серый шерстяной свитер с подбитыми плечами поверх белой хлопчатобумажной блузки; маленький крестик латунного цвета; прическа, сделанная несколько дней назад; никаких сережек; помада того оттенка, который в магазинах именовался «неисправимо-красным». Я, должно быть, выглядела как девятнадцатилетняя девушка, которая пытается сойти за шестидесятипятилетнюю старуху в этом взрослом наряде и с неуклюжей пародией на

пристойность. Другие девушки к моему возрасту уже были замужем, остепенились, родили детей. Это было мне недоступно. По виду и поведению я была абсолютной домоседкой — наивной и неинтересной. Если б вы спросили меня, я сказала бы, что для того, чтобы заниматься любовью, нужно любить. Я сказала бы, что женщина, которая занимается любовью без любви, — шлюха.

Задним числом я не думаю, что мое желание завести роман с Рэнди было таким уж глупым. Подобный союз не был бы абсурдом. У него имелась работа, он был здоров и молод, и, как мне кажется, мечта вступить с ним в отношения не была столь уж невыполнимой. В конце концов, я была молодой женщиной, которая постоянно находилась поблизости от него. Несмотря на мою паранойю, в моей тогдашней внешности не было ничего особенно отвратительного. Я была непривлекательной на взгляд большинства, но многим мужчинам плевать на подобные вещи. Конечно, Рэнди и без того было на кого посмотреть. И если б я каким-то образом действительно привлекла его взор, я не знала бы, что с этим делать.

К тому времени, как мне исполнилось тридцать, я научилась расслабляться, подмигивать в зеркало и беспечно бросаться в объятия бес-

численных любовников. Мое двадцатичетырехлетнее «я» умерло бы от потрясения, узрев, как быстро испарилась моя благопристойность. И когда я покинула Иксвилл, немного пришла в себя и купила одежду, которая мне шла, то, увидев меня на Бродвее или на Четырнадцатой улице, вы могли бы принять меня за студентку последнего курса или, может быть, за ассистентку известного художника, которая идет забрать из галереи чек за его проданные картины. Этим я хочу сказать, что по сути своей я вовсе не была непривлекательной. Я просто была незаметной.

В тот день после обеда матери приходили и уходили. Листки с заполненными опросами в конце концов отправились в мусор вместе с кучками блестящих фантиков от карамели, похожими на груды мертвых насекомых. «Верите ли вы в существование жизни на Марсе?», «Какие качества вы больше всего цените в служащих полиции?». Каждый день я собирала в вестибюле десяток промокших бумажных платочков, испачканных губной помадой и напоминающих пухлые увядшие гвоздики с розовыми пятнышками на лепестках. «Знаете ли вы иностранные языки?», «Предпочитаете ли вы консервированный горошек или консервированную морковь?», «Курите

ли вы?». Прозвенел звонок, извещая о том, что кто-то из мальчиков делает что-то недопустимое, за что полагается строгое наказание. Джеймс поднялся со стула и механической походкой направился по коридору, разминая руки. Я сжала в кулаке использованные платочки, потом отправила их в ведро, к фантикам и анкетам.

— Вынеси мусор, Эйлин, — сказала мисс Стивенс, посмотрев на меня через плечо, — она как раз наклонялась к нижнему ящику своего стола, чтобы достать новую упаковку конфет.

«Если на Марсе и была жизнь, всё уже вымерло, — писала одна из матерей. — Мужчина должен быть широкоплечим и носить усы. Немного знаю французский. Горошек. Шесть пачек в неделю, иногда больше».

* * *

Прежде чем я в ту пятницу покинула «Мурхед», миссис Стивенс попросила меня украсить рождественскую елку, которую дворник втащил в тюремный вестибюль, опустевший после окончания часов посещений. Я помню, что это была, собственно, не ель, а пышная сосна, ее иголки были толстыми и мягкими, а смола наполняла воздух невероятным запахом. У нас был чулан,

где хранились украшения для всех праздников: вырезанные из картона пасхальные кролики и золотистые яйца, флаги в честь Дня независимости, вымпелы для Дня труда и Дня поминовения, индейки ко Дню благодарения и тыквы. Как-то раз на Хеллоуин мы повесили гирлянды чеснока над дверью офиса, и на собрании после обеда начальник с отвращением процитировал нам слова из Второзакония о мерзостях пред Господом. Это было совершенно нелепо.

Рождественские украшения лежали точно так же, как я оставила их год назад, вперемешку упакованные в ветхую картонную коробку. Шарики, украшенные мелкими блестками и золотистыми звездочками, трескались и выцветали, каждый год все меньше их возвращалось в гнездо, сделанное из старых газет, но они были очень милыми и наполняли мою душу тоской. У меня были сложные чувства в отношении праздников — в это время года я не могла удержаться и не впасть в пахнущую нафталином жалость к себе, которую постоянно вызывало во мне Рождество. Я горевала об отсутствии тепла и любви в моей жизни, загадывала на упавшую звезду, чтобы ангелы явились и вырвали меня из моего прозябания и унесли в новую светлую жизнь, как в

кино. Я буквально впитывала дух Рождества, как это называлось. В детстве меня учили, что меня похвалят и вознаградят за страдания и за усилия быть хорошей, но ежегодно Господь обманывал меня. Ни подарков, ни чудес, ни святой ночи. Я жалела себя и за это тоже. Распаковывая украшения, я пыталась сохранять невозмутимость на лице. В коробке лежали остролистовые гирлянды, сделанные из пластмассы и пахнущие, как сильнодействующие антисептики, — мне это нравилось. А на дне коробки хранился «дождик» и старые снежинки, вырезанные мальчиками из белого ватмана множество рождественских праздников назад — некоторым снежинкам, вероятно, было уже лет двадцать. Когда я разворачивала их, они являли собой тревожные, резкие геометрические формы, как будто само вырезание их было маленьким актом насилия. Однако имена, начертанные в углу каждой снежинки простым карандашом, были выведены ровным, спокойным почерком, надписи выцвели от времени. Я помню некоторые имена: Чейни Моррис, 17 лет, Роджер Джонс, 14 лет. Предполагалось, что я налеплю эти снежинки на крашеную кирпичную стену вестибюля, но я потратила весь скотч еще неделю назад на то, чтобы подклеить

подол своего свитера, когда он начал распускаться, поэтому просто рассовала снежинки между ветками сосны. Так они были похожи на настоящий снег. Я любила методичную работу, такую как развешивание украшений, и для меня не составляло проблем полностью посвятить себя этой задаче. Это было хорошо. Хотя бы на какое-то время я могла почувствовать себя легко и беззаботно. Часть украшений я приберегла для верхней трети дерева, куда не могла дотянуться, не задрав руки высоко над головой, — а если б я это сделала, все увидели бы темные пятна пота у меня под мышками. Небеса запретны.

— Вы не могли бы принести стремянку? — попросила я Джеймса, когда он вернулся на свой пост.

Я помню запах его помады для волос — грустный Ланолиновый запах. Джеймс аккуратно поставил стремянку рядом с сосной и придержал, пока я карабкалась наверх. На его лысеющей голове, словно роса, выступили капли пота.

— Не смотрите, — предупредила я, хотя знала, что он никогда не осмелится заглянуть мне под юбку. Он кивнул. Мне редко приходилось изображать из себя важную персону, и мне нравилось это.

Когда я закончила с украшениями и поставила пустую картонную коробку обратно в чулан, миссис Стивенс подняла взгляд от своих бумаг. Дерево выглядело чудесно — я очень этим гордилась, — но она едва взглянула на него. На носу у миссис Стивенс была сахарная пудра, а на кофте — мазок малинового желе, но у нее не было ни малейших понятий о благопристойности, и, похоже, ей было все равно, что о ней подумают люди.

— Эйлин, — сказала она зловеще монотонным голосом. — В понедельник во время праздничного представления ты будешь заниматься освещением. Я больше не могу это делать. И не хочу.

— Отлично, — ответила я.

Я надеялась, что когда-нибудь уеду и мне никогда больше не придется видеть ее или думать о ней, поэтому изо всех сил пыталась ее ненавидеть, выдавливала из наших встреч все отвращение, которое она мне внушала, до единой капли. Мне хватало ума не вступать с ней в споры, но мысленно я посылала в ее адрес чернейшие проклятия. Она взяла меня на эту работу в качестве услуги моему отцу. К моему величайшему стыду, время от времени я случайно называла ее «мама». Тогда миссис Стивенс закатывала глаза и саркастически фыркала, обнажая блестящие

десны, на ее растянутых в широкой ухмылке губах проступали пузырьки слюны, а очередная проклятая карамелька постукивала о коренные зубы. «Конечно, милочка, если тебе так лучше». Я смеялась, откашливалась и поправляла себя: «Миссис Стивенс».

Сомневаюсь, что она заслуживала такой глубокой ненависти, которую я направляла на нее, но в те годы я ненавидела почти всех. Помню, как в тот вечер я ехала домой, воображая, как выглядит ее тело под этим платьем с рисунком «пейсли» и серой шерстяной кофтой. Я представляла плоть, свисающую с ее костей, как холодные свиные окорока свисают с крюков в мясной лавке: толстый слой липкого грязно-белого жира, мясо плотное, бескровное и холодное, и нож с чавканьем врубается в него.

Я все еще вижу двадцатиминутный путь от «Мурхеда» до Иксвилла. Обширные заснеженные пастбища, темный лес и узкие грунтовые дороги, а потом дома: сначала редкие фермерские хозяйства, потом здания поменьше, стоящие ближе друг к другу, некоторые обнесены белыми штакетниками или черными металлическими оградами; потом возникает сам город, и с вершины холма на горизонте виден сверкающий океан,

а затем — и дом. Конечно же, Иксвилл не был лишен ощущения уюта. Представьте себе старика, который выгуливает золотистого ретривера, представьте себе женщину, которая достает из багажника своей машины сумки с покупками. В этом месте не было ничего столь уж страшного. Если б вы просто проезжали мимо, то решили бы, что здесь всё в порядке. Все и было замечательно. Даже моя машина со сломанной выхлопной системой и открытыми настежь окнами, так что зимний ветер леденил мои уши. Я любила это место — и ненавидела его. Наш дом стоял в одном квартале от перекрестка, где регулировщик по утрам и после обеда управлял потоком машин так, чтобы дети, идущие в школу и из школы, могли перейти дорогу. Школа находилась в соседнем квартале. Очень часто кто-то клал потерянные варежки и шарфы на столбики соседней ограды, а зимой — на широкие гребни сугробов, словно в бюро находок. В тот вечер на снегу у дороги лежала мальчишеская вязаная шерстяная шапка. Я рассмотрела ее при свете фонаря и даже примерила. Она была достаточно тесной, чтобы плотно закрыть мои уши. Я попыталась произнести что-нибудь — «Рэнди», — и мой голос вибрирующим эхом отдался в моей голове. Там, внутри, было до

странного спокойно. Машина бесшумно катилась по снежной грязи.

Когда я шла по узкой дорожке к крыльцу, на другой стороне улицы открылась дверца машины, и ко мне по темному льду направился одетый в форму полицейский. Ветер внезапно стих — похоже, собиралась буря. В доме зажегся свет, и коп остановился посередине дороги.

— Мисс Данлоп, — произнес он и жестом пригласил меня подойти поближе.

В этом не было ничего необычного. Я знала большинство полицейских в Иксвилле. Мой отец сделал все, чтобы они регулярно посещали нас. В тот вечер офицер Лэффи сообщил мне следующее: из школы звонили и жаловались, что мой отец швырял с нашего крыльца снежки в учеников, идущих на занятия. Лэффи вручил мне предупредительное уведомление, склонил голову в знак прощания и направился обратно к своей машине.

— Не хотите зайти? — спросила я, слыша, как мой голос гудит между ушами. — Поговорить с ним? — Я помахала письмом.

— Уже поздно, — ответил он, сел в машину и включил радио.

Должно быть, за время моего отсутствия со-

сульки на козырьке над крыльцом подросли на несколько сантиметров, потому что я помню, что протянула руку, коснулась кончика одной из них и была разочарована тем, какой он тупой. Я могла бы размахнуться своей сумочкой и сшибить их все, если б захотела. Но я просто аккуратно прикрыла дверь и сбросила туфли.

Вот каким был наш дом. Прихожая оклеена обоями в темно-зеленые и синие полосы и отделана золотистыми деревянными панелями. Лестница непокрыта, потому что я минувшим летом сломала пылесос и из-за этого сняла все ковры. В доме слишком темно, чтобы заметить слой пыли, лежащий повсюду. Лампочки в прихожей и в гостиной перегорели. Время от времени я собирала бутылки и пивные банки, раскиданные отцом, раздерганные газеты, которые он читал или притворялся, будто читал, сидя при этом на верхних ступеньках лестницы и бросая одну страницу за другой через перила, так что они усыпáли всю прихожую. В ту ночь я подняла несколько страниц — мы выписывали «Пост», — смяла их в тугие комки и бросила ему в спину: он стоял у раковины в кухне.

— Привет, папа, — сказала я.

— Ну, ты умница, — отозвался он, поворачива-

ясь и пинком отправляя скомканные газетные листы в другой угол.

За все двадцать четыре года, что я знала его, отец, кажется, ни разу не поздоровался и не спросил меня, как дела. Но в те вечера, когда я выглядела особо усталой, он мог спросить меня: «Ну, как твои дружки? Как все твои парни?» Время от времени я задерживалась за кухонным столом на некоторое время, чтобы съесть пару пакетиков арахиса и послушать, как он жалуется. Мы с отцом ели много арахиса. Я согрела ладони над плитой. Помню, я носила тонкие черные перчатки с зелеными цветочками, вышитыми вдоль пальцев. В нелепой ненависти к себе я даже не думала о том, чтобы купить хорошие, теплые зимние перчатки. Однако эти черные, в цветочек, мне нравились. В те времена женщины еще носили перчатки. Я не имела ничего против этого обычая. Кожа у меня на руках была тонкой, чувствительной и всегда холодной, и я не любила дотрагиваться до чего-либо.

— Кого-нибудь новенького привезли? — спросил в тот вечер папа. — Как поживает мальчишка Польк?

О Польке недавно писали во всех новостях — иксвиллский коп, убитый собственным сыном.

Мой отец знал убитого, они когда-то служили вместе.

— Платит за свои грехи, — ответила я.

— Так ему и надо, — проворчал мой отец, вытирая руки о халат.

На кухонном столике возле плиты грудой лежала почта. В этом месяце «Нэшнл джиографик» был довольно скучным. Несколько лет назад я нашла в букинистическом магазине этот номер — декабрь 1964 года, — и храню его где-то среди своих книг и бумаг. Сомневаюсь, что подобные вещи чем-то ценны пятьдесят лет спустя, но мне этот выпуск журнала кажется священным — слепок мира, сделанный перед тем, как для меня все изменилось. В нем не было ничего особенного. На обложке был размещен снимок двух уродливых белых птиц — возможно, голубей, — сидящих на узорной чугунной ограде. Позади и выше них, не в фокусе, виднелся церковный крест. В самом номере рассказывалось об истории округа Вашингтон, о каких-то экзотических туристических местах в Мексике и о Ближнем Востоке. В тот вечер, когда он был еще новеньким и пах клеем и типографской краской, я ненадолго открыла его, увидела фотографию пальмы на фоне розового заката и разочарованно бросила журнал на

кухонный стол. Я предпочитала читать о таких местах, как Индия, Белоруссия[4], трущобы Бразилии, Африка, где голодают дети.

Я передала отцу предупредительное письмо от офицера Лэффи и съела еще несколько зерен арахиса. Отец помахал письмом перед своим лицом и швырнул, не распечатывая, в мусор.

— Показуха это, — прокомментировал он.

Бредовые идеи, которыми он страдал, были всеобъемлющими — все и вся играли роль в его теории заговора. Ничто не было тем, чем казалось. Его преследовали видения, темные фигуры — «шпана», как он их называл, — которые, по его словам, двигались настолько быстро, что он мог рассмотреть только их тени. Они прятались под крыльцом, скрывались в темных углах, в кустах, в кронах деревьев, и они преследовали и мучили его, — так он утверждал. Отец объяснил, что в тот день бросал снежки из окна и с крыльца, чтобы дать этим фигурам понять, что ему известны их замыслы. А полиции приходится предостерегать его, чтобы сделать вид, что ничего странного не происходит — мол, старик просто выжил из ума.

— Они и здесь тоже есть, — сказал он, имея

---

[4] Примечания: 4
Анахронизм автора.

в виду «шпану» и обводя дрожащим пальцем кухню. — Наверное, пробираются через подвал. Расхаживают кругом, словно они здесь хозяева. Я слышал их. Может быть, они живут в стенах, как крысы. Да и звуки издают такие же, как крысы. Черные призраки. — Они преследовали его день и ночь, так что единственное его спасение, конечно же, было в выпивке. Отец сел за кухонный стол. — Это их те бандиты подослали. — «Ну да, конечно». — Как ты думаешь, почему копы всегда здесь? Чтобы защищать меня. После всего, что я сделал для этого города.

— Ты пьян, — прямо заявила я.

— Я уже много лет не бывал пьян, Эйлин. Это, — он приподнял банку пива, — чтобы успокоить нервы.

Я открыла пиво и себе, и закинула в рот несколько орешков арахиса. Подняв взгляд, спросила:

— И что тебя так рассмешило? — потому что он смеялся. У него такое было часто — отец мгновенно переходил от страха и подозрительности к жестокому истеричному веселью.

— Твое лицо, — ответил он. — Тебе не о чем беспокоиться, Эйлин. Никто тебя с таким лицом не тронет.

Вот именно. Черт бы его побрал. Я помню, как

поймала свое отражение в темном оконном стекле гостиной позже в тот вечер. Я выглядела взрослой. Мой отец не имел права оскорблять меня.

В тот вечер к нам заехала Джоани. На ней была белая шубка из искусственного меха, мини-юбка и теплые ботики; ее уложенные в высокую прическу волосы подрагивали на темени, глаза были густо подведены черным карандашом. Она была белокурой, обидчивой, но отходчивой — по крайней мере, тогда. Полагаю, впоследствии сестра сделалась желчной — в конце концов, эта обидчивость во что-то должна была развиться, — но я надеюсь, что она здорова, счастлива и рядом с ней есть те, кто ее любит. Джоани была особенного рода девушкой. Когда она двигалась, казалось, что она просто приспосабливает свою плоть к движениям, небрежно расправляя ее, словно шубку, чтобы было удобно. Я не могла ее понять. Полагаю, она была очаровательной, но всегда такой придирчивой, особенно когда делано-наивным тоном спрашивала меня: «Тебе не смешно носить свитер своей покойной матери?» Иногда вопросы были более сестринскими, например: «Почему у тебя такое лицо? Что у тебя стряслось на этот раз?».

В тот вечер я просто покачала головой и сделала бутерброд с ветчиной. Хлеб, масло, ветчина. Джоани захлопнула свою пудреницу и подошла сзади, чтобы потыкать меня в ребра.

— Мешок костей, — прокомментировала она, схватив с тарелки мой бутерброд. — До встречи, — сказала сестра, поцеловав папу, сидящего в кресле. Больше я никогда ее не видела.

Я поднялась на чердак и улеглась на свою раскладушку с журналом, гадая, скучала бы я по своей сестре, если б та умерла? Мы выросли вместе, но я почти не знала ее. И она уж точно не знала меня. Я доставала из жестянки шоколадные конфеты, жевала их и по одной выплевывала на измятую коричневую бумагу, в которой их принесли из магазина. Я перевернула очередную страницу.

Суббота

К полудню субботы добрых шесть дюймов свежего снега выпало поверх прежнего слоя, и так уже достигавшего колена.

Утро в такие дни бывало тихим, свежий снег приглушал все звуки. Даже холод, казалось, утих, все резкое и громкое пропало из мира. Потом затопили печи, из труб пошел дым от горящих поленьев, и дома Иксвилла, покрытые снегом и льдом, словно бы начали плавиться и течь, подобно восковым свечам. В моей комнате на чердаке было холодно, и я посчитала, что мне незачем вылезать из постели. Просто высунув руку из-под одеяла, я решила, что в достаточной степени исследовала мир. Несколько часов я лежала на раскладушке, мечтая и размышляя. Для экстренных случаев у меня был широкогорлый кувшин — я пользовалась им, когда не хотела вылезать с чердака или когда ярость отца вынуждала меня укрываться здесь. Чувствуя себя так, будто я живу на природе, в лесной глуши, далеко от дома, я присела на корточки над кувшином, задрав подол широкой ночной рубашки,

доставшейся мне от матери, и приподняв старый ирландский шерстяной свитер, в котором спала зимой. Дыхание вырывалось из моего носа белыми клубами, словно испарения из ведьминого котла, моча испускала пар и вонь, и я выплеснула желтую жидкость за окно чердака, в забитую снегом сточную канаву.

Работа моего кишечника была совершенно иным делом. Он опорожнялся нерегулярно — раз в неделю, максимум два раза, — и редко делал это самостоятельно. У меня выработалось отвратительное обыкновение выпивать разом десяток и более слабительных пилюль, когда я чувствовала себя толстой и расплывшейся, — а это бывало часто. Ближайший туалет находился этажом ниже, и туда же ходил мой отец. Я чувствовала себя неловко, опорожняя кишечник. Я боялась, что запах донесется до кухни на первом этаже или что отец постучит в дверь, пока я сижу на унитазе. Более того, я стала зависеть от слабительного. Без него дефекация была болезненной и трудной, приходилось целый час мять и гладить живот, тужиться и ругаться. От усилий анус часто кровоточил, я в ярости вонзала ногти в бедра или била себя в живот. Со слабительным опорожнение происходило стремительно и обильно, как будто

все мои внутренности расплавились и теперь вытекали наружу; жидкие фекалии отчетливо пахли лекарством, и я наполовину ожидала, что к окончанию процесса эта жижа дойдет до ободка унитаза. В таких случаях я вставала, чтобы смыть за собой, ощущая головокружение, холод и выступивший по всему телу пот, а затем падала, и весь мир, казалось, вращался вокруг меня. Это были приятные моменты. Опустошенная, измученная, легкая, словно воздух, я лежала, отдыхая, посреди этого безмолвного кружения, мое сердце выплясывало странный танец, а разум был пуст. Для того, чтобы насладиться этими моментами, мне было необходимо полное уединение. Поэтому я пользовалась туалетом в подвале. Отец мог решить, что я просто занимаюсь там стиркой. Подвал был безопасной и уединенной территорией для моих послетуалетных мечтаний.

Однако в других случаях подвал вызывал у меня темную тень воспоминаний о моей матери и о том, сколько времени она проводила там — что она делала в подвале столько времени? Я по-прежнему этого не знаю. Мать поднималась, прижимая к бедру корзину с выстиранной одеждой или постельным бельем, тяжело дыша и отдуваясь, и говорила мне, чтобы я шла при-

бирать свою комнату, причесываться, читать книгу и оставила ее в покое. Подвал до сих пор хранил те секреты, которые, как я подозревала, она скрывала там. Если темные призраки и «шпана», преследовавшие моего отца, и появлялись откуда-то, то именно оттуда. Но почему-то, когда я спускалась туда, чтобы воспользоваться туалетом, я чувствовала себя отлично. Воспоминания, призраки, ужасы, судя по моему опыту, вполне могут вести себя так — приходить и уходить тогда, когда им удобно.

В ту субботу я оставалась в постели так долго, как только могла, пока голод и жажда не заставили меня влезть в тапочки и халат и прошлепать вниз. Мой отец полулежал, свернувшись в своем кресле, перед распахнутой дверцей духовки. Похоже, он спал, поэтому я закрыла духовку, выпила воды из-под крана, набила карманы халата пакетиками с арахисом и поставила на плиту чайник. Снаружи все было ослепительно-белым, и свет заливал кухню, словно прожектор, освещающий место преступления. Помещение было грязным. Позднее, оказавшись на каких-либо особенно неухоженных станциях подземки или в общественных туалетах, я вспоминала об этой старой кухне и чувствовала тошноту. Неудиви-

тельно, что у меня почти не было аппетита. Сажа, жир и пыль покрывали все поверхности. Весь пол, застеленный линолеумом, был испещрен пятнами от пролитых жидкостей и оброненной пищи и грязными следами обуви. Но какой смысл был прибираться здесь? Ни я, ни отец ничего не готовили и не особо волновались о еде. Время от времени я споласкивала одну из чашек или стаканов, сваленных в мойку. Чаще всего я ела хлеб, пила молоко прямо из картонной упаковки, и только иногда вскрывала банку фасоли или тунца, или поджаривала ломоть хлеба. В тот день я ела арахис, стоя на крыльце дома.

Соседи откапывали свои машины — работа, которую я ненавидела. Я предпочитала дождаться кого-нибудь из парней, живущих в нашем квартале, и заплатить ему двадцать пять центов за разгребание снега. Я всегда рада была заплатить. Я бросала скорлупки от арахиса в занесенные снегом кусты — самое большее, что я могла сделать в этом году вместо украшения собственной рождественской елки.

— А ну, тихо! — заорал отец, когда чайник издал пронзительный свист. — Что так рано? — пробормотал он, разлепляя веки и моргая на солнечный свет. — Задерни шторы, Эйлин, черт

тебя побери!

Штор на кухне не было. Старые занавески отец сорвал еще год назад, утверждая, что тени, которые они отбрасывают, отвлекают его от настоящих призраков. Он хотел беспрепятственно видеть задний двор и тех, кто может туда проникнуть.

В то утро отец протер глаза кулаками, потом стал наблюдать, как я делаю себе чай.

— Кто-нибудь может увидеть тебя в этой одежке. Ты выглядишь полной растрепой.

Он запахнулся в свой халат и вытер лицо о жесткую пыльную обивку кресла. Под весом его ворочающегося тела оно скрипело и позвякивало, словно локомотив на холостом ходу.

— Ты голоден? — спросила я его. — Могу сварить пару-тройку яиц.

— Умираю — пить хочу, — ответил он, невнятно произнося слова, между его губами пузырилась слюна. — Никаких яиц. Никаких вонючих яиц.

Я видела, как его ступни дрожат под тонким одеялом.

— Холодно, — пожаловался отец. Я отпила чаю и посмотрела ему в лицо. Его прикрытые веки были похожи на занавеси из морщинистой кожи. Ресниц у него словно бы вообще не было,

лицо выглядело серым, бесцветным. — Ради бога, Эйлин. — Он неожиданным рывком сел прямо и распахнул дверцу духовки, выпуская наружу жар. — Ты пытаешься убить меня! Думаешь, ты такая умная, да? Это мой дом. — Отец завернул ноги в одеяло, подоткнул края вокруг ступней. — Мой дом, — повторил он и свернулся калачиком, словно дитя в колыбели.

Когда-то мой отец был полицейским в этой части округа, одним из горстки местных копов, которые в основном занимались тем, что снимали котов с деревьев или развозили пьяных по домам из вытрезвителя в соседнем городке. Все полицейские Иксвилла были хорошо знакомы между собой. Мой отец всегда пользовался уважением среди тех, кто знал его по службе; за холодный взгляд синих глаз и склонность обаятельным тоном читать морали он заслужил прозвище Отче Данлоп. Со времен службы в морской пехоте отец сохранил склонность к язвительным остротам. Он любил свою полицейскую форму. Когда был на службе, он часто даже спал в ней по ночам и с револьвером под рукой. Должно быть, думал, что действительно занят важным делом, что ему могут позвонить среди ночи и вызвать на задержание крупного преступника.

Но ему так и не выпало проявить героизм. Мне все равно придется об этом сказать, поэтому я скажу так, как видела это: он любил только себя, был полон гордости и носил свой полицейский значок, словно золотую звезду, прикрепленную к его груди лично Господом Богом. Если это звучит банально — так он и был банален. Он был очень банален.

Я не думаю, будто до смерти моей матери отец как-то особо много пил. Он был самым рядовым любителем пива, и только самыми холодными утрами позволял себе глоток виски. Также ничего необычного не было в том, что он со своими друзьями-полицейскими регулярно захаживал в «О'Хара». «О'Хара» — это был местный бар, назову его так в честь поэта[5], с чьим творчеством я никогда не разрешала себе ознакомиться, даже во взрослом возрасте. Папа стал персоной нон грата в «О'Хара» после того, как наставил пистолет на владельца. Когда моя мать заболела — я предпочитала формулировку «почувствовала себя плохо» за сдержанность и, как следствие, за иронию, учитывая то, какой мучительной была смерть от этой болезни, — мой отец начал брать

[5] Примечания: 5

Фрэнк О'Хара (1926–1966) — американский писатель, поэт и арт-критик, один из ключевых авторов нью-йоркской поэтической школы.

отгулы на работе, пить дома, слоняться ночами по улице и засыпать на соседских крылечках. А потом стал пить больше — по утрам, на работе. Он разбил патрульную машину, а потом случайно выстрелил из пистолета в раздевалке полицейского участка. Поскольку отец был старшим офицером и все подразделение любило его — по причинам, которые мне никогда не понять, — эти нарушения не обсуждались открыто. Когда он начал причинять все больше и больше неприятностей, его просто мягко вынудили раньше срока уйти в отставку, получать пенсию и постоянно находиться под присмотром. По каким-то таинственным мотивам сразу после смерти моей матери он переключился на джин. Единственная моя догадка, не знаю, истинная или нет, заключалась в том, что, возможно, джин напоминал ему ее духи — она пользовалась туалетной водой «Аделаида» с терпким, горьковатым цветочным запахом. Может быть, сам этот запах, память об умершей, каким-то образом успокаивал его. А может быть, и нет. Я слышала, что глоток джина защищает тебя от укусов комаров и других кровососов, — так что, возможно, отец пил его по этой причине.

После обеда я занималась тем, что разгреба-

ла снег. Никто из мальчишек не появился и не спросил, не заплачу ли я ему, если он сделает это вместо меня. В прошлом я всегда испытывала тихий восторг, когда кто-нибудь из соседских парней звонил в дверь после метели. Им было лет двенадцать-тринадцать, они носили варежки и вязаные шапки, от них пахло сосновой хвоей и сладостями. Один из мальчиков был особенно милым. Поли Дэли, певучее имя и ангельское лицо — пухлые розовые щеки и большие сапфировые глаза. Когда я видела его, мне хотелось обнять его, прижать к себе. Поли, несмотря на тяжелое шерстяное пальто, идеально справлялся со своей работой: откапывал мою машину, выгребал снег из-под колес и расчищал подъездную дорожку так, что я без труда могла открыть дверцу с водительской стороны — сама я иногда забывала это сделать. Это казалось таким заботливым поступком с его стороны. Я воображала, будто это значит, что я по-настоящему небезразлична ему. Однажды я пригласила Поли Дэли зайти в дом, пока искала мелочь, чтобы заплатить ему. Он отряхнул ботинки, прежде чем войти в прихожую, и снял вязаную шапочку. Он был очень хорошо воспитан. Его мягкие волосы были взъерошены, и я с трудом удержалась, чтобы не

провести по ним рукой.

— Хочешь горячего шоколада? — спросила я его. Мне казалось, что он не считает меня странной, чопорной, безэмоциональной девицей, какой видели меня все, по крайней мере, я так думала. Он хлюпнул носом, взглянул на грязный ковер, спрятал одну ногу за другую, потом снова надел шапку и, краснея, вежливо ответил:

— Нет, спасибо.

Тогда я поцеловала его в щеку. Я ничего под этим не подразумевала. Просто он был милым мальчиком и нравился мне. Но он покраснел и вытер прозрачную каплю, поблескивавшую между его носом и верхней губой. Выглядел он совершенно обескураженным. Я сделала шаг назад и стала рыться в карманах пальто, висевших в шкафу у входа.

— Извини, — произнесла я, нарушив неловкое молчание, и ссыпала всю мелочь, какую нашла, в его сложенные ладони.

Он кивнул, назвал меня «миссис Данлоп», ушел и больше никогда не приходил.

Когда в ту субботу я закончила счищать снег с машины, я опустила окна и включила мотор «Доджа» на холостом ходу, чтобы дать автомобилю немного прогреться и оттаять. Еще не

наступил вечер, и я хотела прокатиться к дому Рэнди. Я чувствовала, что мне это нужно. Он жил на верхнем этаже двухэтажного дома неподалеку от автомагистрали, ведущей в соседний штат. Я крепко цеплялась за суеверное представление, что если я буду внимательно следить за ним, Рэнди не влюбится ни в кого другого. Насколько я могла заметить, почти все время он проводил в одиночестве в своей квартире. Но я никогда не выслеживала его по ночам — мне было слишком страшно, — так что кто знает, скольких подруг Рэнди развлекал после наступления темноты? Время от времени рядом с его мотоциклом, припаркованным на занесенной снегом подъездной дорожке, появлялся второй. Я предполагала, что у него есть друг или брат, который приезжает к нему в гости, — и даже это заставляло меня ревновать. Обычно я парковалась на другой стороне улицы, пригибалась над рулевым колесом и следила за его домом в боковое зеркальце. Однако не было особого смысла прятаться.

Я сомневаюсь, что Рэнди узнал бы меня, если б застал за этими шпионскими действиями. Я сомневаюсь, что он вообще знал мое имя. И все же я молилась об идеальном шансе завоевать его сердце. Я целыми часами сидела там и прикидывала,

как бы произвести на него впечатление своими женскими уловками. Мои грезы о пальцах, языках и тайных свиданиях в дальних коридорах «Мурхеда» не давали моему сердцу остановиться, иначе, кажется, я умерла бы от тоски. Таким образом, я жила неотступными фантазиями. И, как любая приличная молодая женщина, я скрывала свои постыдные извращенные мысли под фасадом чопорности. Конечно же, я это делала. Легко определить, у кого самые грязные мысли, — просто высмотрите самые чистые ногти. Мой отец, например, не испытывал никакого смущения относительно своих порнографических журналов — они валялись за унитазом, под кроватью, которую он делил с моей матерью, были грудами навалены на полках в погребе, на комоде в комнате отдыха, в коробках на чердаке. И тем не менее он был твердым католиком. Конечно же, был. Мое лицемерие меркнет в сравнении с лицемерием моего отца. Я никогда не испытывала вины за то, что сделала с ним. В этом мне повезло.

В тот день, прежде чем поехать к дому Рэнди, я надела старые солнечные очки матери — большие, нелепые, продолговатой формы стекла в черепаховой оправе.

— Кого ты хочешь обдурить? — фыркнул отец.

Он уже проснулся и сидел, склонившись над столом, словно пытаясь перевести дыхание, и закутавшись в одеяло, словно в плащ. — Идешь шляться со своими дружками? Весело-весело встретим Рождество? — Он закатил глаза, ухватился за спинку кухонного стула и стукнул им о пол. — Сядь, Эйлин.

— Пап, я опаздываю, — солгала я, смещаясь поближе в двери.

— Куда опаздываешь?

— У меня назначена встреча.

— С кем встреча? Зачем?

— Мы идем в кино.

Он моргнул, хмыкнул, потер подбородок и окинул меня с головы до ног взглядом.

— Это так ты вырядилась на свиданку?

— Я встречаюсь с подругой, — ответила я. — Со Сьюзи.

— А что же твоя сестра? Почему бы тебе не сходить в кино с ней? — Отец сделал широкий взмах костлявой рукой, и одеяло упало. Он вздрогнул, как если бы холод был ножом, вонзившимся ему в спину.

— Джоани не сможет пойти.

Я часто лгала так. Отец даже не трудился отличать ложь от правды. Я повернула ручку и

открыла входную дверь, глядя вверх, на сосульки. Я подумала, что если я отломлю одну из них и брошу в отца, целясь в голову, может быть, она воткнется ему между глаз и убьет его.

— Верно, — сказал он, — потому что у твоей сестры своя жизнь. Она сумела хоть кем-то стать. А не осталась нахлебницей, как ты, Эйлин. — Отец неловко согнулся, чтобы поднять одеяло. Я смотрела на него через прихожую, сквозь проем кухонной двери, а он пытался дрожащими руками завязать пояс халата, потом снова закутался в одеяло и откинулся на спинку своего кресла с непочатой бутылкой джина в руках. — Найди свою жизнь, Эйлин, — добавил он. — Найди ключ.

Отец знал, как уязвить меня. Тем не менее я понимала, что он пьян, что какие бы жестокие слова он ни бросил мне в лицо, это было просто бессмысленное бормотание человека, лишившегося разума. Он был убежден, что ему нужна «защита свидетелей», поскольку он делал важную работу по «разоблачению бандитов». Похоже, отец считал себя кем-то вроде пленного партизана, святого, вынужденного сражаться со злом из стен своего холодного жилища. Он жаловался, что странные выходки призрачной

«шпаны» мучают его даже во сне. Я пыталась образумить его. «Это только у тебя в мозгу, — говорила я ему. — Там никого нет, никто тебя не тронет». Он хмыкал и гладил меня по голове, словно несмышленую девочку. Полагаю, мы оба были немного сумасшедшими. Конечно же, в Иксвилле не было никаких бандитов. В любом случае во время своей службы в полиции отец вряд ли совершал деяние более крупное, чем штраф водителю, ехавшему с неработающими поворотниками. Он просто был не в своем уме.

Вскоре после выхода отца в отставку начальник полиции забрал у него водительские права. Отца задержали, когда он как-то вечером ехал по встречной полосе автострады, а на следующий день припарковал машину на общественном кладбище. Поэтому ему пришлось отказаться от поездок. Однако и передвигаясь пешком, отец представлял проблему немногим меньшую. Он бродил в потемках по кварталу, стучался в соседние двери, требуя открыть, чтобы он мог провести обыск — предлоги для этого отец выдумывал сам. Он целился из пистолета в любую тень и часто укладывался спать в сточную канаву или прямо посреди улицы. Копы тишком притаскивали его домой, похлопывали по спине, и кто-нибудь из

них обязательно бранил меня за то, что я позволяю отцу так распуститься — конечно, чаще всего это говорилось с извиняющимся вздохом, но все же наполняло мою душу злостью. Однажды моего отца не было шесть дней — в таком грандиозном запое я его никогда не видела, — а потом мне позвонили из больницы, расположенной за два округа от нас, и сказали приехать и забрать его. Это побудило меня собрать всю его обувь и держать в запертом багажнике машины. После этого ему приходилось практически всегда оставаться дома — по крайней мере, зимой. Я носила ключ от машин на шее, словно кулон. Я помню его тяжесть и то, как он покачивался между моих жалких грудей, поворачиваясь, прилипая к моей потной и твердой грудине и царапая кожу, когда я выходила из дома в тот день.

Прежде чем продолжить описывать события той субботы, я должна еще раз упомянуть о пистолете — вернее, револьвере. В те времена, когда я была ребенком, отец часто сидел после ужина за кухонным столом и чистил оружие, объясняя, как оно действует и почему важно содержать его в порядке. «Если ты не сделаешь то-то и то-то, — я не помню точных терминов, — револьвер может случайно выстрелить и кого-нибудь убить».

Похоже, он говорил мне это не для того, чтобы пригласить присоединиться к этому сокровенному процессу, к его жизни и работе, а чтобы похвастаться, дать понять, что он занят важным, даже священным делом, и если я когда-нибудь вздумаю его отвлекать или, упаси господи, трогать его оружие, я умру. Я говорю вам это просто для того, чтобы ввести револьвер в повествование. Он присутствовал там с моих детских лет и до самою конца. Он пугал меня так же, как испугал бы нож мясника, но и только.

Двор был наполнен выхлопными газами и поземкой, солнечный свет уже помалу угасал. Я села в «Додж» и поехала к дому Рэнди, покусывая свою потрескавшуюся губу в предвкушении того, как мельком увижу его в окне спальни — у него не было занавесок, — или, еще лучше, встречу его по пути и смогу втайне следовать за ним по улицам Иксвилла, слушая божественный рев его мотоцикла. Тогда я смогу узнать, что он делает, когда отсутствует дома. Если в его жизни есть женщина, я увижу это своими глазами. Я полагала, что смогу найти способ обойти ее. У меня было довольно мало шансов привлечь внимание Рэнди, а тем более завоевать его любовь, — в конце концов, я была ленива и застенчива, — но моя

одержимость им уже вошла в привычку, и я уже не могла думать об этом здраво. Кто знает, что бы я сделала, если бы застала его целующимся взасос с девушкой, похожей, допустим, на Брижит Бардо? Не знаю, была ли я способна на настоящие решительные действия в отношении другого человека. Вероятно, я побилась б головой о руль и подняла бы стекла в «Додже», молясь о том, чтобы задохнуться и умереть. Кто знает?

Но когда я доехала, Рэнди не было дома, и его мотоцикл отсутствовал на обычном месте на дорожке. Поэтому я по какой-то причине решила сделать правдой свою ложь, сказанную отцу, и пойти в кино. Просмотр кинофильмов никогда не был моим любимым времяпровождением, но в тот вечер я не хотела оставаться одна. Я не любила фильмы по той же причине, по которой не любила романы: я терпеть не могла, когда мне говорили, какие мысли должны у меня возникать. Это было оскорбительно. И во все эти истории трудно поверить. Более того, красивые актрисы вызывали во мне отвращение и жалость к себе. Я сгорала от зависти и обиды, когда они улыбались и хмурились. Конечно же, я понимала, что актерская работа — это ремесло, и питала большое уважение к тем, кто способен на время

отбросить свое «я» и принять новую личность. Конечно, можно сказать, что я делала то же самое. Но в общем и целом женщины на экране всегда заставляли меня ощущать себя особенно уродливой, тусклой и незаметной. Особенно в те времена, когда я понимала, что мне нечего противопоставить — во мне нет ни настоящей красоты, ни подлинного очарования. Я была ничем, половиком под дверью, побеленной стеной; у меня было лишь отчаянное желание сделать что угодно — скажем так, кроме убийства, — лишь бы найти кого-то, кто будет питать ко мне хотя бы дружеские чувства, не говоря уже о любви. Пока несколько дней спустя не появилась Ребекка, я могла лишь молиться о каком-нибудь крошечном чуде — чтобы я стала нужной и желанной для Рэнди. Допустим, спасла бы ему жизнь при пожаре или во время аварии на дороге, или вошла бы в комнату в тот момент, когда он узнал о смерти своей матери, и предложила бы ему носовой платок и плечо, на котором можно поплакать… Таковы были мои романтические фантазии.

В Иксвилле был маленький кинотеатр, где крутили только самые пристойные, почти детские фильмы. Если б я захотела посмотреть «Презрение» или «Голдфингер», мне пришлось бы ехать

за десять или более миль туда, где не распространялось влияние «Женского комитета Иксвилла». Не могу сказать, испытывала ли я облегчение или разочарование от того, что мои планы торчать под окнами у Рэнди до самого заката пошли прахом. Однако я помню, что по дороге к кинотеатру я испытывала ощущение некоего неотвратимого рока, нависшего надо мной. Если б Рэнди связался с другой женщиной, я убила бы себя. Мне больше незачем было бы жить. Когда я припарковала машину возле кинотеатра и подняла окна, меня снова пронзило осознание того, как легко было бы умереть. Одна перерезанная вена, одно превышение скорости поздно ночью на обледеневшей автостраде, один прыжок с Иксвиллского моста… Если б захотела, я могла бы просто утопиться в Атлантическом океане. Люди все время умирают. Почему бы и мне не умереть?

Я вообразила, как отец ворвется ко мне как раз в тот момент, когда я буду резать вены, и хмыкнет: «Ты попадешь в ад». Я боялась этого. Я не верила в рай, но верила в ад. И на самом деле не хотела умирать. Я не всегда хотела жить, но я не собиралась кончать с собой.

И в любом случае были другие варианты. Я могла сбежать, если б набралась храбрости, —

так я говорила себе. Мечта о Нью-Йорке манила, словно мерцающие огни на вывеске кинотеатра, обещая темноту и возможность забыться, пусть на время и не бесплатно, но все было лучше, чем сидеть дома одной.

Я купила билет на фильм «Не присылай мне цветы» и направилась по ковровой дорожке с узором из красных и черных ромбов, ведущей к обитой искусственной кожей двери. Прыщавый парень-подросток, подсвечивая фонариком, проводил меня в зал. Кино уже началось. В тепле и темноте, наполненной запахом сигаретного дыма и горелого масла, я едва удерживалась, чтобы не задремать, несмотря на взвизги Дорис Дэй. Но когда я открывала глаза, то, что я видела, было смертельно скучным. Я едва помню фильм. Бóльшую часть его я проспала, но там было что-то о домохозяйке, чей муж одержим ипохондрией, а может быть, просто общим невыносимым страхом смерти. В тот момент Дорис была уже немолода — помятая и потрепанная бумажная куколка с детской прической и в одежде, больше подошедшей бы горничной. Рок Хадсон, похоже, совершенно не обращал внимания на ее шарм. Оказывается, даже Дорис Дэй не всегда может вызвать у мужчин любовное чувство.

Когда пошли титры, я вышла из кинотеатра вместе с толпой прочих горожан, молодых и старых, одетых в яркие шерстяные пальто, шапки и кашне. Холодный вечерний воздух взбодрил меня. Я не хотела возвращаться домой. Мой взгляд привлекли мерцающие рождественские гирлянды в витрине кондитерской напротив. Я зашла, купила пончик с заварным кремом, одним махом съела его, как делала обычно, и вышла, уже пожалев о том, что сделала. Я не хотела стать такой, как женщина за прилавком, — толстой, расплывшейся, с телом, напоминающим мешок яблок. В витрине магазина одежды, расположенного рядом с кондитерской, я отчетливо увидела свое отражение. Я выглядела нелепо в своем широком сером пальто, одинокая, застывшая в лучах фар проезжающей мимо машины, словно глупый испуганный олень. Я попыталась поправить волосы, спутавшиеся после сна. Потом подняла взгляд. Над дверью красовалась вывеска с названием магазина, словно бы начертанная аккуратным девичьим почерком: «Дарла». Закатив глаза, я вошла внутрь.

— Здрасьте, — произнес чей-то голос, когда колокольчик над дверью звякнул, и из задней комнаты вышла продавщица. — Мы скоро закры-

ваемся, но можете пока осмотреться и выбрать. Все, что угодно, только скажите.

Моя «посмертная маска», похоже, ничуть ее не встревожила. Меня всегда раздражало, когда на мою бесстрастность отвечали добродушием и хорошими манерами. Разве она не знает, что я чудовище, ведьма, пакость? Как смеет она по-доброму шутить со мной, когда я заслуживаю того, чтобы меня встретили с отвращением и страхом? Мои грубые туфли оставляли грязные следы на застеленном ковром полу, когда я обходила стойки с одеждой и щупала платья из тонкой шерсти и шелкового крепа. Нелепо было даже думать, что я могу носить такие тонкие одеяния, не говоря уже о том, чтобы позволить их себе. Я помню яркие тона и броские узоры, атлас и шерсть, все милое, отличного покроя, с большими бантами, широкими складками и прочей ерундой. Я, конечно же, была скупой, и тогда вглядывалась в каждый ценник и высчитывала стоимость того, чего так жаждала и в то же время презирала. Это было нечестно. Другие могут носить красивые вещи, почему же я — нет?! Если я надену что-нибудь подобное, кое-кто может обратить на меня то внимание, которое я заслуживаю. Даже Рэнди. Мода — приманка для глупцов, теперь я это знаю,

но я научилась тому, что время от времени неплохо побыть глупой. Это помогает сохранить душу молодой. Полагаю, тогда я подозревала нечто подобное, потому что, несмотря на все свое презрение к «тряпкам» — а может быть, благодаря ему, — попросила на примерку вечернее платье, выставленное в витрине.

Это было цельнокроеное платье золотого цвета с высоким воротом, по которому вниз к груди тянулся узор из чередующихся золотистых и серебристых декоративных элементов. Оно напомнило мне о фотографиях женщин-африканок, чьи шеи были болезненно вытянуты нанизанными на них золотыми кольцами. Продавщица изумленно посмотрела на меня, когда я указала на это платье, потом улыбнулась и пошла к витрине. Потребовалось несколько минут, чтобы расстегнуть платье, а потом положить манекен набок и стянуть с него длинное одеяние. Я как бы случайно отошла к дальней стене, чтобы взглянуть на чулочно-носочные изделия. Пока девушка сражалась с манекеном, я незаметно сунула в сумочку четыре упаковки темно-синих колготок. Потом посмотрела в зеркало на витрине с бижутерией, запертой с другой стороны, сняла перчатки и стерла следы шоколада

в уголках губ. Потом вытерла руки о шарф, свисающий в качестве украшения с бамбукового шеста. Продавщица несла платье в примерочную так, как если б это было спящее дитя: на вытянутых руках, стараясь не задеть нашитые на него украшения. Я последовала за ней, сняла пальто и укрыла сумочку в его складках. Мне было все равно, что подумает продавщица о моей жалкой одежде. Она сама носила скромную, но нелепую юбку-полусолнце, украшенную, насколько я помню, помпонами, а может быть, и вышитыми котятами.

— Я буду в зале, если вам что-то понадобится, — сказала девушка, закрывая дверь примерочной.

Я сняла свитер, блузку и лифчик и внимательно взглянула на свой бюст, оценивая величину и форму моих маленьких грудей. Потом отважно расправила плечи перед зеркалом, просто чтобы устрашить себя саму. Во время месячных мои груди становились болезненными и тяжелыми, словно свинец или камень. Я ущипнула их, потыкала в них пальцами. Потом сняла колготки и трусики, но не стала смотреть на себя ниже пояса. Мои ступни, лодыжки, икры были вполне нормальными, даже не очень уродливыми. Но что-то отталкивающее и противное имелось в

моих бедрах, ягодицах, тазе. У меня всегда было ощущение, что если я буду рассматривать эти части своего тела слишком пристально, они утянут меня в другой мир. Я просто не могла исследовать эту территорию. И в то время я не считала это тело действительно моим, чтобы исследовать его. Я полагала, что для этого существуют мужчины.

Платье было тяжелым, словно шкура странного животного. По верху оно было слишком большим, неуклюже топорщась между моих рук и грудей, украшения позванивали друг о друга, словно некий туземный инструмент, когда я застегивала «молнию» на спине. И в целом оно было слишком длинным. В зеркале я выглядела крошечной, непривлекательной, мои волосатые лодыжки высовывались из-под подола, словно задние ноги коровы или козы. Платье явно не шло мне, и все же я его хотела. Конечно же, хотела. Судя по ценнику, оно стоило больше, чем я получала за две недели работы в тюрьме. Я подумывала о том, чтобы сорвать ценник, как если б это помогло мне получить платье бесплатно. Я прикинула, не оторвать ли мне одно из металлических украшений и не сунуть ли в сумочку к колготкам. Но вместо этого я острым кончиком ключа от машины проколола дырочку во внутренней под-

кладке возле подола и слегка надорвала. Потом влезла в свою старую одежду — которая сейчас ощущалась еще более старой и воняла пóтом, а блузка под свитером была холодной и влажной в подмышках — и вышла обратно в торговый зал.

— Ну, как дела? — помнится, спросила продавщица, как будто я могла справиться с примеркой хорошо или плохо. Почему я всегда вызывала у людей подобные вопросы? Конечно же, это платье смотрелось на мне ужасно. Продавщица, должно быть, предвидела это. Но почему в этом должна быть виновата я, а не платье? «Ну, как дела у платья?» — следовало бы спросить ей.

— Не в моем стиле, — ответила я и быстрым шагом вышла, придерживая под мышкой пухлую сумочку. От резкого холода я вздрогнула, но все же победно улыбнулась. Похищая вещи из магазинов, я чувствовала себя неуязвимой, как будто карала весь мир и вознаграждала себя, на какое-то мгновение восстанавливая правильный порядок вещей — верша правосудие.

В тот вечер я еще немного покаталась на машине, снова проехала мимо дома Рэнди и разочарованно прищелкнула языком, увидев, что все окна в его квартире темные. Потом поехала на обзорную площадку, с которой молодые парочки

любили смотреть на океан. По пути я натянула на голову найденную вчера вязаную шапку. Я ехала без особой цели. Для того чтобы добраться до обзорной площадки, нужна машина, так что, полагаю, не было риска наткнуться на Рэнди, катающего на мотоцикле какую-нибудь девушку. И все же, тащась вверх по крутой заснеженной дороге, я пыталась рассмотреть сквозь запотевшее заднее стекло все машины, попадавшиеся по пути, чтобы убедиться, что ни в одной из них его нет. Я и прежде много раз бывала там, просто чтобы посмотреть. В тот вечер я припарковалась и устремила взгляд в темноту над океаном. Потом на несколько минут подняла окна в машине и посидела, теша себя мыслями о Рэнди. В двадцать четыре года я еще ни разу не была на настоящем свидании. Позднее, после того как я покинула Иксвилл и у меня появился кое-какой романтический опыт, мне доводилось сидеть в машине с тем или иным мужчиной. «Отсюда прекрасный вид», — обычно говорили они, и мне была уже ведома сладкая дрожь, когда в момент экстаза ты открываешь глаза и видишь сияющую луну и звезды, развешенные по небу, точно праздничные гирлянды, как будто их разместили там специально ради твоего удовольствия. Я также

изведала сладкий стыд, когда дорожный патруль застает тебя в захватывающее дух мгновение любви и страсти, господи боже мой! Но в тот вечер я просто сидела одна, смотрела вверх и гадала, куда заведет меня дорога моей жизни, если я сейчас не решусь включить мотор и скатиться за край обрыва, зияющего передо мной. Эта дорога неизбежно вела обратно мимо дома Рэнди — по-прежнему темного, и это сводило меня с ума, — а затем домой. Плакала ли я от обиды и жалости к себе? Нет. К тому времени я привыкла к одиночеству. Я знала, что когда-нибудь сбегу. А до тех пор буду томиться и чахнуть.

Дома я выпила воды из-под крана и проглотила горсть слабительного, которое хранила под кухонной раковиной. Потом села на стул и стала пить пиво из банки. Отец поднял руку и мрачно отсалютовал, подшучивая над моей угрюмостью.

— Копы принесли виски, — сообщил он, указывая на бутылку «Гленфиддика»[6] с бантиком, повязанным вокруг горлышка; она стояла у двери в погреб. — Ну, и как тебе фильм?

Он сидел спокойно; настроение у него, похоже, улучшилось, а обидчивая злость, которую он

---

[6] Примечания: 6

«Гленфиддик» — известный бренд шотландского односолодового виски.

проявлял несколько часов назад, прошла. Судя по всему, он не прочь был поговорить.

— Фильм был тупой, — честно ответила я. — Можно открыть? — Я подошла и взяла в руки бутылку.

— Необходимо, конечно же, — отозвался отец.

Я не всегда ненавидела его. Как и во всех злодеях, в нем было кое-что хорошее. Обычно он ничего не имел против беспорядка в доме. Так же, как и я, он ненавидел соседей, и предпочел бы получить пулю в голову, но не признать себя побежденным. Время от времени он веселил меня: например, когда пытался в пьяном виде читать газеты, серьезно взирая на каждый заголовок, который ему удавалось расшифровать, — один глаз зажмурен, трясущийся палец скользит по словам. Он по-прежнему произносил напыщенные речи относительно красных. Он любил Голдуотера и презирал Кеннеди[7], хотя заставил меня поклясться, что я сохраню это в тайне. Он строго настаивал на выполнении определенных

[7] Примечания: 7

Барри Моррис Голдуотер (1909–1998) — американский политик, кандидат Республиканской партии в президенты страны на выборах 1964 года; ярый антикоммунист.

Джон Фицджеральд Кеннеди (1917–1963) — американский политический деятель, лидер Демократической партии, 35-й президент США (1961–1963).

обязанностей. Например, маниакально следил за тем, чтобы все счета были оплачены вовремя. Единожды в месяц он специально ради этого сохранял трезвость, и я должна была сидеть рядом с ним, открывать конверты, наклеивать марки и передавать чеки ему на подпись. «Это ужасно, Эйлин, — говорил он. — Начинай заново. Ни один банк не примет чек, заполненный таким почерком, словно у маленькой девочки». Даже в дни, когда отец не пил, он с трудом мог удержать ручку.

В тот вечер я налила нам обоим виски на несколько пальцев и придвинула свой стул поближе к его креслу, протянув замерзшие руки к зажженной духовке.

— Дорис Дэй — жирная кляча, — сказала я.

— Если хочешь знать мое мнение, ходить в кино — пустая трата времени, — пробормотал отец. — По телику есть что-нибудь хорошее?

— Очень милый белый шум, если ты не прочь его посмотреть, — ответила я. Телевизор был сломан уже давно.

— Надо позвать кого-нибудь, чтобы посмотрели его. Колба сломалась. Наверное, колба.

Этот разговор мы вели годами, раз в неделю.

— Всё — пустая трата времени, — произнесла я,

чуть откидываясь на спинку стула.

— Пей, — проворчал отец, прихлебывая из стакана. — Копы притащили мне хороший виски, — повторил он. — Этот Далтон похож на какого-то хорька.

Далтоны жили напротив, через улицу. Отец умолк, выждал некоторое время.

— Ты это слышишь? — Он поднял руку, оттопыривая свое ухо. — «Шпана» сегодня буянит. Какой нынче день?

— Суббота, — отозвалась я.

— Вот именно поэтому. Голодные, как крысы. — Он допил виски, рассеянно порылся в складках одеяла, наброшенного на колени, и достал полупустую бутыль джина. — Как тебе фильм? Как моя Джоани?

Он все время был таким. Совершенно без памяти, без разума.

— С ней все хорошо, папа.

— Малышка Джоани, — произнес отец печально, с тоской. Потом потер подбородок, поднял брови. — Дети вырастают, — добавил он.

Мы смотрели в горящую духовку, словно в камин. Я отогрела пальцы, налила себе еще немного виски и стала представлять луну и звезды — как они вращались бы за лобовым стеклом, если б я

час-полтора назад на полной скорости вылетела за край того обрыва на камни внизу. Блеск разбитого стекла на снежной корке, черный океан…

— Джоани, — благоговейно повторил отец. Несмотря на беспутный образ жизни моей сестры, он уважал ее и, похоже, скучал по ней, всегда говоря о моей сестре с такой теплотой и восторгом. — Моя милая, дорогая Джоани, моя славная маленькая девочка.

В те последние годы в Иксвилле я чаще всего оставалась на чердаке во время визитов сестры. Мне было нестерпимо видеть, как отец сует ей деньги, как его глаза наполняются слезами гордости и умиления, как они любят друг друга — если это было *любовью*, — чего я никогда не могла понять. В представлении отца Джоани все делала правильно. Хотя и будучи старше меня, она оставалась его деткой, его ангелочком, его сердцем.

Что касается меня, то что бы я ни делала, отец был уверен, что я поступаю неправильно, и всегда говорил мне об этом. Если я спускалась вниз с книгой или журналом в руках, он ворчал: «Зачем ты тратишь время на чтение? Иди лучше погуляй. Ты бледная, как моя задница». А если я покупала пачку масла, он брал ее двумя пальцами и фыркал: «Я не могу есть масло на ужин,

Эйлин. Когда уже ты научишься соображать, ну хоть что-то?» Когда я заходила в дом, он всегда ронял что-то вроде «ты опоздала», «ты сегодня рано» или «тебе придется снова выйти, у нас кончается еда». Хотя я желала ему смерти, я не хотела, чтобы отец умирал. Я хотела, чтобы он изменился, стал добр ко мне, извинился за пять лет горя, которое причинил мне. К тому же мне было больно воображать всю помпезность и сентиментальность его похорон — все эти дрожащие подбородки, приспущенный флаг и тому подобную бессмыслицу.

Мы с Джоани в детстве и юности не особо дружили. Она всегда была намного привлекательнее и веселее меня, в ее обществе я чувствовала себя неуклюжей, уродливой и скованной. Как-то раз на вечеринке в честь ее дня рождения она дразнила меня за то, что я стесняюсь танцевать, потом заставила меня встать и положила ладони мне на бедра, а затем присела на корточки, едва не утыкаясь лицом мне между ног, и стала крутить меня из стороны в сторону, точно марионетку или тряпичную куклу. Ее подруги смеялись и танцевали, и я села обратно на свое место. «Ты такая уродливая, когда дуешься, Эйлин», — сказал тогда отец, фотографируя нас. Подобное происходило

постоянно. В семнадцать лет Джоани сбежала из дома со своим парнем в поисках лучшей жизни и бросила меня.

Помню один День независимости: мне тогда, должно быть, было двенадцать лет, потому что Джоани на четыре года старше, и она за месяц до того получила водительские права. Мы вернулись домой с пляжа и увидели, что наши родители устраивают на заднем дворе барбекю для всего полицейского управления Иксвилла — редкое общественное мероприятие для семейства Данлоп. Один новобранец, которого я иногда видела в городе — помнится, у его младшей сестры было какое-то заболевание, сделавшее ее инвалидом, — уселся рядом со мной за стол для пикника. Мой отец еще пошутил, обращаясь к этому парню, что мы с Джоани настоящие «нимфетки». Значение этого термина дошло до меня лишь несколько лет спустя, но я никогда не забуду, каким тоном он сказал это, и я по-прежнему обижена на него. Помню, мне было неприятно сидеть на неструганой сосновой доске, уложенной на два ведра, наполненных камнями, — импровизированной скамье для пикника. Я пошла в дом, чтобы переодеться из пляжной одежды в обычную, тот парень последовал за мной на кухню и

попытался поцеловать меня. Я отдернула голову назад и отвернулась, но он схватил меня за плечи, повернул к себе спиной и завел мои руки назад, держа за запястья. «Ты арестована», — пошутил он, потом запустил руку мне в шорты и ущипнул меня. Я убежала на чердак и просидела там до ночи. Никто не хватился меня. Я знаю, другим девушкам случалось подвергаться и худшему, и я сама в дальнейшем претерпела немало, но этот эпизод был почему-то особенно унизительным. Психоаналитик, должно быть, назвал бы это «формирующей травмой», но я мало знаю о психологии и отвергаю эту науку от начала до конца. Мое мнение таково, что за людьми, выбравшими эту профессию, нужен глаз да глаз. Если б мы жили несколько столетий назад, полагаю, их сожгли бы на костре как ведьм и колдунов.

А в тот субботний вечер в Иксвилле виски быстро закончился. Отец уснул, а я спустилась в подвальный туалет, мучаясь отрыжкой от спиртного, бурлящего в желудке, и едва ли не лопаясь с другого конца от принятого слабительного. Я была пьяна, меня шатало, и я могла бы погибнуть, скатившись с лестницы, если б не цеплялась за ее занозистые перила, точно за поручни тонущего корабля. Однажды в детстве я споткнулась и

упала с этой лестницы, когда удирала от матери, которая гонялась за мной с деревянной ложкой и кричала: «Прибери свою комнату!» — или что-то вроде того. Падая, я разбила губу и ударилась головой, а еще оцарапала ладони и колени, когда приземлилась на твердый земляной пол. Помню, как я смотрела от подножия лестницы вверх, на желтый прямоугольник света, падавшего из кухни, и в этом прямоугольнике появился силуэт моей матери, как будто вырезанный из бумаги. Она ничего не сказала мне, просто закрыла дверь. Сколько часов я просидела там, внизу, мучаясь от боли и ужаса? Темнота, пыль и паутина, запах пронзительной сырости, серые стальные инструменты в углу, бойлер, дряхлый унитаз, пахнущий застарелой мочой, со смывной цепочкой, свисающей откуда-то из-под потолка. Мыши. Полагаю, что именно в тот день я победила свой детский страх темноты. Никто не явился ко мне — никакой злобный дух не напал на меня, никакой неупокоенный призрак не попытался выпить мою душу. Меня оставили в подвале одну, и это было просто больно.

К полуночи я снова лежала на холодном подвальном полу, тяжело дыша от усилий, которые понадобились моему телу, чтобы опустошить

кишечник — хвала слабительному. Из туалетного бачка с шумом бежала вода. Помню, какая-то часть меня желала, чтобы темные ангелы, которыми бредил мой отец, материализовались из сырых теней и утащили меня в преисподнюю. Увы, никто не явился и на этот раз. Темнота вращалась и вращалась вокруг меня, потом остановилась, и я вылезла по лестнице из подвала, прошла через холодную кухню и поднялась на чердак, где и уснула почти мгновенно — измотанная, умиротворенная и невероятно жалкая.

Воскресенье

В то воскресенье утром я проснулась на своей раскладушке на чердаке, страдая похмельем, а отец уже звал меня помочь ему приготовиться к утренней мессе. Это означало — застегнуть ему рубашку и поднести бутылку к его губам, потому что из-за трясущихся рук сам он сделать это был не в состоянии. Мне самой, конечно же, было не очень хорошо, в глазах по-прежнему все плыло из-за выпитого накануне виски, а тело из-за вчерашнего действия слабительного казалось выжатой тряпкой.

— Мне холодно, — сказал отец, дрожа. Он дернул себя за небритый подбородок и подмигнул, глядя на меня, словно бы приказывая: «Принеси бритву». И я ее принесла. Я взбила крем для бритья в пену и побрила отца прямо в кухне, над раковиной, заваленной грязной посудой; рядом стояла салатница, полная сигарного пепла, тут и там валялись заплесневелые куски хлеба, зеленые, словно старая монета. Может быть, для вас это звучит не очень страшно, но жить здесь было довольно неприятно. Перемены настроения

моего отца ужасно утомляли. Он часто бывал раздражен, и я боялась случайно рассердить его — хотя иногда я сама была так сердита, что старалась злить его нарочно. Мы играли в эту игру, словно старая супружеская чета, и он всегда выигрывал.

— От тебя чертовски воняет, — сказал отец мне в то утро, когда я проводила бритвой по его подбородку.

Конечно же, иногда мне хотелось убить его. В то утро я могла перерезать ему горло. Но я ничего не сказала: я не хотела, чтобы он знал, как сильно задел меня. Мне было важно не дать ему понять, что у него есть власть унизить меня. А еще важнее было скрыть, как сильно мне хочется уехать от него подальше. Чем больше я думала о том, чтобы покинуть его, тем больше боялась, что он может последовать за мной. Я воображала, что он поднимет всех своих друзей из полицейского управления, обзвонит весь штат с требованием высматривать мою машину и расклеить объявления с моим фото и надписью «Разыскивается» по всему Восточному побережью. Но на самом деле все это были просто фантазии. Я знала, что он забудет обо мне, как только я исчезну. И, похоже, так он и сделал. В те времена я размышляла о

том, что если мне предстоит уехать, кто-то другой должен позаботиться о моем отце вместо меня. Его сестра могла бы помочь в этом. Джоани могла хотя бы раз приложить усилия. Я говорила себе, что нельзя все обязанности взваливать на меня и он вполне без меня обойдется. Что может случиться, даже в самом худшем варианте?

Когда в тот день моя тетя заехала за ним, она посигналила от дороги, и мы вышли из дома. Ее звали Рут, и она была единственной сестрой моего отца — впрочем, братьев у них тоже не было. Мой отец ждал на крыльце — о, почему бы одной из тех сосулек не отломиться и не пробить ему голову? — пока я шла по подъездной дорожке к своей машине, чтобы достать из багажника его ботинки.

— Не эти, — окликнул он. — Они дырявые.

Я достала другие и подала ему.

— Сойдет, — сказал отец.

Тетя едва посмотрела на меня — она морщилась и жмурилась от снежного блеска. Проходя мимо ее машины, я помахала ей рукой, но она не махнула в ответ. На крыльце я завязала шнурки отцовских ботинок и направила его в нужную сторону.

Сейчас, задним числом, я вижу, что была очень

хорошей дочерью: застегивала отцу рубашку, завязывала ему шнурки. Полагаю, в глубине души я и тогда знала, что я хорошая. В том и состояла моя основная дилемма: я чувствовала, что хочу убить отца, но не хотела, чтобы он умирал. Думаю, он это понимал. Вероятно, я сама сказала ему об этом в предыдущий вечер, несмотря на свою инстинктивную скрытность. Мы часто сидели и пили вдвоем — я и мой отец. Я смутно помню, что в тот субботний вечер я сидела, уронив голову на стол, и зевала, глядя, как он сидит с бутылкой виски в одной руке и с бутылкой джина — в другой. «Это неприлично, Эйлин», — сказал отец, наверное имея в виду то, что я положила ногу на ногу, а моя помада размазалась на половину лица. Для нас в этом не было ничего необычного. Мы не были дружны, но иногда разговаривали друг с другом. Мы спорили. Я размахивала руками. Я вполне могла сказать слишком много. То же самое я делала и в более поздние периоды своей жизни, когда пила с другими мужчинами — в основном с глупыми мужчинами. Я ожидала, что им будет интересно все обо мне. Я ожидала, что они расценят мою пьяную болтовню как некий жест робкого заигрывания, словно я говорила: «Я просто ребенок, невинный в своем скудоумии.

Разве я не милашка? Люби меня, и я закрою глаза на твои промахи». С теми, другими, мужчинами эта тактика приносила мне краткие периоды близости, пока я не разочаровывалась и не начинала понимать, что осквернила себя — в первую очередь тем, что вообще обратила внимание на этих мужчин. Но мне никогда не удавалось завоевать таким способом теплое отношение отца. Я бормотала что-то о своих замыслах, зачитывала едва различимые аннотации на задних обложках книг, лежавших на кухонном столе, разговаривала о том, как я отношусь к себе, к жизни, к временам, в которые мы живем… Всего после нескольких глотков я могла стать очень красноречивой. «Люди все время живут так, как будто всё в порядке. Но это неправда. Всё совсем не в порядке. Люди умирают. Дети голодают. Бедняки замерзают насмерть где-то там, снаружи. Это нечестно. Это неправильно. И всем, похоже, наплевать. Бла-бла-бла, говорят они. Папа. Папа! — Я хлопнула ладонью по столу, чтобы привлечь его внимание. — Мы в аду, ведь так? Это ад, верно?» Он просто закатил глаза. Это взбесило меня.

Когда в то утро отец уехал в церковь, я приготовила себе яичницу с кетчупом и подогрела пиво

на плите, чтобы полечиться от похмелья. Это, конечно же, не сработало. Даже не пробуйте. Но было приятно поесть после того, как накануне вечером в подвальном туалете я полностью опустошила свою пищеварительную систему. Мне казалось, что я начинаю с пустого места, с чистого листа, хотя, кажется, в то утро я не принимала душ. Я ненавидела душ, особенно зимой, когда горячая вода текла неравномерно. Я предпочитала мариноваться в собственной грязи так долго, как только могла ее выносить. Не могу сказать точно, почему я это делала. Это определенно выглядит жалким методом бунтарства, и более того, это внушало мне постоянное беспокойство, что другие учуют запах моего тела и сочтут меня такой же отвратительной, как этот запах. Даже мой отец сказал, что от меня чертовски воняет. Я облачилась в старую воскресную одежду моей матери: серые брюки, черный свитер, шерстяная парка с капюшоном, — надела боты и поехала в библиотеку. Я как раз закончила пролистывать краткую историю Суринама и книгу о том, как предсказывать будущее по звездам. В первой из них были великолепные изображения почти обнаженного мужчины и полуголой старухи. Я вспоминаю фотографию обезьянки, сосущей

грудь женщины, но, возможно, я просто придумываю. Я любила подобные извращенные вещи. Мой интерес к звездам понятен: я хотела, чтобы что-нибудь предсказало мне светлое будущее. Я могу представить, как я тогдашняя заявила бы, будто сама жизнь подобна книге, взятой в библиотеке, — что-то, что нам не принадлежит и с чем в конце концов придется расставаться. Как глупо!

Вряд ли я когда-либо по-настоящему понимала, что значит быть католиком. Когда мы с Джоани были маленькими, мать каждое воскресенье отправляла нас в церковь с отцом. Джоани, кажется, никогда не протестовала, зато просто сидела во время литургии, читала книги про Нэнси Дрю и жевала жвачку. Она отказывалась преклонять колени и вставать в рост вместе с остальными, произносила «бла-бла-бла» вместо «Отче наш», крутила пряди своих волос. В девять или десять лет моя сестра уже была достаточно хорошенькой и дерзкой, чтобы отец не обращал внимания на ее дурные манеры. Но я в пять лет была по-детски пухлой и бледной, с маленькими, вечно прищуренными глазами — только в тридцать лет до меня дошло, что мне нужны очки, — и полагаю, что вокруг меня витала аура

сомнения и беспокойства, и это заставляло отца стыдиться. «Не позорь меня», — бормотал он, когда мы поднимались по ступеням церкви. Со всех сторон его приветствовали улыбчивые, дружелюбные, даже в чем-то подобострастные члены общины — должно быть, эти иксвиллцы считали, что следует поддерживать добрые отношения с человеком в синей форме. Папа, конечно же, всегда надевал форму в церковь. А может быть, они просто побаивались его. Меня же он определенно пугал. Помню, что когда мы приезжали к мессе, он оставлял револьвер в бардачке — похоже, в те времена отец расставался с оружием только в такие минуты. «Доброе утро, офицер Данлоп», — обязательно говорил кто-нибудь. Отец обменивался с ними рукопожатиями, одной рукой обнимал за плечи Джоани и клал ладонь мне на макушку, предупреждая, чтобы мы прекратили болтовню. Если я когда-либо задавала ему вопрос или вообще привлекала его внимание, он смотрел на меня сверху вниз, словно бы говоря: «Веди себя нормально, сделай радостное лицо, делай все как положено». Но я неизбежно разочаровывала его. Когда кто-то из его друзей пытался в знак расположения ущипнуть меня за щечку, я немела или путалась в

словах, морщилась и в конце концов ударялась в слезы. Я ненавидела ходить в церковь.

«А почему миссис Данлоп не пришла сегодня утром?» — всегда спрашивал кто-нибудь. Отец выдумывал какой-нибудь предлог: мол, она нехорошо себя чувствует или поехала навещать свою мать, однако передает свои наилучшие пожелания. Моя мать никогда не ходила к мессе. Единственный раз на моей памяти, когда она вообще пришла в церковь, — это похороны моего деда. Мы возвращались домой к вечеру воскресенья — нам с Джоани приходилось высиживать бесконечные часы за изучением Библии в воскресной школе, которую вела пожилая монахиня, однако ничто из этих поучений не проникало в мое сознание. К этому времени в доме становилось чуть-чуть больше порядка, чем перед нашим уходом, а мать лежала на диване в гостиной, читая журнал и придерживая между колен бутылку вермута; сигаретный дым плавал над ее головой в тусклом свете вечернего солнца, подобно нависающей грозовой туче.

«Обещаешь, что будешь навещать меня в аду, Эйлин?» — спрашивала она.

«Иди в свою комнату», — приказывал отец.

Мать закатывала глаза, видя суеверность моего

отца, то, как он крестился перед трапезой или возводил взгляд к потолку, когда злился или надеялся на что-то. «Бог — это для идиотов, — говорила она нам. — Люди боятся смерти, вот и всё. Слушайте меня, девочки». Помню, как она сказала это, отведя нас в сторону, как-то раз, когда тетя Рут приехала и выругала нас за то, что мы ленивые, избалованные девчонки, — или что-то вроде того. Они с нашей матерью не очень-то ладили. «Бог — это выдумка, — говорила мать, — как Санта-Клаус. Никто не смотрит на вас, когда вы остаетесь одни. Только вам решать для себя, что правильно, а что неправильно. Нет никаких наград для хороших маленьких девочек. Если вы хотите что-то получить — сражайтесь за это. Не будьте дурами». Вряд ли она когда-либо была более заботливой, чем тогда, когда произносила эти ужасные слова: «К черту Бога. И к черту вашего отца».

Помню, как после этого я часами сидела на кровати, воображая лежащую передо мной вечность. В моем представлении Бог был беловолосым стариком в халате — чем-то похожим на то, каким впоследствии стал мой отец. Этот старик восседал над миром и делал на листах бумаги пометки красным карандашом. Потом мне пред-

ставлялось мое жалкое смертное тело. Казалось невозможным, что Бога будет волновать то, что я сделаю со своей ничтожной жизнью; однако, думала я, возможно, я особенная и Он уготовил мне совершить добрые дела. Я проколола палец английской булавкой и стала сосать кровь. Я решила, что буду просто притворяться, будто верю в Бога, потому что это, похоже, ничуть не хуже настоящей веры, которой у меня не было. «Молись так, как будто веришь!» — кричал мой отец, когда наставала моя очередь читать благодарственную молитву после еды. Я зла на своего отца не столько за его идиотский морализм, сколько за то, как он относился ко мне. Он никогда не защищал меня. Он никогда не гордился мной. Он никогда не хвалил меня. Он просто не любил меня. Он любил джин и свою извращенную борьбу со «шпаной», с воображаемыми врагами, с призраками. «Дьявольское отродье», — шипел отец, размахивая револьвером.

Подъехав в то воскресенье к иксвиллской библиотеке, я припарковалась и протопала по снежной грязи ко входу, но высокая красная дверь была заперта. Это была маленькая библиотека, размещавшаяся в старом городском молитвенном доме, и единственная библиоте-

карша — миссис Бруэлл, я все еще помню ее имя — работала по своему личному расписанию. Я посещала библиотеку достаточно часто, чтобы распознавать все книги по одному только виду корешков и запомнить порядок их расположения на полках. В некоторых книгах я запоминала даже пятна на страницах — тут брызги соуса от спагетти, там раздавленный муравей, там размазанный жучок. Помню, в то утро в дуновении ветра я учуяла что-то обнадеживающее, похожее на дыхание весны, хотя был только конец декабря. Пить спиртное мне нравилось — в частности, потому, что в определенные моменты похмелья на следующий день я испытывала непривычный подъем духа и отвагу. Иногда к этому прилагался некий нерассуждающий восторг — маниакальное состояние, как это называется сейчас. К полудню эти приятные ощущения всегда перетекали в подавленность, но в то яркое воскресное утро я просунула книги в щель «ящика возврата», чтобы миссис Бруэлл впоследствии забрала их, а сама решила прокатиться в Бостон.

Если б я знала, что это будет мое последнее воскресенье в Иксвилле, я, наверное, провела бы его на чердаке, предусмотрительно пакуя чемодан или мрачно бродя по дому, который

никогда больше не увижу. Я могла бы потратить это время на то, чтобы поплакать за кухонным столом, горюя о своих юных годах, пока мой отец был в церкви. Я могла бы пинать стены, обдирать полопавшуюся краску и обои, плевать на пол. Но я выехала на шоссе. Я не знала, что скоро исчезну отсюда.

Помню, дороги были скользкими от тающего льда. Я опустила окна, чтобы не отравиться выхлопными газами. Потом натянула вязаную шапку, которую нашла пару дней назад, и позволила холодному воздуху обдувать мое лицо. Несколько раз, когда я зимой вела машину с закрытыми окнами, я едва не уснула за рулем. Кажется, один раз на обратном пути от дома Рэнди я съехала с дороги и увязла в сугробе. К счастью, моя нога соскользнула с педали газа, поэтому столкновение не было сильным. Во время той воскресной поездки я подумывала по пути из Иксвилла до Бостона остановиться возле своего бывшего колледжа, но мне не хватило отваги. Я жила в маленьком общежитии при колледже вместе с другими девушками чуть больше года. Я ходила на занятия, ела в столовой и так далее. Мне нравилось, что у нас есть кофеварка, что мне выдают личный комплект постельного белья и

что я не дома — пусть даже не так уж далеко от него. Потом, прямо в середине второго года обучения, меня выдернули из колледжа и вынудили вернуться в Иксвилл, чтобы заботиться о матери, хотя слово «заботиться» тут совершенно не к месту. Я испытывала ужас перед матерью. Она была для меня загадкой, и к тому времени я ничуть не «заботилась» о ней. Поскольку она болела, я ухаживала за ней так, как могла бы ухаживать сиделка, но в том, что я делала, не было ни малейшего тепла, ни малейшей заботливости.

Втайне я была рада, что мне пришлось бросить школу. В колледже я получала не особо хорошие оценки, и перспектива провалить обучение, за которое заплатил мой отец, не давала мне спать по ночам. У меня были плохие отношения с директором, особенно после того, как я решила «заболеть» и лежать в постели вместо того, чтобы сдавать экзамены за четверть. Конечно, по возвращении домой я винила в своем провале родителей, желала снова вернуться в школу и учиться работать на пишущей машинке, изучать историю искусства, латынь, Шекспира и какую там еще чушь можно было придумать.

Несмотря на шапку, поток стылого воздуха был таким нестерпимо колючим, что пришлось

поднять стекла. Вы представить себе не можете, как холодно может быть ехать по зимнему шоссе. Я включила радио и некоторое время гнала на полной скорости, но на подъездах к городу скопилась пробка — наверное, впереди произошла авария, — и пока я сидела там, выжидая, чтобы машины снова тронулись с места, на меня неожиданно обрушилось изнеможение. Глаза мои начали закрываться сами собой, голова стала тяжелой. Я почувствовала себя смертельно усталой. Мозг словно превратился в кашу — наверное, выхлопные газы проникли в его ткани. Полагаю, я до сих пор страдаю от последствий этого. И все же я любила свою машину. Я опустила голову на рулевое колесо — как мне казалось, не более чем на минуту, — но когда я проснулась, мимо меня на большой скорости проносились автомобили, сигналя мне. Поэтому я тронулась с места и, должно быть, пытаясь проснуться, съехала со своей полосы, потому что позади вдруг возникла полицейская машина. В зеркале заднего обзора я видела лицо копа и руку в черной перчатке, подающую мне знак остановиться. В полубреду мне показалось, что я вижу в зеркале лицо отца, который каким-то образом последовал за мной из города. Внутренне я все еще видела его поли-

цейским в форме, смеющимся, с обветренными щеками и руками, со зловещим блеском в глазах. Пока отец не ушел со службы, он никогда не носил пальто. «Нельзя прикрывать форму каким-то там пальто», — говорил он. Поэтому отец постоянно болел, из носа у него вечно текло, он всегда находился в напряжении, поднимая плечи так, чтобы те прикрывали уши, и переминался с ноги на ногу, стараясь согреться. Можете представить себе это. Конечно же, в тот момент мой отец сидел в церкви на мессе и уже много лет не носил форму. Но он постоянно мерещился мне повсюду. Даже годы спустя после того, как я покинула Иксвилл, и по сей день мне порою кажется, что я вижу его — патрулирующим парк с дубинкой в руке, выходящим из бара или кофейни или понуро сидящим на лестничных ступенях.

Я затормозила у обочины и опустила стекло в своей дверце.

— Извините, офицер, — сказала я копу. — В машине стало душно, а у меня сломан обогрев.

Помню, что полицейский был молод и узколиц, с мешками под большими голубыми глазами. Он задавал обычные вопросы и напоминал мне диктора из выпуска новостей. Я пыталась говорить, не открывая рта, боясь, что он учует пары

спиртного в моем дыхании.

— О боже мой, — продолжила я, потирая глаза. — Мне очень, очень жаль. — Я умоляюще смотрела на него. — Мой отец болен, и я всю ночь просидела у его постели. Мне сейчас ужасно трудно. — Этой выдумкой я надеялась разжалобить его до глубины души. Но когда я произносила эти слова, мое горло словно сдавили чьи-то крепкие пальцы, а на глазах выступили слезы — как будто я поверила в свой жалобный рассказ, как будто я невероятно беспокоилась за своего отца и готова была разрыдаться при мысли о том, что мне придется жить без него. Как будто я с трудом могла вести машину из-за того, что была вне себя от тревоги. Это было ужасно драматично. Я прижала ладони к лицу и откашлялась. Но полицейский, похоже, ничуть не удивился.

— Вот что я вам скажу… — произнес он. — Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось именно сейчас, когда вы так нужны своему отцу.

Патрульный отпустил меня, взяв с меня слово, что на следующем же съезде я сверну с шоссе и выпью чашку кофе. Я пообещала. Как же добр он был! Я вновь натянула на лицо свою «посмертную маску» и кивнула ему на прощание. Я всегда ненавидела копов, однако чувствовала необходи-

мость подчиняться им. Поэтому действительно на следующем же съезде свернула прочь с автострады.

Я оказалась на улице под названием Угрюм-стрит[8]. Ну конечно же, так и должно было быть. Над дорогой, между двумя столбами уличного освещения, была переброшена растяжка с рождественским поздравлением. Мимо меня пробежала женщина в ярко-красной парке; ее, словно сани, тащили за собой две немецкие овчарки. Я не любила собак. Не потому, что боялась их — я их не боялась, — а потому, что их смерть было куда труднее перенести, чем смерть людей. Собака, которая жила у нас с самого детства, скотч-терьер Мона, умерла за неделю до кончины моей матери. И я без колебаний могу сказать, что так же сильно горевала об утрате собаки, как о смерти своей матери. Полагаю, я не единственный человек на земле, кто чувствует подобное, но долгое время эти чувства казались мне постыдными. Быть может, если б я созналась в этом доктору Фраю, то могла бы узнать что-нибудь, способное принести мне облегчение, дать новую точку зрения, — но я никому в этом не призна-

[8] Примечания: 8
В оригинале — Moody street.

валась. Все равно я не доверяла тем, кто тычет пальцем в разум горюющих людей и приговаривает, как это все интересно. Моя мать была злой, а моя собака — доброй. Чтобы понимать это, не нужно оканчивать колледж.

На витрину кофейни на Угрюм-стрит были наклеены вырезанные из бумаги эльфы и изображение Санта-Клауса. Дверь обрамляли мерцающие рождественские гирлянды и ветки остролиста. Я заказала чашку горячего чая и села, все еще ощущая злость и тревогу за мою машину. Я осознала, что когда я наконец решусь пуститься в бега, это транспортное средство не будет для меня надежным «конем». Учитывая, что несколько минут назад, проехав пару миль с закрытыми окнами, я сначала замерзла, а потом едва не заснула, то в такой машине мне вряд ли удастся уехать дальше Угрюм-стрит: когда я отчалю из Иксвилла навсегда, я умру или от холода, или от отравления выхлопными газами, никуда не доехав. Так что эта небольшая воскресная вылазка стала своеобразным дорожным испытанием, генеральной репетицией. И моя машина провалила это испытание. Я была деморализована, если не сказать хуже. Мне придется ждать до весны. Но даже тогда — куда мне, в самом деле,

ехать?

Официантка стояла, поправляла завязки своего фартука и жевала резинку. Ее форменное платье было горчично-желтого цвета с белым воротничком; поверх него она носила розовую кофту, расшитую по вырезу ворота блестящим черным бисером. Выглядело это так, будто к ее шее сбегаются деловитые муравьи. Я хорошо это помню. На мне самой был черный шерстяной кардиган, весь в лохмах и катышках. Мои брюки на коленях были забрызганы кофе. Я снова натянула парку, внезапно ощутив неловкость и злость. Почему меня должно волновать, что подумает обо мне тот, кто увидит меня в старом свитере? Кто вообще будет оценивать мою одежду в этой почти пустой кофейне? Мне все равно. Пусть люди видят мою неряшливость. Пусть бросают в меня камни за немытые волосы. Я лучше, чем большинство из них. Я настолько выше их, что им впору целовать стул, на котором я сидела. Я твердила себе это снова и снова, и чтобы еще больше убедить себя в этом, заказала порцию шоколадного мороженого. Я смотрела, как официантка орудует мерной ложкой, запуская руку в морозильный агрегат и подтянув рукава розовой кофты выше своих изящных локотков. Она подала мороженое на

овальной металлической тарелке со взбитыми сливками, колотыми орехами и засахаренной вишенкой наверху. Я сунула в рот полную ложку мороженого, точно изголодавшаяся сиротка, и по моему подбородку потекла шоколадная струйка. Мне было все равно. Когда я запила мороженое горячим чаем, мои зубы заныли, а голова едва не лопнула. Не знаю, сколько виски позволил мне накануне вечером употребить отец, прежде чем осушить бутылку самому, но, должно быть, он оказался чрезвычайно щедр. Даже при своем цыплячьем весе я обычно могла справиться с изрядным количеством спиртного. Почти никогда мне не было так плохо по выходным.

Когда мороженое неохотно сползло в мой желудок, я расплатилась и вышла из кафе, испытывая невероятную жалость к себе. Ожидая зеленого сигнала светофора на перекрестке, повозила каблуком по замерзшей луже, потом изо всех сил топнула по ней краем подошвы. Лед потрескался, стал молочно-белым, но не разбился. Забавно, как избирательна наша память. Большинство воскресений я проводила, безвылазно сидя дома или совершая поездки к дому Рэнди, пока мой отец общался с Богом — или что он там, по его мнению, делал в церкви. Тетушка Рут лишь из-

редка заходила к нам, когда завозила его обратно после мессы. Но и тогда она крепко держала в руках свою сумочку, не снимала перчатки и сжимала губы так плотно, что они становились белыми. «Налей своему отцу чашку кофе» — вот самое большее, что она мне говорила. В присутствии тетушки Рут отец попросту игнорировал меня. «Найми кого-нибудь для уборки, — как-то раз сказала она ему. — Твои дочери, очевидно, заняты другими делами». Пока они это говорили, я стояла в дверном проеме, мой отец устроился в своем сломанном раскладном кресле, а тетя Рут сидела у кухонного стала, стараясь ни к чему не притрагиваться.

«Эйлин берет пример со своей матери, — ответил ей отец. — Ни на что не годна».

«Чарли, не говори плохо о мертвых».

«Не будь такой благочестивой святошей, — фыркнул он. — Эта женщина только и делала, что тратила мои деньги и дрыхла».

Это правда, моя мать любила ходить по магазинам. И спать она тоже любила, причем храпела так громко, что казалось, будто через дом едет локомотив. В детстве мне часто снились скоростные поезда, выдыхающие дым в звездную черноту ночи и мчащиеся через всю страну, прочь от

Иксвилла; гулкий перестук колес по рельсам в моих снах едва ли не будил меня.

«Твоя дочь когда-нибудь прибирается в доме? Готовит еду?» — спрашивала тетя.

«Я почти ничего не ем», — ответил отец, защищая меня.

«Боже мой».

Когда они наконец увидели, что я стою в дверях, тетя только прищелкнула языком и подергала за ручку своей сумочки.

«Вынеси мусор, Эйлин», — сказал отец, словно пытаясь сделать приятное своей сестре. Я выкинула мусор. Когда мне было плохо, я просто глотала слезы и удерживала на лице холодную каменную маску. Я была рада, что в то воскресенье отправилась в поездку. Может быть, я и не доехала до Бостона, как собиралась, но по крайней мере избежала очередного болезненного общения с тетушкой. У нее были прямые серебристо-седые волосы и испещренный веснушками лоб, и это придавало ей чопорный и болезненный вид, делая похожей на сваренное вкрутую яйцо. Я не питала к ней никаких теплых чувств.

Не могу сказать, как назывался городок, где я оказалась, но на самом деле Угрюм-стрит была праздничной и красивой. Я прогулялась мимо

квартала магазинов, сиявших витринами. Конечно, в воскресенье все они были закрыты. В те времена по воскресеньям трудно было купить даже жевательную резинку. На обратном пути к машине я шла по узкому переулку и заметила целующуюся юную парочку — «лижущуюся», как мы говорили. Я отчетливо помню эту сцену. Я увидела их как раз в тот момент, когда язык девушки скользнул в рот парня. На меня это произвело невероятное впечатление. Нежно-розовый цвет девичьего языка, то, как ясный зимний свет отражался на его влажной поверхности, контраст его цвета и текстуры с чистым, гордым, таким красивым лицом… Уже сидя в машине, я не могла отделаться от этой картины — подобной силы эротика казалась мне невозможной. Конечно, я слышала о «французских поцелуях» и видела, как стоят, прильнув губами друг к другу, парочки на смотровой площадке над океаном, но эта сцена была иной — словно в этот момент у меня открылось рентгеновское зрение. Меня потрясло то, как девушка подалась вперед, как смело, без оглядки она целовалась, и, конечно же, я подумала, что самой мне никогда не хватит отваги на нечто подобное. Парень стоял неподвижно, закрыв глаза, широко открыв рот и обняв девушку обе-

ими руками, воротник его клетчатой шерстяной куртки был поднят. Эта картина преследовала меня, превращая мою головную боль и усталость в неотступную тревогу. Сексуальное возбуждение почти всегда доводило меня до тошноты. Дома я могла бы залезть в горячую ванну и яростно тереть кожу мочалкой, но я была далеко от дома. Поэтому я открыла дверцу машины, наклонилась, зачерпнула горсть рассыпчатого снега и сунула его под пояс брюк, в свои трусики. Это было очень холодно и очень болезненно, но я оставила его там и поехала дальше. Окна я опустила. Не знаю, как я тогда не подхватила воспаление легких.

Как я часто поступала в те моменты, когда была взволнована, я направилась к дому Рэнди. По дороге я думала о его крепких руках, о его верхней губе — чувственной и мальчишески невинной одновременно, о его случайно пойманных улыбках, которые он пытался скрыть за сборником комиксов или каким-нибудь юмористическим журналом. Будет ли он скучать по мне, когда я сбегу? Возможно, будет. «А, Эйлин, — скажет он копам, которые будут расследовать мое исчезновение. — Она пропала прежде, чем я набрался смелости пригласить ее на свидание. Я опоздал и всегда буду сожалеть об этом». Меня успокаивали

мысли обо мне и о нем, о том, что мы, возможно, снова встретимся через несколько лет, когда я стану настоящей женщиной, из тех, что нравятся ему — что бы это ни означало, — и тогда мы обнимем друг друга и заплачем от горечи нашей потерянной любви и нашей разлуки. «Я был так слеп», — скажет Рэнди, целуя мои пальцы, и слезы будут струиться вдоль его прекрасных скул. Я любила плачущих мужчин — эта слабость позже втянула меня в бесчисленные романы с нытиками и депрессивными типами. Я подозревала, что Рэнди редко плакал, но что это было зрелище редкой красоты. Действительно ли я поехала в тот вечер к его дому, сидя на водительском сиденье, мокром от тающего снега? Конечно, поехала. Не могу сказать, чего именно я ожидала, хотя я всегда надеялась, что он выйдет и признается в любви, спасет меня, сбежит вместе со мной, решит все мои проблемы. Сидя в машине перед его домом, я внезапно ощутила тошноту и, распахнув дверцу машины, начала блевать. Серое растаявшее мороженое кануло в сугроб и исчезло.

Едва доехав в тот вечер до дома, я взбежала по лестнице в комнату матери и содрала с себя холодные мокрые брюки и трусы. Отец, сидевший в туалете по другую сторону тускло освещенного

коридора, распахнул дверь санузла и спросил:

— Ты где была?

Я натянула старые шерстяные колготки, пошарила в шкафу и нашла бутылку джина, которую припрятала там несколько дней назад. Потом пошла и отдала ее отцу. Он взял бутылку и свободной рукой скрутил пробку. Когда с его колен соскользнула газета, я мельком заметила темную полоску паховых волос над его бедрами. Это ужаснуло меня. А еще я увидела его револьвер, лежащий на краю раковины. Время от времени я размышляла об этом револьвере. В самые темные моменты я представляла, как тихонько извлекаю оружие из-под подушки спящего отца и нажимаю на спуск. Я бы приставила дуло к своему затылку, чтобы, когда я рухну на тело отца, моя кровь и мои мозги расплескались по всей его дряблой холодной груди. Но, честно говоря, даже в эти темные мгновения мысль о том, что кто-то в морге будет рассматривать мое нагое тело, останавливала меня — настолько я стыдилась своего тела. Меня также угнетало то, что моя смерть не произведет особого эффекта, что я могу разнести себе череп выстрелом из револьвера, а люди просто скажут: «Всё в порядке. Пойдемте съедим что-нибудь».

В ту ночь я лежала на своей раскладушке и

ощупывала свой живот затянутыми в перчатку пальцами, пересчитывая ребра. На чердаке было холодно, раскладушка была хлипкой. Она едва выдерживала мой вес: сотня фунтов вместе с одеждой, если не меньше. Когда я укрывалась слишком большим количеством одеял, сочленения раскладушки разбалтывались, с каждым моим вздохом рама раскачивалась, словно лодка на прибрежных волнах, и я не могла уснуть. Я могла бы найти гаечный ключ, чтобы затянуть гайки и болты, или что там в ней было, но точно так же, как в случае со сломанной выхлопной системой машины, не могла заставить себя сделать хоть что-то, чтобы починить неисправную вещь. Я предпочитала погрязать в проблемах и мечтать о лучших временах. Чердак навевал мне мысли о том, что здесь во время своих визитов жил бы мой дядя, если б он у меня был. Добрый дядя, быть может военный, умеющий и любящий чинить старые вещи и делать новые… Он никогда не жаловался бы на холод и жажду, съедал бы самый худший ломоть говядины или курятины с жиром и хрящами, даже не задумавшись об этом. Я представляла, что мочки ушей у него длинные и мягкие, а плечи узкие, но все тело мускулистое, глаза большие. Быть может, фантазировала я,

этот добрый дядюшка и есть мой настоящий отец. Иногда я обыскивала шкафы своей матери в поисках свидетельства супружеской измены. Найденные пятна от пищи, кофейные потеки на хлопчатобумажной блузке или помада, размазанная по пожелтевшему воротничку, — это совсем не то, что глас из могилы, но, полагаю, я надеялась найти что-то полезное. Намек, приветствие, доказательство того, что она любила меня, что угодно… Не знаю. Не знаю, почему я носила ее вещи даже годы спустя после ее смерти. Я позволяла отцу думать, будто это некое нежелание расставаться с памятью об умершей: старое платье — как знак верности, сохранение частицы духа моей матери и прочая ерунда. Но, по-моему, на самом деле я надевала ее одежду затем, чтобы замаскироваться, словно если я буду ходить в таком наряде, никто по-настоящему не увидит меня.

Помню, как я сидела на раскладушке под электрической лампой без абажура и обводила взглядом чердак. Это была очаровательно жалкая картина. Ящики от комода, набитые постельным бельем, принадлежавшим еще матери моей матери и давным-давно поеденным молью. Коробки со старыми книгами и бумагами, древний грам-

мофон и несколько стопок пластинок, которые я никогда даже не пыталась поставить играть. Покатый потолок вынуждал меня сначала пригибаться, а потом ползти, чтобы выглянуть в окно, выходящее на задний двор — хотя там не было ничего, кроме белого снега и нескольких голых черных деревьев, озаренных тусклым фиолетовым светом, который сочился с вечернего неба. Где-то там была похоронена Мона, моя умершая собака. Я вспоминала о своей матери: как она лежала в постели, зарывшись руками в складки плохо сотканного шерстяного покрывала, и во весь голос жаловалась моему отцу, что если в этом мире и существует Бог, Он — жестокий ублюдок. «Я уже должна была умереть», — повторяла она. Я покорно, день за днем, варила на плите куриный бульон и приносила ей в зеленой салатнице, достаточно широкой, чтобы уловить все брызги, когда я старалась накормить больную — ложечку, еще ложечку, — а она, сопротивляясь, слабо и беспорядочно отмахивалась.

Однажды я вышла на задний двор, чтобы развесить выстиранное белье, и в нестриженой траве нашла свою собаку — она лежала, вытянувшись брюхом вверх, мертвая и высохшая под палящим солнцем. «Быть может, Бог забрал не ту душу», —

подумала я в минуту сентиментальной слабости и тихо заплакала, прислонившись спиной к стене дома. Я оставила мокрое белье лежать в корзине, но прикрыла тело Моны мокрой наволочкой. Мне понадобился целый день, чтобы собраться с храбростью и вернуться туда. К тому времени белье высохло и слежалось, а когда я подняла наволочку, то при виде трупа задохнулась и извергла на пыльную почву содержимое своего желудка — курятину и вермут. Несколько часов я трудилась, чтобы вырыть достаточно глубокую могилу, потом ногами спихнула туда тело Моны — я не могла заставить себя коснуться его руками, — и засыпала сухой комковатой землей. Пару дней спустя, споткнувшись о собачью миску с прокисшей, завонявшейся кашей, отец сказал только: «Чертова псина», — и поэтому я выкинула кашу вместе с миской и никому ничего не сказала. Несколько дней спустя моя мать умерла, и я наконец смогла открыто проливать слезы. Это романтическая история и, быть может, не совсем точная, потому что я возвращалась к ней снова и снова в течение долгих лет, когда у меня возникала необходимость или желание поплакать.

В тот вечер, глядя в окно на заметенный снегом двор, я опять оплакивала свою собаку, жалея о

том, что ей придется до конца вечности оставаться в Иксвилле. Я подумывала о том, чтобы выкопать ее кости и забрать с собой. Я действительно собиралась надеть свои лыжные штаны, толстый шерстяной свитер, боты, варежки, плотную вязаную шапку и пойти на задний двор с лопатой. Я никак не отметила ее могилу, но у меня было чувство, что Мона воззовет ко мне, что я интуитивно пойму, где нужно копать. Конечно, я даже не попыталась это сделать. Мне понадобилась бы кирка, какой пользуются могильщики на кладбищах. Представляете, какую работу нужно проделать, чтобы похоронить взрослого человека, если у вас нет экскаватора или другой машины для рытья могилы? Это не так легко, как иногда показывают в кино. Я гадала, как же хоронили людей зимой в прежние времена. Быть может, просто оставляли лежать тела на морозе до весны? Если так, то их, должно быть, хранили где-то в надежном месте, вероятно в подвале, где они лежали в темноте, тишине и холоде, пока земля не начинала оттаивать.

Понедельник

Мне запомнился душ, который я приняла в то утро, — потому что горячая вода иссякла, пока я таращилась в зеркало, изучая свое нагое тело сквозь клубы пара. Сейчас я старуха. Время, как оно делает это со всеми, испещрило мое лицо морщинами и обвисшими складками, заложило под глазами выпирающие мешки, а мое дряхлое тело сделалось почти бесполым, дряблым, морщинистым и бесформенным. Так что, просто для смеха, я представляю на ваше рассмотрение свое тощее девственное тело двадцати четырех лет от роду. Плечи у меня были узкими, покатыми, с выпирающими костями. Кожа на груди была туго натянута, словно на барабане, сделанном из ребер, и я колотила в нее кулаком, подобно горилле. Груди у меня были твердые, величиной с лимон, а соски острые, точно шипы. Но я была настолько костлява, что мои тазовые кости уродливо выпирали и были часто покрыты синяками от случайных ударов о разные поверхности. Живот все еще судорожно сжимался из-за съеденных накануне яиц и мороженого. Вялость

моего кишечника была постоянной проблемой. Питание и опорожнение были сложной наукой о равновесии между нарастающей интенсивностью дискомфорта от запоров и очистительным поносом, вызванным слабительными. Я плохо заботилась о себе. Я знала, что мне следует пить чистую воду, есть здоровую пищу, но на самом деле не любила этого делать. С моей точки зрения, фрукты и овощи были чем-то несъедобным, словно мыло или свечи. К тому же я страдала от прискорбной неприспособленности к половой зрелости — к двадцати четырем годам так же, как и до того, — и эта неприспособленность заставляла меня стыдиться своей женственности. Были дни, когда я ела очень мало — горстку орехов или изюма тут, корочку хлеба там. А для забавы — как это было с шоколадками пару дней назад, — иногда жевала и тут же выплевывала конфеты или печенье: то, что было приятно на вкус, но могло нарастить хоть немного плоти на мои кости, чего я отчаянно боялась.

Тогда, в двадцать четыре года, меня уже считали старой девой. К тому времени в моей жизни был только один поцелуй с парнем. Когда мне было шестнадцать лет, выпускник Питер Вудмен пригласил меня на бал старшеклассников. Не

буду слишком много говорить об этом — не хочу, чтобы вы решили, будто я храню это воспоминание с какой-то романтической ностальгией. Если я и научилась что-то презирать в жизни, так это ностальгию. И в любом случае моим романтическим интересом — если это можно так назвать — к двадцати четырем годам был Рэнди. А Питер Вудмен не шел с ним ни в какое сравнение. Однако мое бальное платье было очень красивым — из темно-синей тафты. Я любила темно-синий цвет. Вещи этого цвета напоминали мне форму, мне казалось, что они одновременно подтверждают мое существование и маскируют мое истинное «я». Бóльшую часть времени мы просидели за столом в полутемном спортзале, и Питер разговаривал со своими друзьями. Его отец работал в полицейском участке, и я уверена, что Питер пригласил меня на бал, чтобы отплатить услугой за услугу, которую мой отец оказал его отцу. Мы не танцевали, но мне было все равно. Вечер закончился в пикапе Вудмена-старшего на стоянке возле старшей школы, где я укусила Питера за горло, чтобы не дать ему запустить руку еще дальше под мое платье. По сути, его ладонь, кажется, едва добралась до моего колена, настолько сдержанной я была. А поцелуй был лишь

поверхностным — мгновенное прикосновение губ, которое сейчас кажется мне очень милым. Не могу вспомнить, как я добралась домой в тот вечер, после того как выскочила из пикапа, а Питер обругал меня, потирая шею, и уехал прочь. Укусила ли я его до крови? Не знаю. И кому сейчас есть до этого дело? Сейчас он, должно быть, уже умер. Большинство тех, кого я знала, умерли.

Тем утром понедельника в Иксвилле я натянула новые синие колготки, облачилась в одежду матери, снова заперла ботинки отца в багажнике «Доджа» и поехала на работу в «Мурхед». Помню, я продумывала новую стратегию своего побега. Скоро, в один прекрасный день, когда буду здорова и готова, я натяну на себя все вещи, которые решу взять с собой — серое пальто, несколько пар шерстяных носков, боты, варежки, перчатки, шапку, шарф, брюки, юбку, платье и так далее, — и отправлюсь примерно за три часа езды на северо-запад, в другой штат. В Вермонт. Я знала, что смогу пережить один час в машине с закрытыми окнами и не потерять сознание, а вся перечисленная гора одежды спасет меня от холода, когда я поеду дальше, опустив стекла. Нью-Йорк не так далеко от Иксвилла. Если точнее — в двухстах пятидесяти семи милях на юг. Но

сначала я направлю погоню по ложному следу, бросив «Додж» в Ратленде, о котором читала в книге про железные дороги. В Ратленде я найду какую-нибудь заброшенную автостоянку или тупиковую улицу, а потом дойду пешком до железнодорожного вокзала и отправлюсь на поезде в большой город, чтобы начать новую жизнь. Я считала себя ужасно умной. Я планировала взять с собой пустой чемодан, чтобы сложить в него лишние вещи, которые я сниму, когда сяду в поезд. У меня будут одежда, деньги, которые я хранила на чердаке, и больше ничего.

Но, может быть, мне понадобится что-то почитать во время поездки в будущее, подумала я. Я могу взять несколько хороших книг в Иксвиллской библиотеке, а потом исчезнуть, так и не сдав их. Эта идея показалась мне блестящей. Во-первых, я могу сохранить эти книги как памятные сувениры: так убийца срезает прядь волос с головы жертвы или забирает у нее какой-нибудь мелкий предмет — ручку, гребень, четки — в качестве трофея. Во-вторых, я могу дать отличный повод для беспокойства моему отцу и всем прочим, кто, возможно, будет гадать, собираюсь ли я когда-либо вернуться и какие обстоятельства вынудили меня уехать. Я воображала, как

детективы лазают по дому, всюду суя свои носы. «Ничего необычного не найдено, мистер Данлоп. Возможно, она просто гостит у подруги». «О нет, только не Эйлин. У Эйлин нет подруг, — ответит мой отец. — Что-то случилось. Она ни за что не бросила бы меня одного просто так».

Я надеялась, что они сочтут, будто я лежу мертвая где-нибудь в кювете, или похищена, или погребена под лавиной, или съедена медведем — что угодно. Для меня было важно, чтобы никто не знал, что я планирую исчезнуть. Если мой отец додумается, что я сбежала, он будет смеяться надо мной. Я могла представить, как он выпячивал бы грудь, обсуждая мою глупость с тетей Рут. Они называли бы меня избалованной девчонкой, идиоткой, неблагодарной тварью. Быть может, они действительно высказали все это после того, как я и в самом деле покинула Иксвилл. Мне никогда этого не узнать. Я хотела, чтобы мой отец в отчаянии рыдал над судьбой своей несчастной потерянной дочери, падал на колени перед моей раскладушкой, утыкался лицом в мои грязные одеяла — для того, чтобы вспомнить чудесный запах моего пота. Я хотела, чтобы он перебирал мои вещи, словно рассматривая выбеленные временем кости, касался безмолвных напоминаний

о жизни, которую он не ценил. Если б у меня была музыкальная шкатулка, я желала бы, чтобы музыка, которую она играла, разбила сердце моего отца. Я желала бы, чтобы он умирал от скорби, потеряв меня. Я хотела, чтобы он говорил: «Я любил ее. Я был не прав, что так с ней обращался». Вот о чем я думала в то утро по пути на работу.

В тот момент я еще не знала, что к рождественскому утру уже исчезну, и хотя с тех пор моя память стала тусклой и размытой, я сделаю все возможное, чтобы передать события моих последних дней в Иксвилле. Я попытаюсь нарисовать полную картину. Некоторые из моих самых отчетливых воспоминаний могут быть неточными или попросту ложными, но я включу их в повествование, если решу добавить красок. Например, в то утро, когда я приехала в «Мурхед», мальчикам раздавали особые праздничные свитеры, связанные группой «добровольниц» из местной церкви. Поскольку, полагаю, свитеров оказалось с избытком, один из них, завернутый в бурую бумагу, оказался на моем столе. Миссис Стивенс сказала мне, что это рождественский подарок от начальника. Я разорвала обертку и нашла темно-синюю, отлично связанную безрукавку с крестом на груди. На квадратике вощеной бумаги,

пришпиленном к вороту английской булавкой, была неверным почерком выведена буква S, означавшая *small* — маленький размер. То, что безрукавка оказалась именно этого оттенка синего, заставило меня задуматься: быть может, начальник действительно хорошо относится ко мне? В конце концов, он мог бы не дарить мне на праздник ничего, даже коробки шоколадных конфет. Ему незачем было привлекать внимание офисных дам, вызывать злобные подозрения в наличии у начальства «любимчиков» и сплетни о служебных романах. Я представила себе, как обнимаю начальника в его кабинете, повиснув на нем, словно тряпичная кукла. Этого ли я хотела? Мои мысли были похожи на непристойные фильмы, прокручивавшиеся у меня в мозгу, и в то утро, помню, эти мысли приходили ко мне. А еще я помню глухой стук двери шкафчика, куда я заперла подаренную безрукавку. Однако я не могу вспомнить расположение помещений в рекреационном крыле «Мурхеда». Не помню, проходило ли рождественское представление, как это называли, в спортивном зале, в часовне или в маленьком актовом зале. Я вообще не уверена, что в тюрьме был актовый зал — быть может, я помню его по временам своей учебы в колледже.

Но вот что я помню очень хорошо: около двух часов дня начальник пришел в наш кабинет в сопровождении высокой рыжеволосой женщины и худого лысого мужчины в костюме бурого цвета. При первом взгляде на женщину я подумала, что она, возможно, прибыла, чтобы выступить во время праздничного концерта: актриса или певица, желающая проявить милость к малолетним преступникам. Мое предположение казалось вполне разумным. В конце концов, знаменитые деятели искусств выступают перед военными, почему бы им не сделать то же самое для юных заключенных? Парни-подростки — не такая уж недостойная аудитория. Большинство из них — в частности, те, кто отбывал более короткие сроки, — в любом случае отправлялись воевать во Вьетнам, я в этом уверена. Как бы то ни было, эта женщина была красива и казалась мне смутно знакомой — как кажутся знакомыми все красивые люди. Так что за тридцать секунд я решила, что она, должно быть, дурочка с мозгом, похожим на облачко пудры, никогда не видевшая ничего плохого в жизни и лишенная малейших намеков на богатство внутреннего мира. Подобно Дорис Дэй, эта женщина, как мне казалось, жила в очаровательном мирке мягких подушек и золотого

солнечного света. Так что я, конечно же, возненавидела ее. Я никогда прежде не встречалась лицом к лицу с кем-то настолько прекрасным.

Мужчина меня ничуть не заинтересовал. Он сопел, вытирал одной рукой свою лысину, через другую руку у него были переброшены два пальто — его собственное и рыжеволосой, предположила я. Я не могла отвести глаз от женщины. В моей памяти сохранилась смутная картина того, как она была одета в тот день — в странные оттенки розового, что не было старомодно само по себе, но уж точно не модно в те времена и определенно не в Иксвилле. На ней была длинная пышная юбка, вязаная кофта, задрапированная вокруг ее стройной фигуры, и шляпка с узкими полями, как мне кажется сейчас, похожая на шлем для верховой езды, только серая и мягкая, возможно, фетровая; с одной стороны ее украшало переливчатое перо. Быть может, я придумала эту шляпку. На шее у женщины было длинное ожерелье с золотой подвеской — это я знаю точно. На ногах у нее были ботинки, похожие на те, которые носят конники, только меньше и с изящным каблучком. Ноги у нее были очень длинные, а тонкие руки она сложила на узкой груди. Я удивилась, увидев зажатую в ее пальцах сигарету. Конечно,

тогда многие женщины курили, даже больше, чем сейчас, но казалось странным, что она может курить, находясь здесь, в тюремном офисе, как будто пришла на коктейльную вечеринку или была здесь полной хозяйкой. И то, как она курила, взволновало меня. Когда курили другие, это выглядело убого и дешево. Когда же эта женщина затягивалась, ее лицо подрагивало, а ресницы трепетали в едва заметном экстазе, как если б она вкушала тончайший десерт или погружалась в теплую ванну. Казалось, она пребывает в состоянии некоего зачарованного, идеального счастья. Поэтому я сочла ее извращенкой. Тогда мы не использовали слово «показушница». «Предосудительная личность» здесь подходило больше.

— Слушайте внимательно, — произнес начальник. У него было широкое, красное, изрытое оспинами лицо с крупным носом и маленькими непроницаемыми глазами, но он всегда был так аккуратен, чисто выбрит и подтянут, что мне казался даже красивым. — Я представляю вам нашего нового психиатра, доктора Брэдли Морриса. Он устроился к нам с отличными рекомендациями от доктора Фрая, и я уверен, что доктор Моррис поможет нам поддерживать дисциплину среди мальчиков и наставить их на

путь исправления. А это мисс Ребекка Сент-Джон, наш первый начальник отдела образования, должность, коя учреждена благодаря щедрости Дяди Сэма. Я уверен, что она отлично подходит для этой должности. Как я понимаю, она только что получила диплом Рэдклиффа…

— Гарварда, — поправила Ребекка Сент-Джон, слегка повернувшись к нему, стряхнула пепел со своей сигареты на пол и выпустила дым в потолок. Мне показалось, она ухмыльнулась. Это было воистину необычно.

— Гарварда, — продолжил начальник — как мне почудилось, с почтением. — Я знаю, что все вы примете ваших новых коллег с должным уважением и профессионализмом и, надеюсь, за первые несколько дней сможете ввести мисс Сент-Джон в курс дела, дабы она освоилась с нашими порядками.

Он взмахнул рукой в сторону офисных дам, включая меня. Это казалось очень странным: такая молодая, привлекательная женщина возникает словно бы ниоткуда, и ради чего? Обучение юных заключенных письму и арифметике — такая цель казалась мне нелепой. Мальчишкам в «Мурхеде» было тяжко просто ходить, сидеть, есть и дышать без того, чтобы не поддаться жела-

нию разбить голову о стену. Фактически доктор Моррис здесь был куда нужнее: по крайней мере он давал им лекарства, с которыми они могли вести себя почти нормально. Чему они могли научиться в таком состоянии? Начальник забрал у доктора Морриса пальто мисс Сент-Джон, протянул мне и вроде бы улыбнулся. Я никак не могла определить его отношение ко мне, даже несмотря на подаренную безрукавку. Полагаю, его «посмертная маска» была прочнее бетона. В любом случае моей задачей было показать новенькой ее шкафчик. Поэтому она последовала за мной в раздевалку.

Насколько я могла судить, в тот день лицо Ребекки Сент-Джон было не накрашено, и все-таки оно выглядело безупречным, свежим, прекрасным от природы. Волосы у нее были длинными и густыми, медного цвета, жесткими — и, радостно отметила я, расчесывать их было явно нелегко. Кожа ее была чуть золотистого оттенка, а лицо — округлым и выразительным, с высокими скулами, маленьким ртом, похожим на бутон розы, тонкими бровями и неожиданно светлыми ресницами. Глаза у нее имели странный оттенок синего цвета. В этом оттенке было что-то искусственное. Он был похож на воду в плавательном

бассейне из рекламы тропических курортов. Цвета зубной пасты, бальзама для полости рта, жидкости для мытья унитазов. Мои собственные глаза, как я считала, цветом напоминали воду мелкого озера — зеленого, мутного, полного ила и песка. Нет нужды говорить, что в присутствии столь прекрасной женщины я чувствовала себя ужасной уродиной и абсолютным ничтожеством. Быть может, мне следовало прислушаться к своей неприязни и держаться от нее подальше, но я ничего не могла поделать. Я хотела подойти к ней ближе, внимательно рассмотреть ее черты, то, как она дышит, каким становится ее лицо, когда она о чем-нибудь глубоко задумывается. Я надеялась заметить недостатки в ее внешности или по крайней мере найти изъяны в ее характере, которые нивелируют то приятное впечатление, которое она производила с виду. Видите, насколько глупа я была? Я записала шифр от ее шкафчика на листке бумаги, и, передавая его, вдохнула ее запах. От нее пахло, как от коробки с детской присыпкой. Колец на руках у нее не было. Я задумалась о том, есть ли у нее парень.

— Давайте вы сейчас постоите здесь и посмотрите, смогу ли я справиться с этим замком, — сказала Ребекка.

У нее был надменный, практически идеальный выговор, вроде того, который можно услышать в фильмах, действие которых происходит во Франции или в роскошных отелях Манхэттена. Континентальный акцент? В реальной жизни я никогда не слышала, чтобы кто-то так говорил. В таком месте, как «Мурхед», это казалось абсурдным. Вообразите благовоспитанный тон британской аристократки, вежливо отдающей приказ своей горничной. Я стояла, прислонившись спиной к одному из шкафчиков в ряду, пока она вращала колесико цифрового замка.

— Тридцать два, двадцать четыре, тридцать четыре, — вслух проговаривала Ребекка. — Как занятно, практически мои параметры в дюймах[9].

Она рассмеялась и с лязгом открыла дверцу шкафчика, потянув ее на себя. Мои собственные параметры были еще меньше. Мы обе замерли, а потом, как будто были идеально синхронизированными отражениями друг друга, посмотрели каждая на собственную грудь, потом — на грудь другой. Затем Ребекка сказала:

— Я предпочитаю иметь грудь такого вида, а

---

[9] Примечания: 9
В сантиметрах — 81–61–86 см.

вы? Женщины с большими бюстами часто ужасно застенчивы. А если нет, то они думают, что их фигура — самое важное в жизни. Смехотворно.

Я подумала о Джоани, о ее бросающейся в глаза фигуре, привлекавшей все взгляды. Должно быть, я изменилась в лице или покраснела, потому что Ребекка добавила:

— О, я вас смутила?

Ее откровенность показалась мне неподдельной. Мы обменялись улыбками.

— Бюст, — продолжила она, пожимая плечами и глядя на свои маленькие груди. — Кому до него есть дело? — Она рассмеялась, подмигнула мне, потом повернулась к своему шкафчику и снова принялась вертеть колесико замка.

Быть может, только молодые женщины с такой же непостоянной и трагической натурой, как моя, поймут, что особенного было в этом моем обмене репликами с Ребеккой — настолько, чтобы это могло объединить двух людей в некоем подобии заговора. После стольких лет скрытности и стыда, в этот единственный момент рядом с нею, вся моя горечь утихла, я получила законное подтверждение того, что имею право на существование — даже с таким телом. На меня снизошло такое ощущение общности и благоговения, что можно

было подумать, будто у меня никогда не было подруг. У меня их на самом деле не было. Все, что у меня было, — это Сьюзи, или Элис, или Мэрибел, выдумки, воображаемые девушки, имена которых я использовала, чтобы лгать отцу о причинах своих отлучек; мои собственные темные призраки.

— Конечно, я не смущена, — ответила я ей. Чтобы заявить это, потребовалось больше храбрости, чем я проявляла годами, потому что для этого нужно было на миг снять мою ледяную маску. — Я совершенно с вами согласна.

Как там говорится в старой поговорке? Друг — это тот, кто поможет тебе прятать тело; в этом и заключалась самая сущность этих новых отношений. Я сразу же это почувствовала. Моя жизнь готова была перемениться. В лице этого странного существа я встретила свою пару, свою родственную душу, свою союзницу. Уже в тот момент мне захотелось протянуть руку, разрезав ее до крови, и заключить кровный союз — настолько впечатлительной и одинокой я была. Однако я стояла, держа руки в карманах. В этот момент между нами протянулись темные узы, которые отныне протянутся через всю мою историю, рассказанную здесь.

— Что ж, хорошо, — сказала Ребекка. — Нам и так есть чем заняться, вместо того чтобы беспокоиться о своей фигуре. Хотя подобное мнение не очень популярно, как вам кажется? — Она подняла брови, глядя на меня.

Ребекка была действительно невероятно красива, так красива, что мне пришлось отвести взгляд. Я отчаянно хотела произвести на нее впечатление, получить с ее стороны некий неоспоримый знак того, что она разделяет мои чувства — что она такая же, как и я.

— Мне все равно, что популярно, а что нет, — солгала я. Я никогда прежде не была такой храброй. О, я стала настоящей бунтовщицей.

— О, вот как? — переспросила Ребекка и скрестила руки на груди. — Редко встретишь молодую женщину, наделенную таким здравым смыслом. Вы прямо Кэтрин Хепбёрн[10].

Если б такое сравнение высказал кто-то другой, оно прозвучало бы как насмешка. Но я не обиделась — лишь покраснела и рассмеялась. Ребекка засмеялась тоже, потом покачала головой.

---

[10] Примечания: 10

Кэтрин Хотон Хепбёрн (1907–2003) — американская актриса, выдвигавшаяся на премию «Оскар» двенадцать раз и удостоенная этой премии четырежды — больше, чем любой другой актер или актриса в истории.

— Я шучу, — промолвила она. — Я тоже такая. Мне плевать, что думают люди. Однако неплохо, если они о тебе хорошего мнения. В этом есть свои преимущества.

Мы смотрели друг на друга и улыбались, саркастически кивая и широко раскрыв глаза. Было ли это всерьез? Вряд ли это имеет значение. Все мое потаенное ничтожество в тот момент как будто было конвертировано в твердую валюту. Сейчас я уверена, что Ребекка видела мою браваду насквозь, но тогда я этого не знала. Я думала, что я совершенно непроницаема.

— До свидания, — сказала я, решив, что не следует быть слишком назойливой. Мы помахали друг другу руками, и Ребекка выпорхнула через кабинет в коридор, словно какая-нибудь экзотическая птица или цветок, совершенно неуместная в тусклом свете люминесцентных ламп. Я механической походкой, нога за ногу, вернулась к своему столу, стиснув ладони за спиной и насвистывая что-то неразборчивое. Мой мир полностью преобразился.

Тот день я провела, подготавливая фразы и ответы для разговоров с Ребеккой. Я была ужасно озабочена тем, чтобы произвести на нее хорошее впечатление, дабы она поняла, что я не провин-

циальная дурочка, какой я боялась выглядеть. Конечно же, она знала, что я провинциальная дурочка — я таковой и была, — но тогда я считала, что обманула ее своими радикальными высказываниями, нашим общим отвращением к большим бюстам, холодной мудростью моего взгляда, да и в целом своим поведением. Я совершенно не была склонна к радикализму. Я была просто несчастна. Так что я сидела за своим столом и упражнялась в совершенствовании «посмертной маски» — лицо абсолютно безразличное, ни одна мышца не дрогнет, взгляд пустой и спокойный, брови чуть-чуть сдвинуты. У меня было детское представление о том, что в разговоре с подругой лучше держать свое мнение при себе, пока она первой не выскажет точку зрения на что-либо. Сейчас это, кажется, называется выжидательной позицией. Таково странное поведение неуверенного в себе человека. Он чувствует себя более комфортно, постоянно отказываясь от любой инициативы, вместо того чтобы высказать какое-нибудь мнение или идею, рискуя, что его осудят и отвергнут. Я считала, что мне следует держать язык за зубами и казаться как можно более равнодушной, пока Ребекка, так сказать, не огласит правила нашей игры. Так что если б сейчас она

спросила меня, нравится ли мне моя работа, я пожала бы плечами и ответила: «За нее платят». Если б она спросила меня о моем прошлом, я ответила бы: «В нем нет ничего достойного упоминания». Однако я намекнула бы на смерть матери, как если б это было событие, окутанное тайной, словно она погибла от рук бандитов на озаренном луной причале, точно в кино. Или как будто я сама убила мать — задушила подушкой и ни одной живой душе не обмолвилась до сего часа. Я заготовила множество наживленных крючков, чтобы подцепить Ребекку хотя бы на один из них. Если б она захотела узнать о моих интересах, моих увлечениях, я сказала бы, что читаю книги, а если б она спросила, какие именно, я ответила бы, что это слишком личное. Я заявила бы, что для меня читать — все равно что заниматься любовью, а я не из тех, кто трезвонит о каждом поцелуе. Я думала, что очень хитра. Я полагала, что Ребекка, будучи учительницей или чем-то вроде того, оценит мою высокую начитанность. Конечно, я не смогла бы по-настоящему обсуждать литературу. Для меня проще было бы беседовать о том, что действительно имело некое значение в моей жизни. «Пьешь ли ты джин?» — например. Если б она спросила, почему я этим

интересуюсь, я пожала бы плечами и сказала: «Есть некая разница между людьми, которые любят джин, и людьми, которые его не любят». И в зависимости от ее ответа я охарактеризовала бы любителей джина как идиотов, или как глубоких страдальцев, или как героев. Я обдумывала все это, однако знала, что мне никогда не хватит смелости быть столь навязчивой. Ребекка, несмотря на предыдущий разговор, очень пугала меня.

— Эй, Эйлин, пора сортировать почту, — напомнила миссис Мюррей, похрустывая пальцами и посасывая конфету. Я приступила к работе, ощущая трепет в животе. Часы на стене тикали.

В тот день, по пути на рождественское представление — которое, как я все-таки припоминаю, проходило в часовне, — я завернула в женский туалет, чтобы взглянуть на свое лицо в зеркале и поправить помаду. У меня была привычка вытирать лицо рукавом свитера, чтобы убрать жир, впитавшийся в пудру. Вдоль линии роста моих волос постоянно красовался ряд прыщиков, даже после того, как в подростковые годы мне удалось подавить куда более свирепые атаки акне. Кожа у меня всегда была проблемной. Даже сейчас у меня процветает хронический дерматоз, а к третьему десятку я обзавелась «водочными угрями»,

хотя водку никогда не пила. Быть может, эти угри — мой крест, некое тяжкое наказание свыше. Но мне нравится, как я выгляжу сейчас. Однако тогда я ненавидела свое лицо — о, я просто страдала от его вида. Я пригладила волосы, убирая их назад, и нанесла на губы толстый слой «неисправимо-красной» помады, потом промокнула их бумажным полотенцем и осмотрела свои зубы. Они были маленькими, словно детскими, и по контрасту с цветом моей помады казались желтыми. Я редко улыбалась настолько искренне, чтобы забыть о том, что нужно держать губы сомкнутыми и никому не показывать зубы. Я уже упоминала о том, что моя верхняя губа была склонна задираться до самых десен. Мне ничто не давалось легко. Ничто.

Воспользовавшись унитазом, я обнаружила, что, к моему величайшему отвращению, ко мне явились ежемесячные «красные гости». В ретроспективе можно вообще счесть чудом, что у меня были менструации, учитывая мои истрепанные нервы и плохое питание. Не то чтобы я когда-то использовала свою сомнительную плодовитость по назначению. Один раз, несколько лет спустя, вроде бы что-то получилось, но закончилось прежде, чем развилось во что-либо, о чем мож-

но сообщить родным. Был и еще один раз, но я избавилась от этого. Не могу сказать, будто не сожалею, что у меня никогда не было детей, однако что проку в сожалениях? В тот день в «Мурхеде», вместо того чтобы сходить к своему шкафчику за прокладками, я просто отмотала от рулона длинный кусок туалетной бумаги, сложила его и сунула в трусы. Это была жесткая шершавая бумага того же цвета, что и пакеты в бакалейном магазине. Я помню это, потому что испытывала страшную неловкость, идя по коридорам. Неожиданно я вспомнила — как я вообще могла об этом забыть? — что мальчишки, Рэнди и даже Джеймс могли увидеть меня и посмотреть прямо на мой зад, когда я проходила мимо них. Могу добавить, что после посещения туалета я не вымыла руки.

Несмотря на суровое убожество «Мурхеда», в тот день тюрьма запомнилась мне скорее похожей на детский сад. Коридоры были декорированы к празднику усилиями добровольцев из церкви, которые приходили, чтобы наклеить на стены жутковатые, нарисованные от руки портреты Иисуса и Санта-Клауса. Рождество всегда было наполнено бессмысленной суетой, и сейчас я отказываюсь праздновать его. Это слишком тяжело. Я помню, что в тридцать с небольшим

лет я встретила мужчину, который как-то раз всю ночь рассказывал мне о своем счастливом детстве — подарках под елкой, какао, щенках, каштанах, поджаренных на открытом огне. Ничто не вызывает во мне больше отвращения, чем мужчины, у которых было счастливое детство. Быть может, доктор Фрай считал Рождество благотворным для психики. Он всегда поощрял мальчиков принимать участие в праздничной деятельности — например, петь гимны и делать друг для друга поздравительные открытки. Это неизменно давало обратный эффект, потому что мальчишки-заключенные считали унизительным пение и ссорились, обзывая друг друга, смеясь и указывая пальцами на тех, кто осмелился открыть рот во время исполнения гимнов. А самодельные открытки, которые они дарили друг другу, всегда были полны угроз, оскорблений и порнографических рисунков. Я знала это, потому что надзиратели конфисковывали эти открытки и показывали охранникам и прочему персоналу, затем требовали от меня подшить это «творчество» в картотеку — я уверена, они делали это затем, чтобы унизить меня. «Весё*аного Хе-рождества!» На протяжении всего остального года мальчики были в основном послушными

и вялыми. Они все находились под действием препаратов, которые давал им доктор Фрай. Быть может, на время праздников он отменял предписания. В другие периоды заключенные сидели на сильных успокоительных и строгой диете.

В тот вечер я наблюдала, как мальчики входят в часовню и рассаживаются на первых рядах скамей, сутулясь и огрызаясь друг на друга. Рэнди стоял возле сцены, лицом к ним. Чтобы заниматься своими обязанностями, я села на высокую табуретку в задней части зала и включила старый прожектор, который вращался на чугунной раме, прикрепленной к стене. Я поворачивала его так, чтобы он освещал сцену, отбрасывая яркий круг на мятый оранжевый занавес. Сейчас это напоминает мне о начальных титрах мультфильмов про Багза Банни. Музыка, сопровождающая эти титры, время от времени играет у меня в голове, как некий способ прояснить безумную ситуацию. Сцены того рождественского представления запомнились мне в ярких, кинематографических тонах. Оно было просто абсурдным.

За мгновение до того, как погасло общее освещение зала, в дверях появилась Ребекка; в руках у нее был блокнот с ручкой, продетой через спиральный проволочный корешок. И я, и охран-

ники смотрели, как она идет по проходу, чуть покачивая узкими девичьими бедрами. Ребекка села на боковое место в одном из передних рядов, рядом с доктором Моррисом, где на страже стоял Рэнди. Это заставило меня нервничать. Я бы предпочла, чтобы пути этих двоих — Ребекки и Рэнди — никогда не пересекались. Ребекка была слишком красива, чтобы Рэнди мог не заметить ее, и, несмотря на то, что между нею и мной уже установилась некая связь, я все еще была полна зависти. Пусть даже я фантазировала о том, что скоро убегу и никогда больше не вернусь в Иксвилл, а тем более в «Мурхед», — а значит, Рэнди должен был стать для меня тем, чем стал сейчас, пятьдесят лет спустя: выцветшей грезой, призраком, тенью. Я представляла, как всхлипываю в поезде, уносящем меня в Нью-Йорк: «Прощай, Рэнди, прощай!»

Я помню, когда погас свет, сидящие в первом ряду мальчики, одетые в серые или синие вязаные безрукавки, вскочили и начали обмениваться бранными словами и кулачными ударами. Рэнди вышел из своей скульптурной неподвижности и бросился разнимать драку. Было невероятно лицезреть его в деле. Он двигался эффективно, хладнокровно, нерассуждающе, с невероятной

быстротой и силой. Я едва могла дышать, видя, как под жесткой тканью его формы напрягаются мышцы. Полагаю, что я действительно была влюблена в него в самом худшем смысле: меня волновал только его вид, его тело, но я едва знала его самого.

Когда мальчишки снова были рассажены по местам, на сцену вышел начальник. Я развернула прожектор так, чтобы тот светил ему в лицо, но сначала — то ли случайно, то ли нет — на мгновение направила ему в пах. Кое-кто из мальчиков рассмеялся. Начальник взял микрофон и произнес примерно такую речь:

— Хорошего вам Рождества, заключенные, сотрудники и гости! Каждый год мы проводим специальное собрание, чтобы отметить этот важнейший из праздников, и каждый год мы говорим о том, как много можно извлечь из истории Рождества для поддержания наших устоев, что немало значит для нас. Также мы молимся о том, чтобы увидеть свои промахи, когда — и если — мы совершаем их, и о том, чтобы история дитяти, столь не похожего на вас, мальчики, однако также рожденного у молодых родителей, бедных и почти лишенных надежды, смогла показать нам ошибочность нашего образа жизни

и вдохновить нас измениться, быть хорошими и вести жизнь, свободную от гнева, оплошностей и разрушения. Поэтому я уповаю, что вы все будете сидеть спокойно и смотреть с открытым разумом, вопрошая в сердцах своих, что вы сможете улучшить в себе и какими учит нас быть Священное Писание. Наши друзья из Маунт-Олив помогли нам в этом году подготовить представление о Рождестве Христовом, и я надеюсь, что вы, мальчики, все до единого будете сидеть, закрыв рты и сложив руки на коленях. Если я услышу хоть один смешок, свист или неуместное замечание, виновный отправится прямиком в карцер. И не испытывайте мое терпение. Мы также приветствуем двух наших новых сотрудников: доктора Морриса, нашего нового специалиста по душевному здравию, как я хотел бы назвать его, — добро пожаловать, добро пожаловать! И мисс Сент-Джон, работницу образования. С виду она может быть кроткой, парни, однако я заверяю вас: она чрезвычайно умна и выжмет из ваших больных мозгов куда больше, чем я когда-либо мог надеяться. Все вы встретитесь с ней в должное время. Если этого поощрения недостаточно, чтобы заставить вас помолчать сегодня, я уж и не знаю, как на вас повлиять. А теперь я завершаю

свое вступительное слово.

Сейчас я с отвращением вспоминаю свое странное увлечение начальником. Быть может, я завидовала его выдержке, не знаю. Он всегда казался ужасно самодовольным. Хотя это едва маскировало его глупость, однако была в нем некая уверенность, которую я, пожалуй, находила привлекательной. Меня было очень легко поколебать внешними проявлениями силы. Помню, как начальник выпутывался из микрофонного шнура, затем протянул руку престарелому священнику, сидевшему в кресле на колесиках. Сейчас мне кажется, что он, возможно, был гомосексуалистом. Я слышала, что у него было обыкновение наказывать младших мальчиков наедине в его кабинете. Но это совсем другая история, и не мне ее рассказывать.

Когда оранжевый занавес разошелся, за ним оказалась скудно обставленная имитация тюремной камеры. Двухъярусная койка, Библия на маленьком столике. На сцену, держа руки в карманах, вышел один из мальчиков — полноватый, бледный, одетый в стандартную форму заключенного — синий спортивный костюм из хлопчатобумажной ткани. Мальчик бубнил что-то себе под нос, но я могу предположить, что

именно он говорил, потому что эта пьеса повторялась из года в год:

— О, что же мне делать? Я приговорен три года сидеть взаперти среди таких же плохих мальчиков, как я. Так много времени для того, чтобы обдумать злодеяния, которые я совершу, как только выйду отсюда… Но пока, наверное, можно почитать книгу.

— Ты не умеешь читать! — раздался голос из первого ряда, когда краснеющий актер взял в руки Библию. Мальчики засмеялись и начали толкать друг друга локтями. Рэнди сделал шаг к ним, одной рукой, сжатой в кулак, делая небрежный жест, а указательный палец другой прижимая к губам. Представление продолжилось.

Мальчик на сцене сел на нижний ярус койки и открыл Библию. Еще два парнишки направились к нему через сцену, оба облаченные в халаты; на голове одного из них был длинный парик, а под халат на животе, похоже, была подсунута подушка. Со своего места я видела, как Ребекка ерзает на скамье. Конечно, мне было неприятно то, что происходило на сцене, подобного рода унижение. Но я смирилась с этим. Мне не хватало смелости даже огорчиться как следует из-за

происходящего. Мальчик, переодетый Марией, заговорил высоким голосом:

— Я очень устала, нельзя ли нам отдохнуть в том хлеву? — И указал куда-то за сцену. Он был похож на загнанного зайца. Зрители засмеялись. Мальчик, одетый Иосифом, поставил наземь мешок и вытер лоб.

— Это лучше, чем платить за гостиницу.

Ребекка огляделась по сторонам, вытягивая шею, как будто выискивала в толпе какое-то конкретное лицо. Я надеялась, что она ищет меня. В полумраке часовни я едва могла разобрать выражение ее лица. Я едва не развернула прожектор, чтобы осветить ее чуть заметно нахмуренные брови, ее губы, неодобрительно, но при этом очень мило поджатые. Она была так красива, словно чудесное видение в этом уродливом месте, и меня изумило, что все остальные не оборачиваются на нее, указывая пальцами. Как могли доктор Моррис, Рэнди, все эти мальчишки просто тупо продолжать свои обычные дела, как будто она была для них незрима? Неужели я ошиблась, оценивая ее красоту? Неужели я не способна видеть все как есть? Неужели я вижу то, чего нет? Разве она не самая элегантная и очаровательная женщина в мире? Я сидела, гадая об

этом, а Ребекка продолжала обводить взглядом зрительный зал, ряд за рядом.

Спектакль продолжался, Иосиф и Мария произносили реплики — иногда скованно, иногда с насмешливой бравадой. Появились еще мальчики в разноцветных халатах, склонив головы то ли от стыда, то ли от скуки. Их голоса были едва слышны через выкрики и смешки сидящих в зале заключенных. Один из «актеров», самый юный, заплакал, стиснув зубы, чтобы не так дрожал подбородок. И тогда Ребекка, нахмурившись, встала и пошла обратно по проходу; между ее маленьких грудей покачивался кулон. Я смотрела на нее. Ее тело было красивым и стройным, словно у балерины, и таким же напряженным. Она заметила меня, когда достигла задней части часовни, потом взмахнула рукой, недоверчиво покачала головой, артикулировала что-то, чего я не смогла разобрать, и вышла прочь. Помню, я подумала: «Теперь мы едины, мы против них». Я разделила бы ее ярость или по крайней мере притворилась бы, что разделяю, если б это означало, что я смогу быть рядом с ней, — такое чувство у меня возникло.

* * *

Не то чтобы мне было абсолютно наплевать на этих мальчиков. Просто я была молодой и жалкой и ничем не могла им помочь. По сути, я чувствовала себя так, как если б была одной из них. Я была не хуже и не лучше. Я была всего на шесть лет старше, чем самый старший из мальчиков-заключенных. Некоторые из них уже походили на взрослых мужчин — высокие, стройные, с начавшими пробиваться бородками и усиками, с крупными крепкими руками и низкими голосами. По большей части они были из семей низкоквалифицированных рабочих, но в тюрьме содержались и несколько чернокожих мальчиков. Они нравились мне больше всех. Я чувствовала, что они понимают нечто такое, чего не понимают другие. Они казались более спокойными, дышали словно бы чуть глубже, носили идеальные «посмертные маски», в то время как другие мальчики морщились, хмурились, плевались и дразнили друг друга, точно маленькие дети или мелкие хулиганы в школьном дворе. Я часто гадала, что они думают обо мне, когда видят меня стоящей за дверью во время посещений, — если они, конечно, вообще замечали

меня. Эти мальчики редко смотрели в мою сторону, и если они даже бросали на меня взгляд своих спокойных темных глаз, в этом взгляде не читалось узнавания. Мне казалось, что я была для них совершенно безликой, как будто всякий раз на моем месте оказывалась какая-нибудь другая из бесчисленной череды одинаковых молодых женщин. А может быть, разговаривая со своими матерями во время посещений, они называли меня «эта сучка» и указывали на меня движением подбородка, когда я отворачивалась прочь, думая о Рэнди и не слушая их беседу. А может быть, говорили: «Она единственная здесь, кого я не ненавижу». Или, возможно, считали меня сумасшедшей. Я определенно могла сойти за сумасшедшую в те дни, когда не высыпалась и приезжала на работу непричесанная и похмельная, закатывая глаза при каждом шуме и скрипя зубами при малейшем мерцании света. В своем детском эгоцентризме я фантазировала, что чернокожие мальчики разговаривают со своими матерями именно об этом: как плохо живется Эйлин, как Эйлин нужны друзья, как Эйлин заслуживает большего. Я надеялась, что они заглядывают сквозь «посмертную маску» прямо в мою скорбную и яростную душу, хотя

сомневаюсь, что они вообще меня замечали.

Не буду первой, если скажу, что в том, чтобы работать в мужском учреждении, будучи молодой женщиной, есть свои преимущества. Это не значит, что мое положение в «Мурхеде» давало мне какое-то ощущение моей женской власти или подводило меня ближе к реализации воображаемых романтических отношений — нет, никакой подобной ерунды. Но работа в «Мурхеде» давала мне возможность одним глазом заглянуть в мужской мир. Иногда я могла тихонько стоять и наблюдать за мальчиками, словно за животными в зоопарке, — как они движутся, дышат, — отмечая все тонкости жестов и поз, которые придавали им индивидуальность. Именно благодаря изучению поведения юных узников у меня выработалось понимание странного спектра мужских эмоций. Пожатие плеч означало «я поколочу тебя потом». Улыбка была обещанием немеркнущей любви и привязанности — или жестокой ненависти и убийственной ярости. Испытывала ли я эротическое удовольствие, глядя на этих мальчишек? Честно говоря, лишь немного, потому что я не могла наблюдать за ними на регулярной основе и никогда — в их естественной среде обитания. Я видела лишь, как они входят в

столовую и выходят из нее, да еще присматривала за ними во время визитов их матерей. Я была не на той должности, чтобы увидеть, как они отдыхают на своих койках, трудятся в мастерской или играют в рекреации, где, как мне думается, они были более раскованными и оживленными, проявляли больше юмора, открытости, непосредственности. В любом случае мне нравились их подвижные, опечаленные лица. Лучше всего было тогда, когда я видела, как сквозь пухлость щек и наивную мягкость молодости проступает жесткое лицо хладнокровного убийцы. Это заставляло меня дрожать от восторга.

Может быть, это случилось не на том конкретном рождественском представлении, но я помню, как мальчик, игравший роль Марии, выхватил подушку из-под своего халата, швырнул ее наземь и уселся на нее. А один из «волхвов» как-то раз изобразил стриптиз. Так что эти мальчики были в некотором роде очаровательны. Считала ли я, что буду скучать о них, когда сбегу прочь? Нет, не считала, да и действительно не скучала; хотя в тот вечер в часовне, глядя на их затылки, я гадала, смогу ли вспомнить лицо хоть одного из них, буду ли горевать, если кто-то из них умрет? Стала бы я им помогать, если б могла? Пожерт-

вовала бы чем-нибудь ради их блага? Ответ был постыдным, но честным: нет. Я была эгоистична, меня волновали только свои собственные желания и нужды. Помню, как я смотрела на Рэнди, стоящего в темноте у стены, и гадала, не жмут ли ему штаны в интимных местах. Я прикидывала, что ему нужно укладывать тот самый орган на одну сторону, чтобы приспособиться к покрою форменных брюк. Они были тесными. Сейчас я не могу точно воспроизвести ту картину в памяти, но я регулярно изучала расположение складок в районе его паха, чтобы попытаться определить, какую сторону он предпочитает. Я не пребывала совсем уж в полном неведении относительно мужской анатомии. Не помню, на самом деле, чтобы я рассматривала мужские органы в похабных журнальчиках отца, — хотя, полагаю, там встречались соответствующие фотографии. Мое знание сводилось к анатомическим рисункам. В конце концов, я доучилась до второго курса в колледже, где одним из предметов была санитария и гигиена. Потея от жары под нагретым прожектором, я беспокоилась о том, что моя неопытность в отношениях с мужчинами заставит Ребекку счесть меня по-детски глупой и жалкой. Я боялась, что она отвергнет меня, если узнает, что у

меня никогда не было парня.

Когда постановка завершилась, на сцене снова появился начальник и завел длинный монолог о природе греха. Я оставила свой пост возле прожектора, вышла из часовни и быстрым шагом направилась по тюремным коридорам, надеясь наткнуться на Ребекку. Рекреация и кабинеты были пусты. Библиотека, где хранились в основном религиозные трактаты и энциклопедии, столовая с длинными металлическими столами, уставленными грязными пластмассовыми тарелками, — нигде ни души. Спальни мальчиков располагались в самой дальней части. Крошечные окна выходили на округлые, засыпанные снегом дюны. Океан за дюнами был подобен каньону скорби, беспокойный и холодный днем и ночью, и грохот волн был так силен, что мне представилось, как сам Господь восстает из воды, смеясь над нашей тщетой. Было легко представить, какие депрессивные мысли это зрелище и этот шум навевали юным узникам. Окна располагались так низко от пола, что нужно было нагнуться или встать на колени, чтобы выглянуть в них. Несколько мгновений я стояла в пустой комнате, слушая гром прибоя. Вдоль стен стояли двухъярусные койки, само помещение имело

форму колокола, а на полу были нарисованы линии, обозначавшие, где нужно стоять во время утренней поверки, где преклонять колени во время вечерней молитвы, в какую сторону идти в душ, а в какую — в столовую. Голубой линолеум так громко скрипнул под моими ногами, когда я уходила, что мне показалось, будто я наступила на мышь.

Помню, как я бегом вернулась на безлюдную кухню и похитила пачку молока с полки холодильника. Это была весьма впечатляющая кухня: сплошная серая сталь, мощная техника. Когда мальчиков наказывали за плохое поведение, их заставляли отбывать двойное дежурство по отмыванию котлов и сковородок, а спать они были вынуждены в комнатке позади кухни, которая некогда была складом для мясных продуктов, а теперь исполняла роль камеры-одиночки. Ее называли «карцером». Мальчику, которого отправляли в карцер, запрещено было выходить оттуда — только для того, чтобы принять душ или помыть очередную партию тарелок. Он должен был есть прямо в карцере, а вместо унитаза пользоваться ведром. Помню, это ведро очень меня интересовало. Как уже можно понять, меня влекли самые отвратительные отправления

человеческого тела — и не в последнюю очередь туалетные дела. Сам факт того, что другие люди опорожняют свои кишечники, наполнял меня благоговением. Любые телесные функции, скрываемые за закрытыми дверями, восхищали меня. Я вспоминаю одни из первых моих отношений — не серьезную любовную историю, а легкий романчик, — с русским мужчиной, у которого было чудесное чувство юмора: он позволял мне выдавливать гной из прыщей на его спине и плечах. Для меня это было знаком величайшей близости. До этого, когда я еще была молодой и нервной, сама возможность допустить, чтобы мужчина услышал, как я опустошаю мочевой пузырь, была невероятным унижением и пыткой, а значит, как я считала, доказательством глубокой любви и доверия.

Некий мальчик сидел в карцере уже несколько недель. Я прошла в дальнюю часть кухни и нашла старую мясную кладовку: вместо двери из нержавеющей стали теперь поставили толстую, железную, с маленьким окошком и висячим замком. Юный Польк сидел внутри на раскладушке и смотрел в стену. Я узнала его — я видела, как его привезли в «Мурхед» несколько недель назад. Мой отец следил за тем, что с ним

было, по заметкам в «Пост». Во время процедуры регистрации в тюрьме Польк был молчаливым и отстраненным. Сначала он не показался мне привлекательным или особенным. Помню, он стоял в напряженной позе. Польк был худощав, но широкоплеч — неуклюжее сочетание подростковой стройности и претензии на мужскую силу и брутальность. На костяшках пальцев его правой руки была свежая татуировка — какие-то буквы, но я не смогла разобрать, какие именно. Я наблюдала, как он поднял взгляд вверх, словно читая что-то, начертанное на потолке. Глаза у него были светлые, кожа оливкового цвета, а коротко остриженные волосы — каштановые. Польк выглядел задумчивым, грустным и даже мрачным. Самыми печальными в «Мурхеде» были мальчики, сбежавшие из дома и арестованные за бродяжничество или проституцию. Интересно, гадала я, глядя в окошко, сколько стоило бы осквернить такого вот подростка? У него были умные глаза, длинные изящные руки и ноги, меланхоличный наклон головы. Я надеялась, что он получил бы за это хорошую сумму. В те дни мне представлялось, что мужчины-проститутки обслуживают богатых домохозяек, развлекая их, пока мужья заняты бизнесом, — настолько

наивной я была. Я смотрела, как мальчик склоняет голову то вправо, то влево, словно пытаясь размять шею; это движение выглядело очень чувственным. Он зевнул. Не думаю, что он видел меня сквозь окошко. Я до сих пор даже не уверена, что он знал мое имя. Я смотрела, как он укладывается на койку, поворачивается на бок, закрывает глаза и вытягивается во весь рост. Пару минут он словно бы пытался заснуть. Потом его пальцы, точно без малейшего на то намерения, оказались возле паха. Я задержала дыхание, глядя, как он сквозь ткань формы охватывает ладонью свои гениталии. Тело его изогнулось, будто у играющего зверька. В попытках лучше увидеть движения его руки, я прижалась лицом к стеклу. Мой язык, холодный от молока, коснулся поверхности стекла. Я минуту или две наблюдала за мальчиком, захваченная, потрясенная, зачарованная этим зрелищем, пока шум из коридора не заставил меня отпрыгнуть прочь и бегом вернуться в кабинет. На самом деле я не думаю, что Польк меня видел. Позже я узнала, что ему было всего четырнадцать лет. Он мог бы сойти за девятнадцатилетнего или двадцатилетнего. И он в любом случае не оставил меня равнодушной.

* * *

В тот вечер, когда миссис Стивенс надевала пальто, чтобы уйти домой, я осмелилась спросить ее, что сделал тот мальчик, чтобы угодить в одиночное заключение.

— Польк, — ответила она, тряся двойным подбородком и натягивая пушистые шерстяные рукавицы на свои толстые обветренные руки. — Смутьян. Отвратительный мальчишка.

Сейчас до меня доходит, насколько безжалостно я относилась к миссис Стивенс. Все, что она делала, я воспринимала как личное оскорбление, как некоего рода прямую атаку. Хотя я никогда не наносила ответный удар, я считала ее своим врагом. Нет, верно, что она не была добродушной или даже приятной в общении, но миссис Стивенс никогда не причиняла мне настоящего вреда. Она просто была невероятно раздражительной и ворчливой. Когда она и остальные офисные дамы ушли домой, я отыскала личное дело Полька — папку со слегка пожелтевшими бумагами. «Преступление: отцеубийство». Папка разбухла от примечаний доктора Фрая, в основном содержавших дату, время и неразборчивые латинские каракули. В газете, прикрепленной

скрепкой к краткому полицейскому протоколу, я прочла, что Леонард Польк по прозвищу Ли перерезал горло своему отцу, пока тот мирно спал в своей постели. В отчете сообщалось, что прежде за мальчиком никогда не отмечали склонности к жестокости, а соседи называли его «тихим ребенком, хорошо воспитанным, самым обычным». Что-то вроде этого. Лицо на фото, вклеенном в дело, было угрюмым, с поджатыми губами и опустошенным, несфокусированным взглядом. В графе «примечания» моим собственным неряшливым школьным почерком сообщалось: «Молчит со дня преступления».

И тогда, словно птичья песня в полночь, из полутемного коридора донесся волшебный мелодичный голос. Это Ребекка пожелала доброго вечера Джеймсу. Я попыталась собраться, вслушиваясь в приближающийся перестук ее каблучков. Несколько мгновений спустя она предстала передо мной в длинном черном пальто, с портфелем в руке. С того нелепого рождественского спектакля прошло несколько часов. Я попыталась улыбнуться и незаметно сунуть дело Леонарда Полька обратно в картотеку, но папка вырвалась у меня из рук, и ее содержимое рассыпалось по грязному линолеуму.

— Вот это да… — глупо произнесла я. Ребекка зашла за офисную конторку, чтобы помочь мне собрать бумаги. Я смотрела на нее сзади, когда она присела, чтобы дотянуться под стол миссис Стивенс. Ребекка подобрала юбку, чтобы подол платья не мел по полу, и стали видны ее голени — утонченные, мягкие изгибы, совсем не такие, как мои, по-детски тощие.

— Боже мой, — промолвила она, рассматривая документ, который держала в руках. — Вы можете представить, как можно дойти до того, чтобы убить собственного отца?

Ребекка протянула страницу мне, глядя на меня понимающе — так мне показалось.

— Спасибо, — ответила я, краснея.

— Конечно, подобным историям много веков. Убить своего отца, спать со своей матерью, — продолжила Ребекка. — Мужские инстинкты могут быть ужасно предсказуемыми. — Она перегнулась через мое плечо, глядя на фотографию мальчика. Ее волосы свесились между нами, словно медного цвета тюль. Она отбросила их назад, и их кончики мазнули по моему плечу, точно птичьи перья. Ребекка прикусила губу и прочитала вслух:

— Леонард Польк.

В ее дыхании чувствовался запах табака и фиалковых пастилок.

— Он в одиночном заключении, — сказала я ей. — Я никогда не видела, чтобы его выпускали. И никаких посещений.

— Даже жалко его, — отозвалась Ребекка. — Можно? — Она протянула раскрытые ладони, и я опустила на них папку.

— Я просто проводила каталогизацию, — глупо сообщила я, надеясь, что она не заподозрит меня в вынюхивании.

Ребекка пролистала бумаги в папке. Я притворилась, что занята, и принялась переставлять вещи на моем столе и изучать старый заполненный опросник. «Назовите свой любимый праздник? Во сколько вы ложитесь спать вечером?»

— Я пока позаимствую это, — сказала Ребекка, кладя дело Полька в свой портфель. — Забавное чтение на ночь, — съязвила она. Я села за свой стол, чувствуя тревогу и неловкость, и стала смотреть, как она застегивает свое пальто. — Что за дикий спектакль сегодня устроили?

— Они показывают его каждый год.

— Я назвала бы это очень жестоким и необычным наказанием, — ответила Ребекка.

Потом она накинула на плечи пушистую мохеровую шаль и извлекла из-под нее свои волосы. Я чувствовала, что мне ни в малейшей степени не удалось произвести на нее впечатление. Я решила, что в следующий раз, когда мы будем говорить, я буду более деятельной собеседницей: более остроумной, интересной, живой.

— Что ж, увидимся утром, — произнесла Ребекка и процокала каблуками по коридору, выйдя в метельный вечер снаружи.

По пути домой я заехала в «Ларднер» купить отцу выпивку, потом остановилась у аптеки, чтобы приобрести фиалковые пастилки и пачку сигарет для себя. Я редко курила, но когда что-то выводило меня из себя, я рада была успокоиться парой сигарет. Я пыталась выкинуть из головы Леонарда Полька, хотя картина того, как он трогал себя в карцере, возбуждала меня. Именно это я всегда надеялась увидеть, когда шпионила за Рэнди, — уловить мимолетную сцену того, как он занимается грязным делом. Я неистово встряхнула головой, как будто от этого воспоминание могло покинуть мой мозг, выпасть через уши и оставить меня в покое. Я не была педофилкой — это слово я помнила по урокам латыни, которую изучала несколько лет назад. Изучая отдел кос-

метики, я нашла новый оттенок губной помады — блестящий, кроваво-красный: он именовался «Страстная возлюбленная». Я сунула его в карман. Рукава моего пальто — прежде оно принадлежало моей матери — были длинными и с широкими манжетами, так что я без труда могла стащить почти любую вещицу. Я всю жизнь неплохо умела воровать. Время от времени я до сих пор краду в магазине разные товары: зубную нить, головку чеснока, пачку жевательной резинки. Я не вижу в этом большого вреда. Мне кажется, что за свою жизнь я отдала или потеряла достаточно, чтобы сравнять счет.

В тот вечер я, помимо унизительной упаковки гигиенических прокладок, купила еще маленькую коробочку компакт-пудры, самого светлого оттенка, какой у них был: «Снежная королева». Журнал мод на стойке возле кассы тоже привлек мое внимание. На обложке была фотография тощей меланхоличной женщины в серой меховой шапке — женщина, чуть выпятив губы, смотрела вверх — словно бы на неодобрительно настроенное начальство. «Разве это не романтично?..» — гласила надпись на обложке. Я решила, что на шапку пошел мех домашнего кота. Затем положила деньги на тарелочку возле кассы. Продавщица

взяла упаковку прокладок так брезгливо, как будто они уже были использованы, и двумя пальчиками сунула их в бумажный пакет, стоящий на стойке. Журнал она сунула в отдельный пакет, плоский и жесткий, и это мне нравилось. Вернувшись в «Додж», я разложила все коричневые бумажные пакеты на пассажирском сиденье. Бутылки с алкоголем, прокладки, журнал. Я достала из кармана помаду и вслепую накрасила губы. Когда я вернулась домой, отец спросил:

— Чью красную задницу ты целовала? — Потом выхватил у меня из-под мышки бутылки. — Не твой цвет, — фыркнул он, шлепая обратно на кухню.

Как и Леонард Польк, я не сказала ни слова.

Вторник

Взрослая женщина подобна койоту — она может выживать на очень скудном пайке. Мужчины больше похожи на домашних котов. Оставь их надолго в одиночестве, и они умрут от тоски. С годами я научилась любить мужчин за эту слабость. Я пыталась уважать их как людей, у которых есть прекрасные чувства — нестойкие чувства, меняющиеся день ото дня. Я слушала, успокаивала, вытирала им слезы. Но пока я была юна и жила в Иксвилле, я понятия не имела, что у других людей — мужчин или женщин — есть чувства столь же глубокие, как у меня самой. Я не испытывала сострадания ни к кому — разве что в том случае, если чьи-то горести позволяли мне отчасти забыть о своих. В этом отношении мое развитие оказалось невероятно запоздалым. Знала ли я, что охранники ради развлечения могли принуждать мальчиков в «Мурхеде» — как это, наверное, случается с заключенными по всему миру — драться по ночам друг с другом и испражняться в наволочки? Что чуть ли не ежедневно надзиратели могли выстроить ма-

леньких узников в голом виде, оплевывать их, избивать, связывать, унижать и использовать? Ходили такие слухи, однако доказательств никто не представлял. Я вообще едва замечала, что на мальчиков надевали наручники, когда препровождали в комнату для свиданий и уводили обратно. Почему я должна была испытывать душевную боль за кого-то, кроме себя самой? Если кто-то и был брошен в темницу, страдал и испытывал дурное обращение, — это я. Я была единственной, чья боль была реальной. Только моя боль.

Если б тот вторник был обычным рабочим вторником, я просто сидела бы без дела за своим столом, смотрела бы на часы и в сотый раз воображала бы свой побег из Иксвилла. Если бросить «Додж» на заправочной станции в Ратленде — пусть даже у самой бензоколонки — и просто уйти, прикрыв голову шарфом, а потом сесть на ближайший поезд от Ратленда до Нью-Йорка так, чтобы меня никто не заметил, в Иксвилле могут решить, что меня похитил какой-нибудь современный разбойник с большой дороги, и будут ждать, что мой обезглавленный труп найдут где-нибудь в другом конце страны, на обочине дороги или в номере какого-нибудь грязного и

дешевого мотеля. «Бедная Эйлин», — всхлипнет отец. Я воображала себе все это. Я мечтала. Но в тот вторник я ни о чем подобном не думала. Вместо этого я думала о Ребекке, чье появление в «Мурхеде» казалось благим обещанием от Господа, что моя жизнь может измениться к лучшему. Я больше не была одна. Наконец-то у меня появилась подруга, которую я могу уважать, которой могу довериться, которая сможет понять меня, мое бедственное положение и помочь мне выкарабкаться. Она была моим билетом в новую жизнь. И она была столь умна и прекрасна, что казалась мне воплощением всех моих грез обо мне самой. Я знала, что не могу быть такой, как Ребекка, но я могла быть рядом с ней, и этого было достаточно, чтобы привести меня в восторг. Появившись на работе в тот вторник, вынырнув из морозной утренней поземки, она скинула пальто, словно в замедленной съемке — так мне это запомнилось, — и взмахнула им, словно тореадор плащом. Она шла по коридору ко мне, волосы развевались у нее за спиной, а глаза были подобны кинжалам, которые через сердце вонзались мне прямо во внутренности. Она была воплощением чистой магии. Пальто у нее было шерстяное, алого цвета, с серым меховым воротником. Это был

такой же мех, какой я видела на обложке журнала. Когда Ребекка подошла ближе, я привстала в ожидании, словно была ее ассистенткой или секретаршей — а может быть, и служанкой. Она вежливо кивнула пожилым офисным дамам и взглянула мне в глаза по пути в раздевалку, куда я и последовала за ней.

Я специально приоделась ради такого случая. Из вещей матери я составила ансамбль, который, как я считала, придавал мне более свободный вид — темно-синего цвета, конечно же. Я даже надела старое ожерелье из фальшивого жемчуга. В то утро я причесалась и более тщательно накрасила губы, нанеся по краям рта немного пудры, чтобы помада не размазывалась. Я помню это, потому что, как уже говорила, я была одержима своим внешним видом. Как ни иронично, несмотря на эту одержимость, почти всегда я выглядела неряшливо и даже отвратительно. «Уродливо», — как говорил мой отец. Однако в то утро мне казалось, что я смотрюсь намного лучше. «Со вкусом», — пожалуй, сказала бы я. В любом случае я пошла за Ребеккой, постукивавшей изящными каблучками по линолеумному полу, и когда мы оказались в раздевалке, она обернулась ко мне, спросив:

— Вы не могли бы помочь мне снова открыть мой шкафчик? Кажется, у меня не получается. — Ребекка подняла тонкую руку и пошевелила пальцами в обтягивающей кожаной перчатке жемчужно-серого цвета. — Руки кривые, — пожаловалась она.

Сейчас я полагаю, что эта беспомощность была своего рода флиртом, манипуляцией, призванной подчинить меня, но в ту пору я, конечно же, не могла этого понять. Я с абсолютной точностью набрала цифры на колесике, краснея от удовольствия, словно мое умение открывать шкафчики было признаком великих талантов.

— Но откуда вам известна моя цифровая комбинация? — спросила она.

Дверь шкафчика с резким щелчком отворилась. Я гордо отступила назад и пояснила:

— Все комбинации одинаковые. Только не говорите нашим дамам — их всех хватит удар.

— Вы забавная, — заявила Ребекка, морща нос.

В руках она держала портфель и маленькую кожаную сумочку, из которой переложила в карман кофты сигареты в портсигаре. Кофта ее выглядела такой мягкой — наверное, из ангоры или кашемира, — что словно плавала вокруг Ребекки, подобно сахарной вате. В тот день — во

второй раз, когда я видела ее, — она была облачена в одежду разных оттенков фиолетового: лавандовый, фиалковый, сливовый. Другую женщину за подобное одеяние я мысленно обозвала бы «потаскушкой»: платье Ребекки было облегающим и изящным, совершенно не подходящим для работы в тюрьме. В конце концов, мы сюда пришли не на романтический вечер. Но Ребекка не была потаскушкой. Она была божественна. Я смотрела, как изящно она изгибает руку в локте, вешая пальто в шкафчик.

— Я знаю, что носить мех неправильно, — произнесла Ребекка, заметив мой взгляд. — Но я ничего не могу с собой поделать. Шиншилла. — Она погладила воротник своего пальто, словно это была кошка.

— Нет-нет, — отозвалась я. — Мне просто нравится ваш портсигар.

— О, спасибо, — сказала она. — Это подарок. Видите, на нем мои инициалы.

Она достала портсигар из кармана и протянула мне. Он был серебристого цвета, с тонкими бороздками на поверхности, размером с колоду игральных карт. Я хотела спросить: «Подарок от кого?» — но прикусила язык. Ребекка открыла портсигар и предложила мне сигарету. Это были

толстые «Пэлл-Мэлл» без фильтра, самые крепкие сигареты, которые я когда-либо курила. Несколько лет спустя я только их и покупала некоторое время — меня, как ни странно, привлекала красота девиза, начертанного поперек их логотипа — щита, поддерживаемого двумя львами. *Per aspera ad astra.* «Через тернии к звездам». Тогда мне казалось, что это точное описание моего тяжкого положения, хотя на самом деле, конечно же, оно таковым не было. Ребекка, красиво выгнув запястье, поднесла мне зажигалку. Это привело меня в восторженный трепет. Раскуривая собственную сигарету, она склонила голову набок, словно задумчивая птица, и чуть заметно втянула щеки. Я помню все это совершенно отчетливо. Конечно же, я была безрассудно увлечена ею. Лишь потому, казалось мне, что я знаю ее, я уже поднимаюсь над своей горестной жизнью, уже выкарабкиваюсь из этого болота.

— Обычно я не курю, — пояснила я, слегка закашлявшись. Хотя в моей сумочке лежала пачка «Салема».

— Отвратительный обычай, — отозвалась Ребекка, — но именно поэтому мне нравится. Однако женщине не очень подходит. От курения зубы желтеют. Видите? — Она чуть наклонилась

ко мне, приподнимая пальцем верхнюю губу и обнажая десны, чтобы я могла видеть ее зубы. — Видите, какие желтые? Это все кофе и сигареты. И красное вино.

Однако зубы у нее оказались безупречны: мелкие и белые, словно бумага. Десны были розовые и блестящие, а кожа лица — чудесно гладкая, словно у ребенка, идеально ровная и чистая. Таких женщин можно встретить время от времени — красивых, точно маленькие девочки, невинных и большеглазых. Щеки у нее были полные, но крепкие, как наливное яблоко. Розовые губы были дивной формы, однако на них виднелись трещинки. При виде этого легкого несовершенства я испытала едва заметное разочарование — и одновременно удовлетворение.

— Я не пью кофе, — сказала я, — так что, казалось бы, у меня должны быть идеальные зубы. Однако они все гнилые из-за моей расположенности к сладостям.

Это слово — «расположенность» — в те времена не входило в мой повседневный словарь, и выговаривать его было неловко; я боялась, что Ребекка разглядит мою попытку казаться умнее, чем я есть, и будет надо мной смеяться. Но то, что она ответила на это, едва не заставило мое сердце

взорваться от восторга.

— Глядя на вас, я бы никогда этого не подумала! — Она широко улыбалась, положив руки на бедра. — Вы невероятно тоненькая! Мне так нравится то, какая вы маленькая. — Эти слова были подобны райскому пению. А затем она продолжила: — Я, конечно, тоже худая, но при этом высокая. В высоком росте есть свои преимущества, но большинство мужчин для меня слишком низкие. Вы, может быть, заметили — или мне только так кажется, — что в наши дни мужчины становятся все ниже и ниже?

Я кивнула, закатив глаза в знак согласия, хотя вряд ли могла что-то ответить на ее вопрос. Ребекка положила сумочку в шкафчик и заперла его.

— Они — как мальчишки. Трудно найти настоящего мужчину или хотя бы того, кто таковым выглядит. Правду говоря, — начала она, и я затаила дыхание, — я опять забыла комбинацию цифр. Но больше я не буду вас беспокоить. Уверена, что вам и без того есть чем заняться. Я записала его где-то на листке, он лежит в моем рабочем столе. Теперь мне бы найти дорогу в тот кабинет, который мне отвели вчера… Но в этом я тоже не буду просить вашей помощи. Я, пожалуй, найду это место по нюху. По запаху старой кожи. — Она

сделала паузу. — В кабинете Брэдли, который находится рядом с моим, стоит старая кушетка — ну, знаете, такая, как у любого врача. Как это по-фрейдистски, — заметила Ребекка, саркастически распахнув глаза. — В смысле, как это устарело.

— Брэдли? — Я совсем забыла про преемника доктора Фрая — лысого доктора Брэдли Морриса. Кажется, он был тощим. Был ли он настоящим мужчиной, по меркам Ребекки? Были ли они как-то связаны между собою?

— Новый мозгосушитель, — напомнила она. — Правду говоря, — Ребекка снова употребила эту фразу, — мне кажется, что его собственные мозги еще недостаточно ссохлись, если вы понимаете, что я имею в виду.

Эти слова поставили меня в тупик. Относились ли они к его телосложению? Я была словно мальчишка-подросток, запутавшийся в словах. Видя мой недоумевающий взгляд, Ребекка пояснила почти извиняющимся тоном:

— У него большая голова. Но я шучу. Он кажется мне довольно милым человеком.

Я проклинала себя за тугодумие. Я хотела объяснить, что на самом деле я умная и начитанная, что училась в колледже и знаю, кто такой Фрейд,

что я не такая, как все здесь, что я исключение… но это все казалось мне жалкими самооправданиями.

— Я никогда не была в его кабинете, — сказала я вместо этого. — Доктор Фрай всегда запирал его, и туда было разрешено входить только мальчикам.

Я не обладала таким быстрым разумом, как у нее. Я была неуклюжей, медленной, скучной. Я ничем не могла произвести впечатление на Ребекку, кроме своего роста. Мне нужно было расспросить ее о ней самой, о том, что она планирует делать в «Мурхеде», как вышло, что она устроилась на работу в тюрьму, каковы ее цели, ее мечты и устремления, — но в те времена мой мозг не мог додуматься до всего этого. У меня не было должного воспитания. Я не умела заводить друзей.

— Приходите в любое время, — тем не менее пригласила Ребекка. — Если, конечно, дверь не будет закрыта — стало быть, у меня кто-то из мальчиков.

— Спасибо, — ответила я, стараясь, чтобы мой тон звучал профессионально. — В следующий раз, когда буду проходить мимо, загляну к вам.

— Вы Эйлин, верно? — спросила она, наставляя

палец мне в живот. Я густо покраснела и кивнула. — Зовите меня Ребеккой. И на «ты», — сказала она, подмигивая, и зацокала каблучками прочь.

У меня кружилась голова от восхищения и стыда. Она запомнила мое имя. Это очень много значило для меня. Я совсем забыла о деле Леонарда Полька. Придя в то утро на работу, я надеялась, что Ребекка вернет его — на тот случай, если миссис Стивенс заметит отсутствие папки и спросит меня об этом. Но какое мне дело было до этого теперь? У меня была настоящая подруга — она знала меня, хотела общаться со мной, я ощущала свою связь с ней. В последующие годы я воспроизводила в памяти этого разговор с Ребеккой — так же, как и все наши разговоры с ней, — снова и снова, пока не вычислила, каким образом ситуация сложилась так, как сложилась. Но в тот момент я просто была счастлива. Встретиться с Ребеккой — все равно что научиться танцевать или открыть для себя джаз. Все равно что впервые влюбиться. Я всегда ожидала, что будущее обрушится на меня, словно лавина великолепия, и в тот момент мне казалось, что это действительно случилось. Для этого понадобилось лишь встретить Ребекку.

Per aspera ad astra.

В то утро мне не удалось как следует повспоминать о нашем коротком диалоге с Ребеккой, потому что это был день посещений и мне нужно было работать. К тому времени, как я вернулась за свой стол, на стульях в вестибюле уже сидела группа заплаканных матерей с маленькими детьми. Помнится, одна мать пришла повидать своего двенадцатилетнего сына, спалившего дом, где жила его семья. Это был низкорослый круглощекий мальчишка с каштановыми волосами и вывернутыми наружу ступнями ног; над его верхней губой уже начала пробиваться поросль. Я обратила особое внимание на эти темные волоски. Это напомнило мне о собственной верхней губе. Обычно я выдергивала волоски пинцетом чуть ли не ежедневно. За то время, что я потратила на удаление волосков с лица перед зеркалом в санузле, я могла бы написать книгу. Я могла бы выучить французский язык. Брови у меня всегда были тонкими и редкими, поэтому их я не выщипывала. Я слышала, что редкие брови — признак нерешительности. Однако я предпочитала считать их признаком открытой души и склонности к поиску благоприятных возможностей. В журнале мод с кошачьим мехом на обложке я прочла, как некоторые женщины подрисовывают брови

карандашом, чтобы они казались темнее и гуще. Я подумала, что это нелепо. Стоя за дверьми комнаты свиданий, я постукивала по выступающим костям своего таза кулаком — обычай, который почему-то придавал мне уверенности в своем превосходстве, в своей силе.

Когда юный поджигатель расположился за столом напротив своей матери, он сделал то, что делали все младшие мальчики. Они скрещивали руки на груди и смотрели в стену, изображая, что непробиваемы и спокойны, как будто происходящее их не касается. Но едва бросив взгляд на исполненные страдания лица матерей, они ударялись в слезы. Вот и этот поджигатель расплакался. Его мать достала из кармана носовой платок и протянула его через стол. Рэнди влетел в комнату, выставив ладонь одной руки перед мальчиком, а второй удерживая протянутую руку женщины.

— Извините, — без всякого выражения произнес он. — Это запрещено.

— Вы можете обнять его перед уходом, — вмешалась я, — но вам нельзя ничего ему давать. Это для безопасности самих детей.

Я уже напрактиковалась произносить подобные речи.

Конечно же, это правило было установлено не для того, чтобы защитить мальчиков от носовых платков. Я знала, что говорю неправду. Но я была молода, в изрядной степени заморочена обучением в школе, моим отцом и его католицизмом; я боялась, что меня накажут, будут расспрашивать или выгонят, поэтому подчинялась всем правилам в «Мурхеде». Я точно следовала всем процедурам. Каждый день я приходила и уходила вовремя. Конечно, вы можете заметить, что я была магазинной воровкой, извращенкой и лгуньей, но об этом никто не знал. Тем больше было у меня причин соблюдать правила — кто бы мог сказать, что я не следую моральному кодексу? Разве это не доказывает, что я хорошая? Что у меня не может возникнуть желание задрать юбку и поерзать по линолеуму пола влажными складками в промежности? Я отлично понимала, что правило, запрещающее родителям давать что-либо своим детям, было создано для того, чтобы держать мальчиков в состоянии непреходящего отчаяния. При каждой удобной возможности начальник подчеркивал это в своих речах. Я полагала, что в его словах есть своя логика. Только полная отчаяния душа может раскаиваться в своих грехах, а если раскаяние будет достаточно глубоким, маль-

чик сдастся и потому станет более покорным и в конце концов пожелает преобразиться, — так говорил начальник. Из всех живущих на земле менее всего я доверила бы преображать кого бы то ни было нашему начальнику, или доктору Фраю, или доктору Моррису — хотя я так и не узнала его, — или, как ни жаль это говорить, Ребекке. Она, пожалуй, была худшей кандидатурой из всех перечисленных. Однако я говорю это задним числом. Сначала же — о да, Ребекка была для меня мечтой, волшебницей, могущественным существом, каким я сама хотела бы быть. Так что никаких носовых платков. Никаких игрушек, никаких комиксов, журналов или книг. Пусть дети плачут. В конце концов, ко мне никто не проявлял ни малейшей доброты. Почему с кем-то из этих детей должны обращаться лучше, чем со мной? Когда Рэнди шел к выходу из комнаты свиданий, я опустила глаза на его пах. Он только цыкнул сквозь зубы и вздохнул.

— Я в порядке, — сказал маленький поджигатель, утирая лицо полой своей курточки.

Его мать всхлипнула. Я помню, что на ней был белый шарф, и когда этот шарф упал, я заметила, что кожа у нее на шее испещрена вздутыми желтыми и розовыми шрамами от ожогов. Свидание

завершилось, когда часы показали, что прошло семь минут — они длились по семь минут ровно, и я полагаю, что это имело некое религиозное значение. Я махнула рукой Джеймсу, и он увел поджигателя обратно в комнату для занятий или куда там было положено, и привел следующего мальчика. Рэнди стоял в дверном проеме, пока я подавала плачущей матери журнал, чтобы та поставила подпись в графе «Отбытие». Почерк выдавал ее горе. В то время как первая подпись была четкой и аккуратной, подпись об отбытии была начертана в явной обиде, неровно и поспешно. Это всегда было так. Все не выдерживали. Все страдали. Каждая из этих скорбящих матерей была так или иначе отмечена шрамами — свидетельствами глубокой сердечной боли от того, что их дитяти, их плоти и крови, предстоит вырасти в тюрьме. Я изо всех сил пыталась не обращать на это внимания. Мне приходилось это делать для того, чтобы нормально работать и сохранять невозмутимость. Когда я была доведена до крайности, возбуждена или расстроена, у меня был особый способ обуздать себя. Я находила пустое помещение и, стиснув зубы, щипала себя за соски, вскидывая ноги в воздух, словно танцовщица в канкане, — пока не начинала

чувствовать себя глупой и пристыженной. Это всегда срабатывало.

Когда я смотрела, как Рэнди почесывает локоть, а потом прислоняется к косяку комнаты свиданий, до меня дошло: я больше не влюблена в него. Для моего нового взгляда, затуманенного только что зародившимися чувствами к Ребекке, Рэнди был никем, лицом в толпе, серым и бессмысленным, словно старая вырезка из газеты, прочитанная столько раз, что она больше не производила на меня никакого впечатления. Такой может быть любовь. Она может рассеяться в мгновение ока. С тех пор такое иногда случалось со мной. Любовник покидал мое теплое ложе, чтобы выпить стакан воды, и, вернувшись, обнаруживал, что я холодна и отчуждена, что он не вызывает у меня ни малейшего интереса, словно незнакомец. Любовь также может вернуться вновь — но никогда прежней, невредимой. Второй заход неизбежно омрачен сомнениями, колебаниями, отвращением к себе. Но к тому случаю это не относится.

Когда Джеймс вернулся, то, к моему великому удивлению, он ввел в комнату Леонарда Полька. Леонард шел спокойно, почти беспечно, хотя руки его были скованы за спиной. Он оказался выше,

чем я думала; все его движения были отмечены той неуклюжей мягкостью, едва ли не расхлябанностью, которая часто проявляется у парней, прежде чем их тела обретут полную мужскую силу. Однако в его походке можно было уловить странную пружинистость. Лицо его было спокойным и ясным: подобной безмятежности и легкой настороженности я не видела ни у одного другого мальчика; в его поведении смутно брезжила скрытность, и это мне нравилось. Он выглядел непроницаемым, холодным и чем-то довольным, как будто ничто не могло задеть его, — и в то же время оставался таким же невинным, как то безмолвное существо, которое бездумно ласкало себя на раскладушке в карцере. Я всмотрелась в его лицо, высматривая, что может скрываться за его маской полного довольства, но не увидела ничего. В этом отношении он был гением — подлинным мастером. Его маска была самой лучшей, какую я когда-либо видела.

Джеймс провел его мимо стеклянной стены вестибюля. Когда они миновали стул, на котором с другой стороны стены сидела миссис Польк, Леонард улыбнулся. Я представила этого мальчика в темной спальне его родителей, стоящим с кухонным ножом над спящим отцом, и лунный

свет, подобно молнии, блеснул на лезвии, когда Леонард резким сильным движением опустил его, рассекая горло мужчины. Могло ли это странное, спокойное существо совершить подобное деяние? Рэнди ввел его в комнату свиданий, усадил на стул, снял наручники и встал в дверях.

— Миссис Польк? — позвала я.

Женщина в вестибюле поднялась с места и направилась ко мне. Я совершенно четко помню то, как увидела ее в первый раз, хотя она была совершенно непримечательной. На ней были отглаженные черные брюки, туго обтягивавшие ее объемистые бедра. Свитер ее напоминал лоскутное одеяло — разноцветные квадраты шли по груди и выпирающему животу. Полная, растрепанная, эта женщина показалась мне отвратительной. Она не была такой уж толстой, однако живот у нее выпирал довольно сильно, и вся она выглядела расплывшейся, усталой и нервной. Она ступала скованно, переваливаясь на ходу из стороны в сторону, как ходят некоторые полные люди; через руку у нее было переброшено коричневое пальто, сумочки у нее не было. Когда она входила в комнату, я заметила, что в туго стянутом пучке вьющихся волос у нее на затылке застряли какие-то белые пушинки.

Помада у нее была дешевая, неестественно фуксиево-розового цвета. Я внимательно смотрела на ее лицо, пытаясь определить, насколько она умна. Из-за полноты она казалась мне глупой — я тогда была склонна расценивать людей такого телосложения как идиотов, слабоумных, — но взгляд ее ясных синих глаз был острым, с той же странной косинкой, что у ее сына. Я видела их сходство — глаза, веснушки, полные губы. Женщина, казалось, нервничала, отдавая свое пальто Рэнди, пока я обыскивала ее. Моя ладонь с легким шлепком соприкоснулась с ее ягодицей, мягкой и широкой. Я подавила странное желание обнять ее и попытаться хоть немного успокоить. Она выглядела жалкой и грузной, словно свинья в ожидании мясницкого ножа.

— Готово, — сообщила я ей.

Она забрала у Рэнди пальто и села за стол напротив Леонарда — или Ли, как его называли. Взгляд у миссис Польк блуждал, мальчик же просто улыбался. Я переводила глаза с матери на сына. Если теория Ребекки об эдиповом комплексе была верна, возможно, я страшно ошибалась в том, какого рода женщин тогдашние мужчины считали привлекательными, потому что я никак не могла вообразить миссис Польк в роли той, за

кого можно было пойти на убийство. Хотя, может быть, Ли Польк был просто не в своем уме. Было невозможно сказать, о чем он думает. Его маска ни на миг не приоткрыла то, что пряталось за ней. Это не была моя каменная, невыразительная «посмертная маска», не была и личина застывшей бодрости, часто встречающаяся у домохозяек и других печальных и униженных женщин. Это не была маска злодея-головореза, надетая ради того, чтобы отпугнуть потенциальную угрозу обещанием жестокости и ярости. И это не была нежная маска застенчивости, которую надевают мужчины, притворяясь ужасно слабыми и чувствительными, готовыми сломаться от малейших трудностей. Ли носил странную маску спокойного удовлетворения, своеобразную в своей фальшивости, — потому что она почти не выглядела фальшивой.

Словно бы пытаясь удержаться от слез, миссис Польк закрыла глаза, сдавила пальцами переносицу и медленно выдохнула. Миг спустя она сложила руки на столе и открыла рот, чтобы заговорить. Но тут из коридора послышался громкий перестук шагов, заставивший нас всех прерваться и оглянуться. Это была Ребекка. Широкими шагами она направлялась прямо к нам. В одной

руке у нее был блокнот, в другой — сигарета. Миссис Польк, я и Рэнди застыли при ее приближении. Сначала она казалась просто зыбким силуэтом, потом — неким видением в облаке цвета лаванды, с массой рыжих волос, ниспадающих на плечи. Приблизившись, Ребекка молча и серьезно посмотрела на нас, и я увидела, что ее пальцы сжимают блокнот, словно лапки ящерицы, вцепившейся в камень. Отчего-то она была напряжена, хотя пыталась улыбнуться, однако ее выдавал нервозный блеск глаз. В конце концов, под всей этой красотой скрывалось человеческое существо, способное волноваться и нервничать. Это почему-то успокаивало меня. Затем до меня дошло, насколько спланированным было ее появление. Это она пригласила миссис Польк? Что сделала Ребекка с личным делом Леонарда? Она кивнула мне и Рэнди и встала между нами в проеме распахнутой двери, едва ли не прижимая к себе блокнот. Наблюдая за матерью и сыном, сидящими за столом, Ребекка делала какие-то записи, не глядя на бумагу и рассеянно стряхивая пепел на пол, когда сигарета дотлевала до ее пальцев.

Во время разговора миссис Польк старательно держала голову прямо. Не помню, что она ска-

зала сыну, однако там не было ничего важного. Что-то там о его двоюродных братьях и сестрах, может быть, что-то о деньгах. Мелочи, ерунда. Сын молчал. В какой-то момент миссис Польк печально вздохнула и устремила усталый взгляд в стену. Когда я попыталась из-под руки Ребекки посмотреть, что она пишет, это выглядело как детские каракули. Поскольку я никогда прежде не видела стенографии, я решила, что это просто бессмыслица, закорючки на бумаге, которые она рисует, чтобы притвориться, будто делает записи. Я этого не понимала. Когда доктор Фрай приходил наблюдать за визитами родственников, он никогда не делал пометок. Конечно же, я гадала, зачем Ребекке вообще понадобилось присутствовать здесь. Доктор Брэдли ни разу даже не выглянул в вестибюль.

Минута прошла в молчании. Мальчик смотрел на руки матери, которые та так и держала сложенными на столе. Потом миссис Польк подняла взгляд и посмотрела Ли прямо в глаза. Морщины на ее лице были длинными и мягкими, как будто это лицо когда-то было крупнее, а потом сдулось, оставив глубокие складки, похожие на траншеи. Она заплакала. Если я и слышала ее слова, то не запомнила их в точности, однако, я полагаю,

смысл их был таков: «Как ты мог так поступить со мной?» — и сказано это было тихо и без всякого выражения. Потом миссис Польк откашлялась, громко булькнув горлом. Когда она доставала из кармана бумажный платок, я заметила, что ладони у нее широкие, красные и обветренные. Высморкавшись, она, точно рассерженный ребенок, скомкала платок и резким движением сунула обратно в карман. В этот момент миссис Польк напомнила мне о моей матери и ее быстрых переменах настроения: та тоже могла в одну минуту смеяться и петь, а в следующую уже ругаться в подвале над грудой грязной одежды и яростно пинать стены. Это была двойственность такого же рода: голосом выражать одно, а жестами — совсем другое. Ребекка перестала царапать в блокноте и, перенеся вес на одну ногу, каблуком второй затоптала на полу окурок своей сигареты. Рэнди краем глаза поглядывал на эту бесстыдно, демонстративно выставленную вперед ногу — по крайней мере, мне так казалось. Ребекка держала карандаш в зубах, и, повернувшись к ней, я заметила, что кончик ее языка торчит между зубами, на которых, совсем рядом с резинкой на верхнем конце карандаша, виднеются пузырьки слюны. Этот вид приоткрытого рта — нежного, с

розовыми деснами и по-детски чистыми и красивыми зубами — причинил мне боль. Я сгорала от зависти. Конечно же, Рэнди предпочтет мне Ребекку. Ее было легко полюбить. Я старалась держать свою «посмертную маску», под которой лицо мое горело от ревности и стыда. Когда семь минут, отпущенных Ли на свидание, истекли, я постучала по косяку двери, и Рэнди жестом велел Ребекке отойти, чтобы миссис Польк могла выйти. Но сначала та уронила на стол несколько слезинок, а потом произнесла, больше для нас, чем для своего сына:

— Это я виновата.

Ли спокойно смотрел на часы.

Я проводила миссис Польк обратно в вестибюль, но, обернувшись, увидела, что Ребекка вошла в комнату посещений и скользнула в опустевшее гостевое кресло напротив Ли. Она заговорила с ним, и его улыбка угасла. Слушая, он все ниже опускал голову. Казалось, что между ними протянулась какая-то тесная связь, но как она могла возникнуть? Ребекка только что появилась в «Мурхеде», и вот она уже подается ближе к узнику, склоняет лицо к его лицу, многозначительно поднимает брови, а ее блестящие глаза ищут его взгляд. Я подвела миссис Польк

к конторке, протянула ей ручку и смотрела, как она выводит свое имя: Рита П. Польк. Почерк ее не был сердитым. Он был небрежным, безразличным — бестрепетным. Она не оглянулась на сына, только несколько раз моргнула, вздохнула, словно по окончании тяжелой работы, потом набросила на плечи пальто и вышла в коридор. Я представила, как эта женщина, вернувшись домой, вяжет крючком очередную кошмарную кофту, ругаясь и скрипя зубами всякий раз, когда упускает петлю. Мне было жаль ее. Я инстинктивно знала, что у миссис Польк, у этой вдовы, не было других детей.

Следуя протоколу, я жестом указала Джеймсу, чтобы вел следующего мальчика. Однако Ребекка все еще беседовала с Ли. Тот отвернулся от нее и положил на стол вытянутые руки. Неожиданно исполнившись отваги, я вошла в комнату, чтобы попросить их освободить помещение. Я отчетливо увидела слово, вытатуированное на пальцах Ли. «LOVE». Это глубоко обеспокоило меня. Я ничего не сказала, просто смотрела, как мальчик втянул носом воздух и раздраженно утер со щеки слезу основанием ладони. Ребекка положила руку ему на плечо. А потом второй рукой коснулась его колена под столом. На виду едва ли не у всех,

в моем присутствии, она осмелилась настолько приблизиться к мальчишке, касаться его, придвинуться к нему настолько, что он, всего лишь подняв взгляд, мог заглянуть в вырез ее блузки, мог бы коснуться губами ее губ. Я смотрела, не в силах поверить. Они что, не видят меня? Почему мальчик не ерзает в беспокойстве и не отстраняется? Казалось, его действительно все устраивает. Как же мне прервать их? Я уставилась в пол. Приведя следующего маленького заключенного, Джеймс легонько постучал по дверному косяку.

— Извините, — сумела выговорить я, — но нам нужно это помещение.

— Конечно, — отозвалась Ребекка, потом тихо сказала Ли: — Мы можем поговорить в моем кабинете. Хочешь кока-колы?

Ли кивнул.

— Я принесу тебя колы, — пообещала она. Когда они встали, вошел Рэнди с наручниками в руках. — О нет, — возразила Ребекка. — В этом нет необходимости.

Она взяла Ли за локоть и повела по коридору к своему кабинету. Джеймс, растерянный и смущенный, смотрел вслед, пока я не откашлялась и не указала на мальчика, стоящего рядом с ним. Я видела, что походка Ли стала спокойной и раз-

меренной. Это было очень странно, и это злило меня, потому что я не понимала, что произошло и почему Ребекка, похоже, обращает на Ли Полька куда больше внимания, чем на меня.

До самого окончания часов посещения я вновь и вновь проигрывала в памяти эту сцену: Ребекка, склонившаяся ужасно близко к мальчику, волосы рассыпались по спине и плечам — с такого расстояния Ли, вероятно, мог чуять запах ее шампуня, ее духов, ее дыхания, ее пота. Должно быть, она чувствовала, как он отзывается на ее близость, как под ее ладонью напрягается его плечо, как с каждым вдохом вздымается и опадает его грудь, какой жар исходит от него. Если б меня не было там, если б они были наедине, быть может, ее рука поползла бы вверх по внутренней стороне его бедра и нежно коснулась бы его интимных органов? Быть может, он отвел бы волосы с плеча Ребекки и вдыхал бы запах ее шеи, приоткрыв губы? Быть может, он поцеловал бы ее шею, обхватил бы ее лицо своими почти мужскими ладонями, провел бы пальцами — с надписью «LOVE» — по ее тонким запястьям, вверх по рукам и плечам к ее груди, целовал бы ее взасос, привлек бы к себе, ощутил бы всю ее, теплую и мягкую, в своих объятиях? Сделали бы

они всё это?

Я представляла себе все это, завидуя сначала Ребекке, потом Ли, переключаясь между ними, прикидывая, какую роль играл каждый из них, обижаясь на то, что меня предали, потому что я уже сочла Ребекку своей. Она была моим утешительным призом. Она была моим билетом на свободу. И ее поведение в отношении этого мальчишки ставило это все под угрозу. Быть может, этому Ребекку научили в Гарварде — завоевывать мальчишек посредством очарования и страсти, а затем вдалбливать им науки? Я пыталась думать, что это, возможно, некий новый способ, какого-то рода свободное мышление. Но чем больше я об этом размышляла, тем безумнее мне все это казалось. Что она говорила ему? Насколько они могли сблизиться за эти считаные дни? Что сказала или сделала Ребекка, чтобы завоевать доверие Ли? Я представляла, что происходит сейчас в кабинете Ребекки. Я хотела *знать*, что там происходит. Посетительницы проходили и уходили. Меня тошнило от ощущения покинутости — настолько я была склонна все драматизировать. Я полагала, что должна уйти сейчас, чтобы избавить себя от дальнейших горестей. Я снова фантазировала, как направлю «Додж» за край обрыва, на скалы у

океана. Разве это не будет великолепно? Разве это не способ показать им всем, что я была отважна и что я устала от необходимости следовать их правилам? Я предпочту умереть, чем оставаться с ними, быть среди них, ездить по их милым улочкам или работать в их милой тюрьме — нет, это не для меня. Я едва не плакала, стоя у дверей. Даже присутствие Рэнди, красивого, пахнущего сигаретным дымом и выделанной кожей, не могло подбодрить меня.

Но потом я увидела это — блокнот. Ребекка оставила его на подоконнике позади стола. И когда последняя посетительница ушла, я схватила его и направилась по коридорам к кабинету Ребекки, очень довольная тем, что нашла такой отличный предлог, чтобы заглянуть туда. Я надеялась, что Ли все еще там, с ней, и что я смогу захватить их с поличным. Не знаю, что я ожидала обнаружить, но я приложила ухо к двери, пытаясь расслышать вздохи и стоны, или что там издают люди, когда занимаются любовью. Но если они и занимались любовью, то делали это беззвучно, словно грабители банков или хирурги. Я не услышала ничего. И тогда я постучала в дверь кабинета.

— О, Эйлин, — прочирикала Ребекка, открыв дверь. — У тебя всё в порядке?

Я отступила на шаг, чувствуя себя ребенком, не вовремя обратившимся к взрослому. Потом протянула ей блокнот. Она взяла, поблагодарила меня и сказала:

— Надеюсь, ты не читала то, что там написано?

— Конечно нет, — ответила я. Я в любом случае не смогла бы этого сделать — ее каракули было совершенно невозможно разобрать.

— Я просто шучу, — рассмеялась Ребекка и прижала блокнот к груди. — Это моя книга тайн.

Она смеялась как-то по-особенному: голова чуть запрокинута назад, подбородок, гладкий, белый и твердый, точно вылепленный из фарфора, выдается вперед, глаза сначала прищурены в экстазе, потом распахиваются, широко и неистово — дьявольские глаза, прекрасные глаза, — затем лицо опускается, сияя весельем или насмешкой, я не могла сказать точно. Я повернулась, чтобы уйти, но она остановила меня, положив руку мне на плечо. От этого по моей спине пробежал холодок. Много лет никто так не прикасался ко мне. Я мгновенно простила ей то, что она изменила мне с мальчишкой Ли. Я слышала, как тот покашливает в кабинете.

— Скажи, — начала она, — ты не против выпить

что-нибудь сегодня вечером после работы? Я никого не знаю в этом клятом городке, и я хотела бы угостить тебя коктейльчиком, если ты захочешь.

Ребекка говорила это в такой неестественной, заученной манере, что я повела себя столь же неестественно. Люди обычно не говорят так: «скажи», «коктейльчик». Она казалась неискренней, да и была таковой. Она была ужасно манерной, и позже, оглядываясь назад, я чувствовала, что Ребекка оскорбила меня, выдав мне эту заученную речь. «Клятый». Но в тот момент мне показалось, что меня пригласили в изысканный мир красоты. Я была польщена. И смущена. Меня никогда не приглашали таким образом, и это было так же восхитительно и страшно, как услышать от кого-нибудь «я тебя люблю». Я была преисполнена признательности. Я даже не подумала об отце, о своих вечерних обязанностях, ни о чем. Я просто ответила:

— Ладно.

— Ладно? Я тебя принуждаю? — пошутила Ребекка. Она выпустила дверь, и та чуть-чуть приоткрылась. Я увидела Ли Полька, сидящего на стуле перед рабочим столом Ребекки и листающего большую книгу с картинками. Заметив меня, он поднял книгу, чтобы спрятать лицо.

— Я не против пойти выпить, — сказала я. — Быть может, в «О'Хара», часов в семь?

Я была потрясена тем, как легко эти слова слетели с моего языка. Я надеялась, что моя «посмертная маска» не выдаст меня, и молилась, чтобы мой голос не дрогнул. «О'Хара» был просто темным баром с твердыми деревянными скамьями — туда ходили большинство местных трудяг. Самыми частыми клиентами здесь были полицейские, пожарные и рабочие с верфи, от которых сильно пахло морской солью и потом. Две одинокие женщины в таком месте, как «О'Хара», должны были смотреться странно, если не хуже. Но я готова была рискнуть. Я была забитым ребенком, но не трусихой.

— Это единственный бар в городе, — добавила я.

— Звучит идеально, — прошептала Ребекка. Потом состроила игривую, лукавую гримаску. — Увидимся там. В семь, как штык, — так ведь выражаются? — И она закрыла дверь.

Это было… нечто. Вы же, наверное, помните, что я была — как вы назвали бы это — неудачницей, домоседкой, чудачкой. Я была ханжой. Я никогда не ходила в увеселительные заведения по вечерам. Даже в колледже мы могли ходить

на танцы только в сопровождении старших, а среди девочек в нашем общежитии считалось, что бродить по таким местам в одиночку может только шлюха, проститутка, грешница, похотливая, неблагодарная, ужасная девушка, подлинная угроза цивилизации. Даже ступить за порог такого заведения, как «О'Хара», означало навлечь на себя косые взгляды. Но если это делает Ребекка, я тоже сделаю это. Что мне терять? Я завершала работу достаточно рано, чтобы успеть доехать до дома и переодеться. Я решила, что мне нужно надеть платье, нанести макияж, найти духи матери. Прихорашиваться подобным образом, конечно же, было глупо. Если женщина одета слишком хорошо для окружающей обстановки — значит, она или чужая здесь, или не в своем уме.

Однако для меня это был бы не первый визит в «О'Хара». Бармен Сэнди был толстым медлительным мужчиной с глубокими шрамами от юношеских угрей; он носил на шее золотой крест и флиртовал с любой зашедшей в бар женщиной. Я бывала там множество раз — еще девочкой, когда мать, сидя в машине, посылала меня забрать отца, если после дежурства он слишком засиживался с коллегами-копами за кружкой пива. Позже я должна была сопровождать его

домой, когда он слишком напивался и отказывался от предложений коллег подвезти его. Я помню один осенний вечер, когда я приехала из колледжа на выходные, и мать отправила меня в бар забрать отца. Мы ехали домой по озаренным луной улицам; он положил голову ко мне на плечо и сказал, что я хорошая девочка, что он любит меня и сожалеет, что не может быть настоящим, хорошим отцом, которого я заслуживаю. Сначала это тронуло меня, но потом его ладонь коснулась моей груди. Я оттолкнула его. «Хватит дуться, Джоани», — произнес он, откидываясь на спинку своего сиденья. Я никогда и никому не упоминала об этом.

В тот день, прежде чем уйти из «Мурхеда», я допила вермут, хранившийся в моем шкафчике, потом заехала в винный магазин, чтобы купить джин и пиво для отца и еще одну бутылку вермута себе. Мне нужно было выпить перед тем, как встретиться с Ребеккой в «О'Хара» — настолько я нервничала. Дома я поставила пакет с выпивкой рядом с креслом отца — тот спал, прижавшись щекой к обивке, приподняв брови и сморщив нос; тело его под фланелевым халатом казалось неуклюжим, нелепо изогнутым. Я как можно тише проскользнула в душ. Скажу вам прямо: я

не была лесбиянкой. Но меня тянуло к Ребекке, я жаждала ее внимания и одобрения, я восхищалась ею. Это можно было назвать увлечением. На месте Ребекки вполне могли оказаться Марлон Брандо или Джеймс Дин, Элвис Пресли, Мэрилин Монро. В таком обществе любой нормальный человек захочет хорошо выглядеть и пахнуть. Я беспокоилась — что будет, если Ребекка решит придвинуться ближе ко мне, как придвинулась она к Ли? Вдруг она учует, что у меня месячные и что я не помылась? Вдруг она уже учуяла это, но не сказала ничего? Как мне понять, почувствовала она этот запах или нет, и как мне притвориться, будто я не знаю, что она это учуяла? Мои бедные интимные места… Готовность моего тела зачать ребенка казалась мне постыдной и вульгарной, и я чувствовала, что если Ребекка узнает о моей менструации, для меня это будет унижением. Я просто умру. С такими мыслями я терла свое тело мочалкой.

Выйдя из душа, я обмотала голову полотенцем и прислушалась к сопению отца, доносящемуся из кухни, надеясь, что я сумею выскользнуть наружу, ничего ему не объясняя. Самой дивной песней, которую я когда-либо слышала, была тишина в доме в тот вечер — лишь тихо пощел-

кивали батареи, да завывал снаружи ветер. Как обычно, я пошла одеваться к гардеробу матери, выбрав то, что, по моему мнению, выглядело хорошо: черное шерстяное платье с высоким воротником, с вышивкой из золотых листьев по кромке. Я причесала все еще влажные волосы, нанесла на губы новую помаду, натянула свежие краденые колготки, потом в замешательстве остановилась перед шкафчиком, полным обуви матери — на полразмера больше, чем у меня. У меня самой были только поношенные туфли и боты, поэтому я решила обуться в боты. Они придавали мне глупый и неуклюжий вид, но, в конце концов, была зима. Из верхней зимней одежды матери я выбрала черную пелерину с капюшоном, схватила свою сумочку, аккуратно прикрыла дверь и помчалась к машине. Было так холодно, что когда я вышла на подъездную дорожку, мои волосы уже смерзлись прядями. Они пощелкивали меня по ушам, словно мертвые насекомые, пока я вела машину с закрытыми окнами, стараясь пореже дышать. Я остановилась под разбитым уличным фонарем напротив «О'Хара», поправила помаду, глядя в зеркало заднего вида, и, оскальзываясь на льду, поспешила в бар.

Когда я открыла дверь в темное теплое помеще-

ние, Ребекка уже была там — сидела на высоком барном табурете, скрестив ноги, лицом к столу, за которым устроились четверо неопрятного вида молодых людей. Все они, казалось, немного потели, улыбались, по-юношески нервничали и потягивали пиво. На них были плотные шерстяные куртки в синюю, серую или красную клетку и вязаные шапки — или плотно сидящие на голове, или с клапанами, прикрывающими уши. Лица у них были красные и шершавые от ветра, солнца и холода. Все четверо слушали, как Ребекка рассказывает о чем-то — я не слышала о чем.

— О, Эйлин! — воскликнула она, прервавшись.

Ее голос прозвучал в дыму, перекрывая рождественские песни, которые играл музыкальный автомат — то ли Перри Комо, то ли Фрэнк Синатра, я не разбиралась тогда. Сидящие за столом мужчины замерли, все они смотрели на Ребекку, и никто — на меня, но я все равно чувствовала себя важной персоной, даже знаменитостью. Ребекка развернулась на барной табуретке, не обращая внимания на почитателей, и махнула мне рукой — как если б мы были подругами, наконец-то встретившимися после долгой разлуки, как если б она стояла, прислонившись к палубному ограждению романтического океанского

лайнера, и жаждала наконец-то наглядеться на меня и поговорить обо всем на свете. Ребекка пила мартини, и я присмотрелась к тому, как она держит бокал — тремя пальцами, оттопырив указательный и мизинец, словно на светском рауте. В «О'Хара» она была совершенно не к месту. Она была одета в тот же самый наряд, в котором была на работе, однако заплела волосы в косу. Пальто ее лежало поперек сиденья соседнего табурета. Когда я подошла, Ребекка опять развернулась, взяла пальто и переложила на другой стул, слева от нее, где уже лежала меховая шапка и кожаные перчатки.

— Я заняла для тебя место, — пояснила она, — на тот случай, если кто-то пожелает подсесть, понимаешь? Ну, присаживайся. Что будешь пить?

— Наверное, пиво, — ответила я.

— Пиво, как скромно, — отозвалась Ребекка.

Пиво для нее было чем-то эксцентричным. Было понятно, что она происходит из состоятельной семьи, настолько состоятельной, что ее не волнует мнение других. Ею двигало нечто иное, чем деньги, — личные ценности, я полагаю. Но хотя она обладала несомненной небрежностью и утонченностью представительницы высшего класса — или как минимум класса намного выше,

чем тот, к которому относилась я и завсегдатаи «О'Хара», — было в ней нечто приземленное. Ее волосы — такие рыжие, такие непокорные, полные дикой красоты, — мешали ей выглядеть снобом.

К нам направился Сэнди, вытирая руки кухонным полотенцем. Перекинув его через плечо, он облокотился на барную стойку и наклонился к Ребекке.

— И что теперь, красавица? — спросил он, не обращая на меня внимания.

Ребекка едва посмотрела на него. К моему удивлению, она положила руку поверх моей. Ее ладонь была горячей и легкой.

— О, звезды, ты же совершенно замерзла, — произнесла она. — И волосы у тебя мокрые… — Ребекка повернулась к Сэнди. — Одно пиво, пожалуйста и, наверное, немного виски, чтобы согреть мою девочку. Что скажешь, а? — Она посмотрела на меня и улыбнулась. — Я так рада, что ты выбралась сюда…

Ребекка чуть сжала мою ладонь и откинулась назад, как будто изучая меня; во взгляде ее искрилось веселье. Когда я сбросила свою пелерину, она откомментировала мой вид примерно так:

— О боже, ты выглядишь роскошно.

Я покраснела. Мой вид трудно было назвать роскошным. Она просто была добра ко мне, и это меня смутило. Я проглотила виски, поданный барменом.

— Я думала, найти это место будет трудно, но вот я здесь. — Ребекка указала на чучело рыбы-молота, висящее на стене. — Разве это не забавно? Хотя на самом деле немного грустно. Ну, впрочем, не так уж и грустно…

Она просто болтала ни о чем. Мужчины останавливались, прислонялись к стойке рядом с ней, но она словно бы не замечала их. Кто-то поставил на музыкальном автомате «Мистер Одиночество», песню Бобби Винтона. Я всегда ненавидела эту песню. Я пила пиво мелкими быстрыми глотками, а Ребекка жаловалась на холод, на обледеневшие дороги, на суровые зимы Новой Англии. Я была признательна за то, что просто могу сидеть здесь, быть рядом с ней и слушать ее болтовню.

Через минуту или две она посмотрела мне в лицо.

— Ты хорошо себя чувствуешь?

— О да, я в порядке, — ответила я. Ребекка выжидательно смотрела на меня, так что я решила, что нужно рассказать побольше, однако смогла

придумать только одну тему. — С моей машиной что-то не в порядке. Мне приходится ездить, открыв все окна, иначе она наполняется дымом.

— Звучит просто кошмарно. Выпей еще виски. Я настаиваю. — Ребекка махнула рукой Сэнди и указала на наши опустевшие стаканы. — А твой муж не может починить машину?

— А я не замужем, — сообщила я ей, смущаясь оттого, что Сэнди мог услышать меня. Но, конечно же, я не была замужем. Она просто дразнила меня.

— Я не хотела строить предположения. Некоторые люди странно относятся к холостяцкой жизни. — Ребекка говорила, аккуратно подбирая слова. — Лично я не вижу в этом большой проблемы. Я сама не замужем. — Она постучала ногтями по ножке своего бокала. — Брак меня попросту не интересует.

— Не говори этого тем парням, — сказала я, изумившись собственной храбрости. Я краем глаза посматривала на мужчин за столом — те перешептывались друг с другом, словно бы делясь мнениями или замышляя что-то. Все они с виду были мне знакомы — наверное, приятели Джоани, — но по именам я их не знала.

— Ты забавная, ты это знаешь? — продолжила

Ребекка. — Я всегда была одна. А когда рядом появлялся парень, это было просто для развлечения, к тому же ненадолго. Я никогда не задерживаюсь надолго — нигде и ни с кем. Это в некотором роде мой образ жизни или моя патология — зависит от того, с кем я разговариваю. — Она помолчала, глядя на меня, и спросила, широко раскрыв глаза в комическом ужасе: — С кем я разговариваю? С кем я болтаю?

— С Эйлин, — непонимающе отозвалась я, потом снова покраснела, осознав, что она просто подшучивает над моей молчаливостью.

Я была рада, что Ребекка не замужем и не собирается искать мужа. Именно так поступали в те дни девушки — охотились на мужей. Интересно, она вообще вышла впоследствии замуж или нет? Мне нравится представлять ее рядом с низкорослым, совершенно заурядным внешне мужем — скорее всего, евреем, — потому, как мне кажется, что именно это ей было нужно: кто-то умный, серьезный и нервный, на кого не произведут впечатления ее общительность и искрометное остроумие. Кто-то, способный контролировать ее.

Сэнди поставил перед нами новые напитки.

— Это все за мой счет, — сказала Ребекка, обво-

дя пальцем наши стаканы.

— За их, — поправил Сэнди, кивнув на мужчин за столом.

— О нет, — возразила Ребекка. — Не пойдет. Вот аванс.

Она бросила на стойку двадцатидолларовую купюру. Сэнди оставил бумажку лежать там, где она упала, и сделал Ребекке еще мартини — вероятно, второй мартини, который он делал в своей жизни.

Я отчетливо помню эти сцены и привожу их здесь потому, что мне кажется: они многое говорят о том, как Ребекка завлекала меня, как ей удалось завоевать мое доверие. Сначала она разожгла во мне ревность, потом старательно гасила ее. Полностью отвергая мужчин, собравшихся в баре, а затем и всех мужчин в целом, она успокоила мои подозрения о ее отношениях с Ли Польком и обуздала мой страх того, что она может отнять у меня Рэнди.

Ребекка пригубила свой напиток и ткнула пальцем в двадцатидолларовую банкноту, так и лежащую на стойке.

— Мужчины и их деньги. — Она точно знала, что нужно сказать. — Но довольно обо мне. Поговорим о тебе. Ты давно работаешь в «Мурхеде»?

— Три или четыре года. — Мне трудно было подсчитать. В присутствии Ребекки мое прошлое словно бы превращалось в ничто. — Это должна была быть временная работа. Я собиралась вернуться сюда ненадолго, пока моя мать была больна, — объяснила я. — А потом она умерла, а я осталась работать в тюрьме. И время просто пролетало мимо. — Я повысила голос так, чтобы он звучал бодро и небрежно.

— О нет. Боже мой. — Ребекка покачала головой. — Звучит просто чудовищно. Тюрьма — это не то место, где время летит. Святый Иисусе… А еще смерть твоей матери… Ты, должно быть, жаждешь уехать отсюда, верно?

— Я здесь всем довольна, — солгала я, делая глоток пива.

— Знаешь, я тоже сирота, — сообщила Ребекка. Я не стала поправлять ее и говорить, что мой отец еще жив. — Мои родители умерли, когда я была маленькой. Утонули. Меня вырастил мой дядя, в одном из западных штатов, где тепло и солнце. Мне никогда не понять, как вы тут живете — зиму за зимой. Просто кошмар — так темно, так холодно… Это просто сводит меня с ума.

Ребекка рассказывала об океане, о том, как любила гулять на побережье — в детстве она

часами играла на горячем от солнца песке, и все такое. Потом заговорила о своем переезде в Кембридж, как они с подругами участвовали в гонках гребных лодок на реке Чарльз. Она любила зеленую листву и историю, посмеивалась над интеллектуалами — «занудами», — говорила, что у нее «случился странный роман с Новой Англией». И ни разу не упомянула о своей учебе в Гарварде. Она вообще ничего не сказала о своей профессии.

— Здесь все кажется очень настоящим, верно? Просто нет места фантазии. И сентиментальности тоже. Это завораживает меня. Здесь есть история, есть гордость, но очень мало воображения.

Я просто слушала. Виски, пиво и Ребекка рядом, и я не намеревалась возражать тому, как она оценивала это место — мою родину. Я просто кивала. Но, конечно же, она была совершенно не права. Конечно, мы, жители Новой Англии, были чопорны, но при этом сильны разумом. Мы эффективно использовали свое воображение. Мы не тратили наш ум на волшебные побасенки и бесполезные выкрутасы, но способность фантазировать у нас была. Я могу привести в пример бесчисленное множество мыслителей, писателей и художников. В конце концов, была еще я. Я

была там. Но я почти ничего не сказала. Просто молча сидела, покачивая ступней в такт музыке. Через некоторое время Ребекка сказала:

— Извини. Я слишком много выпила. Пьяная, я обычно слишком много говорю.

— Всё в порядке, — отозвалась я, пожимая плечами.

— Лучше, чем говорить слишком мало, — добавила она, подмигивая мне. — Я просто шучу. — Развернулась на своем барном табурете, задев мои ноги, и я даже не успела обидеться на нее. — Вот Леонард Польк — тот настоящий молчун. Ты видела его сегодня?

Я кивнула. Мне показалось странным такое совпадение: то, что Ребекка заинтересовалась Ли Польком именно тогда, когда в «Мурхеде» неожиданно появилась его мать, но мне казалось, что я не вправе задавать вопросы. В конце концов, я была просто делопроизводителем.

— Как тебе его сегодняшнее свидание с матерью? — спросила Ребекка. — Странное, как, по-твоему? — Она прищурилась, глядя на меня.

Я опять пожала плечами. Полагаю, я все еще чувствовала себя неловко из-за того, что подглядывала за мальчиком в карцере. Даже когда я вспоминала то, что видела, когда смотрела в то

маленькое окошко, мое сердце начинало биться чаще: руки, движущиеся под формой, сонно прикрытые глаза… Даже тогда это возбуждало меня. Позор от возбуждения, возбуждение от позора.

— Не знаю, — начала я. — Может быть, он молчал потому, что не мог сказать ничего хорошего. Знаешь, как учат маленьких детей: если не можешь сказать ничего хорошего, лучше ничего не говори.

— Так учат детей? — Ребекка поморщилась от отвращения. — Что ж, а я гадала, что Ли, возможно, что-то скрывает или решил дать обет молчания в знак протеста против одиночного заключения… Или, может быть, он просто хотел помучить свою мать, причинить ей боль, потому что у него не было возможности перерезать горло и ей? Знаешь, я целиком прочитала его дело.

— Полагаю, в этом есть некий смысл, — кивнула я. — Нет ничего хуже, чем когда кто-то не желает говорить с тобой. Меня, по крайней мере, это злит.

Я не поведала ей о том, как мой отец мог молчать целыми днями, не обращая на меня внимания, глядя сквозь меня, точно я была невидимкой, и не говоря ни слова, как бы я ни умоляла его ответить мне. «Что я сделала не так? Скажи,

прошу тебя!» Но Ребекка не стала выспрашивать у меня подробности.

— Как ты считаешь, миссис Польк разозлилась? — спросила она.

— У нее был расстроенный вид. Эти матери — они всегда расстроены, — ответила я ей. Я не могла понять, к чему клонит Ребекка.

— Быть может, он молчал ради ее блага. Это могло быть милосердное молчание, понимаешь, что я имею в виду? — Она задумчиво склонила голову набок, всматриваясь в мое лицо в поисках ответа. Я не могла уследить за ее мыслью, однако кивнула и попыталась улыбнуться. — Тайны и ложь? — продолжила Ребекка, макнув палец в свой напиток и облизав его. — Я скажу тебе, милая, — произнесла она. Я покраснела. — Некоторые семьи настолько больны, настолько извращены, что единственный способ для кого-то вырваться оттуда — это умереть.

— Мальчишки есть мальчишки, — все, что я смогла сказать. Ребекка только засмеялась.

— То же самое сказал сегодня вечером начальник, когда я спросила его о Леонарде.

Это удивило меня. Она допила свой мартини, потом развернулась на стуле, снова оказавшись лицом к столу, за которым сидели мужчины, и

раскурила сигарету; ее поза стала угловатой и соблазнительной. Ребекка выпустила длинную струю дыма в низкий потолок.

— Я спросила Леонарда, — начала она высоким голосом, с прищуром глядя на мужчин, которые подобрались, вытирая губы и чего-то ожидая, — за что его на столько дней заперли в карцере, как вы это называете. И он сказал то же самое, Эйлин. — Она коснулась рукой моей ноги и просто оставила там, как будто ее ладони было самое место на моем колене. — «Мальчишки есть мальчишки». Держу пари, это как-то относилось к сексуальному вопросу. К чему-то извращенному. Они не любят говорить нам, женщинам, о подобных вещах. Но у Леонарда такой вид… Ты понимаешь, что я имею в виду? — спросила она.

Конечно же, я была шокирована. Но точно знала, что она имеет в виду. Я наблюдала за этим «видом» накануне через окошко карцера.

— Понимаю, — ответила я ей.

— Я так и думала, что ты сможешь понять, — сказала она, подмигнув, и сжала мое колено.

— Как, ты сказала, тебя зовут? — прокричал один из мужчин, прерывая наш личный разговор. Ребекка подняла руку и прижала ее к груди, вид у нее был сконфуженный.

— Как меня зовут? — переспросила она, скрестив ноги уже по-другому. Мужчины заерзали на лавках, глядя выжидательно, словно молодые псы. — Я Эйлин, — сообщила она. — А это моя подруга. — Ее рука нашарила мою ладонь, все еще холодную, как лед, и вялую. — Вы знакомы с моей подругой?

— А как тебя зовут, красавица? — спросил один из них у меня.

Даже не знаю, как описать вам, насколько весело было сидеть там с Ребеккой и видеть перед собой мужчин, ждущих нашего приказа. По крайней мере, так это выглядело.

— Скажи мальчикам, как тебя зовут, детка, — поощрила Ребекка. Когда я посмотрела на нее, она подмигнула. — Моя подруга сегодня ужасно застенчива. Не будь такой застенчивой, Ребекка. Эти мальчики не кусаются.

— Если только нас не попросить, — отозвался первый мужчина. — Только вот у Джерри нет парочки зубов. Покажи им, Джерри.

Джерри, сидевший рядом со мной, задрал верхнюю губу, открывая смешную дырку на месте зубов.

— Расслабься, — сказал первый, похлопывая его по плечу.

— Как это вышло, Джерри? — поинтересовалась Ребекка. Сэнди поставил на стойку еще выпивку для нас. Я была не особо устойчива к алкоголю, однако если уж начинала пить, то остановиться было трудно. Вероятно, к тому моменту я уже была пьяна. — Ты подрался со своей женой? — поддразнила Ребекка.

Мужчины рассмеялись.

— Именно так. Ты верно угадала. У его старухи рука тяжелая, как у Джо Фрейзера.

— О боже. — Ребекка покачала головой, повернулась, чтобы взять свой мартини и исподтишка подмигнула мне. — За Джерри, — провозгласила она, поднимая свой бокал. Остальные поддержали тост криками, и когда все припали к своим стаканам и умолкли, я огляделась по сторонам, дивясь своему новому положению в этом мире. Я была леди, меня уважали и почитали.

— Скажите, джентльмены, — продолжила Ребекка, — кто-нибудь из вас знает, как чинить сломанную выхлопную трубу? Вы все выглядите настоящими умельцами.

— У тебя проблемы с машиной? — спросил Джерри, шепелявя, как двенадцатилетка.

— Не с моей машиной, — отозвалась Ребекка. — С машиной моей подруги. Скажи им.

Я покачала головой, укрывшись за стаканом с пивом.

— Как, ты сказала, тебя зовут, милая? — спросил кто-то из мужчин.

— Ребекка, — ответила я.

Ребекка засмеялась.

— Хочешь потанцевать, Ребекка? — спросила она меня.

Словно по волшебству, музыкальный автомат снова заиграл. Я поставила стакан на стойку. Не могу сказать, откуда у меня неожиданно взялась отвага для танца. Я никогда не танцевала. Конечно же, я была пьяна, но меня все равно потрясает то, как легко Ребекке удалось стащить меня с табурета. Я последовала за ней на маленький пятачок перед музыкальным автоматом, взяла ее за руки и позволила ей вести меня. Я хихикала и останавливалась каждые несколько секунд, пряча лицо от смущения и веселья, в то время как мы топтались на месте, покачивая бедрами и плечами. Мне казалось, что мы танцевали целый час, сначала под быструю, радостную мелодию, сопровождая ее смехом, потом вальсировали под медленные любовные песни — сперва иронически, потом погрузившись во всеобъемлющий, захватывающий ритм музыки. Я неверяще смот-

рела в безмятежное, задумчивое лицо Ребекки; ее глаза были прикрыты, руки лежали на моих плечах, словно ангел и дьявол, спорящие о логике желания. Мы с Ребеккой двигались в танце по маленькому кругу, и я держала ее за талию, так что мои запястья лишь слегка прижимались к ее телу. Напряженные ладони я отвела наружу, чтобы не коснуться ее. Мужчины за столом сначала смотрели завороженно и с интересом, но затем их это утомило. Никто из них даже не попытался потанцевать с нами. К тому времени, когда музыка закончилась, у меня кружилась голова. Мы с Ребеккой вернулись на свои места, к своим напиткам. Все еще пребывая в состоянии нервного транса, я проглотила виски и допила пиво.

— С меня хватит, — сказала Ребекка и оттолкнула бокал с мартини. Я осушила и этот бокал. Мартини был с джином.

Подошел Сэнди и стал отсчитывать сдачу Ребекке.

— Как папа? — поинтересовался он.

— Это твой брат? — шокировано спросила Ребекка.

— Нет, он просто знает моего отца, — объяснила я.

— О, эти маленькие города, — ухмыльнулась

она.

Я никогда не доверяла Сэнди. Он казался ужасно любопытным. В моем повествовании он не играет особой роли, но просто для протокола: его звали Сэнди Броган, и мне он не нравился. Он сказал что-то вроде:

— Не знаю, хорошо ли, что он сюда больше не ходит, или дело в чем-то другом.

— Дело в чем-то другом, — ответила я и снова набросила пелерину, натянув капюшон на голову. Я чувствовала себя абсолютной нахалкой. — Можно у вас сигаретку взять?

Сэнди встряхнул пачку, протянул мне, и я вытащила одну сигарету. Он поднес мне прикурить.

— Крутая девушка, — прокомментировала Ребекка.

— Она хорошая девочка, — подтвердил Сэнди, кивая. Он был глуповат.

Я неловко закурила, держа сигарету, словно девятилетка: ладонь напряжена, пальцы вытянуты, скошенные глаза устремлены на горящий кончик, когда я подносила сигарету к губам. Я кашляла, краснела и смеялась вместе с Ребеккой, которая держала меня за локоть. Мы вышли из бара под руку, не обращая внимания на мужчин.

На улице Ребекка повернулась ко мне. Темная,

ледяная ночь искрилась позади нее, снег и звезды образовывали целую галактику надежды и чудес, и она была в центре этой галактики. Она была такой живой и красивой.

— Спасибо, Эйлин, — произнесла Ребекка, странно глядя на меня. — Знаешь, ты напоминаешь мне какую-то картину голландских мастеров. — Она посмотрела мне прямо в глаза. — У тебя странное лицо. Необычное. Простое, но пленительное. В нем скрыта прекрасная тревожность. Мне это нравится. Наверняка у тебя есть прекрасные мечты. Держу пари, ты мечтаешь о других мирах. — Она вскинула голову и засмеялась тем самым зловещим смехом, потом нежно улыбнулась. — Может быть, ты мечтаешь обо мне и моем утреннем раскаянии, на которое ты вполне можешь рассчитывать… Мне не следует пить, но я пью. Се ля ви.

Я смотрела, как Ребекка садится в машину — двухдверный автомобиль черного цвета, это все, что я помню, — и уезжает прочь.

Но я пока не хотела возвращаться домой. Ночь была юна, я была любима. У меня наконец-то появился кто-то важный. Поэтому я вернулась в «О'Хара», прошла мимо того же стола, за которым мужчины пили, смеялись и хлопали ладонями по

столу, расплескивая пиво. Я взгромоздилась на тот табурет, на котором сидела Ребекка, ощущая намек на сохранившееся тепло ее тела. Сэнди придвинул ко мне пепельницу, положил на стойку рядом с моей ладонью, красной от холода, коктейльную салфетку.

— Виски, — сказала я и загасила сигарету.

Следующее, что я помню, — это то, как я проснулась утром, лежа лицом на рулевом колесе своей машины, которую припарковала наполовину в сугробе перед своим домом. На сиденье рядом со мной красовалась замерзшая лужица рвотных масс. Мои колготки были все в затяжках и «дорожках». В зеркале заднего вида я увидела свое отражение: я была похожа на сумасшедшую — волосы торчат во все стороны, помада размазана по подбородку. Я подышала на свои замерзшие руки, выключила фары. Когда я потянулась за ключами, их не было в замке зажигания. Я где-то потеряла свою пелерину, багажник машины был открыт, моя сумочка исчезла.

Среда

Дом был заперт. Через окно я видела, что мой отец спит в своем кресле, а дверца холодильника открыта. Он иногда оставлял ее так, когда из-за жара от плиты и духовки его прошибал пот. На ногах у отца были ботинки. За исключением воскресений, когда его сестра сопровождала его в церковь и обратно, уличная обувь на ногах у отца означала неприятности. Он не представлял особой угрозы для окружающих, но вытворял вещи, которые мой начальник назвал бы морально недопустимыми: засыпал на лужайке перед чьим-нибудь домом, мял открытки на стойке в магазине, переворачивал автомат по продаже жвачки. В более агрессивном варианте отец мочился в песочницы на детской площадке, кричал на проезжающие машины на Мэйн-стрит, кидал камнями в собак. Каждый раз, когда он выбирался из дома, полиция отыскивала его, забирала и приводила обратно. Я съеживалась от звука дверного звонка, когда на крыльце появлялся иксвиллский коп, сопровождающий моего отца — пьяного, в буквальном смысле окосевшего,

тянущего себя за подбородок. Когда я открывала дверь, полицейский снимал фуражку и разговаривал приглушенным тоном, в то время как отец вваливался в дом в поисках спиртного. Если же вместо этого он решал остаться и принять участие в разговоре, они пожимали друг другу руки, похлопывали друг друга по плечам, делая вид, что глубоко ценят и уважают один другого. «Рутинная проверка, сэр», — говорил коп. Если же он пытался выразить хотя бы малейшую обеспокоенность, отец отводил его в сторону и начинал жаловаться на «шпану», на бандитов, на странные звуки в доме. Он жаловался на плохое здоровье, на проблемы с сердцем, на боль в спине и на то, что я, его дочь, пренебрегаю им, дурно обращаюсь с ним, что мне нужны только его деньги. «Кто-нибудь велит ей отдать мне мои ботинки? Она не имеет права!» Когда он оборачивался ко мне и тянул трясущиеся руки к моей шее, коп кивал, разворачивался и уходил, прикрыв за собой дверь. Ни у кого из них не хватало духу спорить с его бредом: вампиры и гангстеры, призраки и бандиты. Мне кажется, они спустили бы ему с рук даже убийство. «Лучшие люди Америки», тюремные стражи цивилизованного мира — вот кем были эти полицейские. Скажу вам прямо:

по сей день ничто не пугает меня так, как коп, стучащий в мою дверь.

В то утро я звонила и звонила в дверь, но отец даже не пошевелился. Я полагала, что ключи были в кармане его халата или, хуже того, висели у него на шее, так же, как их носила я; но я и подумать не могла, что он их все-таки украдет. В тот день я могла бы пойти на работу пешком, это верно. Никто в офисе даже не взглянул бы лишний раз на то, как я одета. Всем было плевать.

Я обошла дом и попыталась открыть дверь в погреб. Склонившись, я тянула за скобу, и от усилия к горлу подкатывала отрыжка. Это утро нельзя было назвать приятным. Нет ничего отвратительнее, чем проснуться со вкусом рвоты во рту. Голыми руками я отломила слой наста, покрывавшего глубокий сугроб, и сунула в рот горсть снега. У меня сразу же заболела голова. Наверное, именно тогда мне вспомнился предыдущий вечер: Ребекка, Сэнди, то, как я вышла из бара и вернулась туда снова. Помню, как я сидела за столом, как пламя нескольких спичек колыхалось над кулаками, протянутыми, чтобы я могла прикурить свой «Салем», как колкая шерсть моего платья или грубого мужского свитера натирала мне шею, как я упала со скамьи

и засмеялась. «Ребекка», — произнес кто-то, и я отозвалась: «Да, куколка?» На одну ночь я стала Ребеккой. Я стала кем-то совершенно иным.

Сейчас ночь, проведенная за выпивкой, убьет меня. Не знаю, как я выдержала это тогда, хотя я уверена, что стыд и позор были куда хуже, чем похмелье. Я отбросила прочь разрозненные воспоминания и попыталась проникнуть в дом. Дверь погреба, конечно же, была заперта. Я подумывала о том, чтобы выбить стекло в заднем окне каблуком своего бота, однако сомневалась, что смогу дотянуться и отпереть изнутри замок на двери черного хода. Мне представилось, как я режу руку о разбитое стекло, и кровь разбрызгивается по снегу. Отец, несомненно, не будет злиться на меня, если я до смерти истеку кровью на заднем дворе. От воображаемой картины окропленного кровью снега мой желудок подкатил к горлу, и я согнулась в приступе тошноты, но из горла выплеснулось лишь немного желтой желчи. В голове застучало, когда я вспомнила застывшую кучу рвотных масс, ждущую меня в машине. Я вытерла рот рукавом платья.

Когда я вернулась на крыльцо дома и снова позвонила в дверь, я увидела, что отца в кресле нет. Он прятался от меня.

— Папа? — позвала я. — Папа?

Я не могла кричать слишком громко, иначе меня услышали бы соседи. И учитывая, что было утро, матери собирали детей в школу, а мужчины уезжали на работу, они скоро увидели бы наш старый «Додж», зарывшийся в сугроб. С машиной все было в порядке, однако человек, паркова-вший ее, явно был не в себе.

Мы, Данлопы, уже считались среди соседей не совсем нормальными. Даже репутация моего отца как полицейского — выдающегося граждани-на, послужившего своей стране, — не могла перевесить тот факт, что в последние годы на-шу лужайку никто не стриг, а изгородь никто не подстригал. Я уверена, что пару раз за лето изгородью занимался сосед, но это скорее было жестом уважения к прежним заслугам старика и сочувствия ко мне, костлявой девице, оставшейся без матери и почти не имеющей шансов на заму-жество. Наш дом был единственным в квартале, где на кустах не сверкали рождественские гир-лянды, в гостиной не переливалась огоньками праздничная елка, а на двери не висел венок. Я покупала лакомства к Хеллоуину, но дети нико-гда не звонили в нашу дверь. В конце концов я лакомилась сладостями сама, на чердаке, жуя и

выплевывая их. Все наши соседи нравились мне не больше, чем моему отцу, — ни лютеране, ни кто-то еще, невзирая на все их подарки и услуги. Я считала их благочестивыми ханжами и думала, что они осуждают меня за то, что я такая молодая и неряшливая, и за то, что моя машина пускает дым на весь квартал, когда я завожу ее. Но я не хотела, чтобы их мнение о нас стало еще хуже. Я не хотела давать еще больше оснований для сплетен. Мне нужно было вывести машину на подъездную дорожку, прежде чем ее местонахождение насторожит кого-то. Вот о чем я думала. И еще мне надо было очистить сиденье от рвоты, прежде чем мой отец увидит это.

Но, конечно же, он уже это видел. Полагаю, он ждал меня еще с вечера, и после того как я отрубилась, вышел и вытащил ключи из замка зажигания. До меня мгновенно дошло: в эту ночь он спас меня от отравления окисью углерода. Вполне возможно, он не дал мне умереть. Кто знает, работал ли двигатель, когда отец пришел, чтобы забрать ключи. Это вполне возможно. Когда я пришла в себя, окна машины были закрыты. Быть может, он просто хотел украсть свои ботинки из багажника и именно поэтому взял ключи. И все-таки мне хочется думать, что каким-то

образом его отцовский инстинкт — его желание защитить меня, спасти мне жизнь — сработал в ту ночь, взяв верх над его безумием и его эгоизмом. Я предпочитаю убеждать себя в этом, а не верить в удачу или совпадение. Этот путь «магического мышления» всегда проходит слишком близко к краю. В любом случае я была благодарна за то, что осталась жива, и это было хорошо. Сначала меня страшило то, что может сказать отец, чего он может потребовать в благодарность за спасение моей жизни. Но потом я подумала о Ребекке. Теперь, когда у меня была она, мне не нужно было вымаливать милость своего отца. Он мог орать и плакать, но это не причинило бы мне боли. Я думала, что в конце концов нашелся человек, который полюбил меня.

Я снова попыталась стучать в дверь, но отец по-прежнему не отвечал мне. Я вскарабкалась на чугунный поручень, тянущийся параллельно кирпичным ступеням, спрыгнула за окаймлявшие дом кусты и заглянула в окно гостиной. Эти окна не мыли годами. Я стерла небольшой участок инея, но изнутри стекло было покрыто толстым слоем пыли. Я едва могла видеть что-то сквозь него. Однако мне удалось разглядеть отца в странном виде — выше пояса он был обнажен,

его тощее хрупкое тело было напряжено, когда он медленно крался мимо окна гостиной с бутылкой в руке. Несмотря на худобу, он сумел отрастить маленькие груди, похожие на женские. Когда отец повернулся, я заметила на его бледной спине длинные багровые синяки. То, что он так долго ухитрялся оставаться в живых, свидетельствовало о его упрямстве. Я постучала кулаком по стеклу, но он просто отмахнулся и пошел дальше. В конце концов я влезла в дом через грязное окно гостиной, как ни странно, оказавшееся незапертым.

Я знала, что я взрослая. Меня не касался никакой «комендантский час». Не было никаких официальных правил домашнего распорядка. Была только деспотическая ярость моего отца, и когда он приходил в эту ярость, то успокаивался лишь тогда, когда я соглашалась с любым диким, унизительным наказанием, которое он мне назначал. То он запрещал мне заходить на кухню, то приказывал в дождь идти до «Ларднера» и обратно пешком. Худшее преступление, которое я могла совершить в его глазах, — это сделать что-то для своего удовольствия, что-то, выходящее за пределы моих дочерних обязанностей. Проявления собственной воли расценивались

как страшнейшее предательство. Я была его сиделкой, его помощницей, его служанкой. Однако все, что ему было действительно нужно, — это джин. В доме редко не водилось спиртного — как я уже говорила, я была хорошей девочкой, — но почему-то все, что я делала, само мое существование, раздражало его. Даже мои журналы «Нэшнл джиогрэфик» давали ему повод обвинить меня в неправильности. «Коммунистка», — называл он меня, поглядывая на страницы. В то утро я знала, что он зол. Но не боялась. Я стояла на коврике в прихожей, и с моих ботов стекал снег.

— Эй, — окликнула я отца, — ты не видел мои ключи?

Он вышел из чулана с клюшкой для гольфа в руках, протопал вверх по лестнице и уселся на верхней площадке. Когда отец был действительно разгневан, он становился очень тихим — затишье перед бурей. Я знала, что он ни за что не попытается убить меня. Он на самом деле не был на это способен. Однако в то утро отец выглядел трезвым, а когда он был трезв, он был особенно зол. Я не помню точно, что мы сказали друг другу, пока он сидел там, стуча клюшкой по балясинам перил, но помню, что я прикрывала лицо ладонями, на тот случай, если он швырнет

в меня этой клюшкой.

— Папа, — снова спросила я, — где ключи?

Он поднял одну из книг, лежащих вдоль стен в коридоре, и бросил ею в меня. Потом зашел в спальню матери, стащил с кровати подушку и тоже кинул вниз.

— Располагайся поудобнее, — заявил отец, снова усаживаясь на верхнюю ступеньку. Он стучал своей клюшкой по опорам перил, словно тюремный охранник дубинкой — по железной решетке. — Ты никуда не пойдешь, пока не прочтешь эту книгу от корки до корки. Я хочу услышать каждое слово.

Это был «Оливер Твист». Я взяла книгу, открыла на первой странице, откашлялась, но остановилась. Неделей раньше я подчинилась бы и прочла бы несколько страниц, прежде чем он захотел бы выпить. Однако в тот день я просто отложила книгу. Помню, как я смотрела на него снизу вверх, все еще прикрывая лицо руками. К сожалению, даже сквозь пальцы я увидела его поросшую седыми волосами мошонку, выглядывающую из смятой в гармошку штанины широких застиранных семейных трусов.

— Ты видел ключи от машины? — спросила я. — Я опоздаю на работу.

Все его тело, казалось, раздулось от ярости. Обут он был в поношенные черные «оксфорды».

— Где-то шлялась всю ночь, едва не разбила машину, уснула в собственной блевотине, а теперь волнуешься о том, чтобы вовремя попасть на работу?

Его голос был зловеще ровным и угрюмым.

— Я едва могу на тебя смотреть, так мне стыдно. Оливер Твист был бы благодарен за возможность жить в таком доме, в таком славном доме. Но ты, Эйлин, похоже, считаешь, что можешь уходить и приходить когда хочешь… — Он умолк, закашлявшись.

— Я гуляла с девушкой с моей работы, — сообщила я ему. Было ошибкой открывать ему это, но, полагаю, я была ужасно горда этим фактом и хотела швырнуть это ему в лицо.

— С девушкой с работы? Ты что, думаешь, я вчера родился?

Я не хотела защищаться. Прежде я умоляла бы его о прощении, делала бы все, чтобы ублажить его, плакала бы «прости», упав на колени. Я преуспела в подобных театральных сценах, но его удовлетворяло только мое полное самоуничижение. Однако в то утро я не намеревалась опускаться до подобного.

— Ну, — потребовал отец, — кто он? Я хочу хотя бы встретиться с этим типом, прежде чем ты окончательно падешь и отдашь душу Сатане.

— Послушай, где мои ключи? Я опоздаю.

— Ты никуда не поедешь в таком виде. Я серьезно, Эйлин. Как ты посмела? Это платье твоя мать надела на похороны моего отца. У тебя нет ни малейшего уважения ко мне, к твоей матери, вообще ни к кому, и менее всего — к себе самой.

Отец выпустил клюшку и сам вздрогнул от грохота, с которым она скатилась по ступенькам. Потом его затрясло. Он подложил под себя ладони и склонил голову, проскулив:

— Дрянь, Эйлин, ты просто дрянь.

Мне казалось, он сейчас расплачется.

— Я привезу тебе выпить, — пообещала я.

— Как его зовут, Эйлин? Назови мне имя этого парня.

— Ли, — ответила я, почти не думая.

— Ли? Просто Ли? — Он подмигнул и стал насмешливо покачивать головой из стороны в сторону.

— Леонард.

Отец стиснул зубы так, что на подбородке запульсировала вена, и потер ладони.

— Теперь ты знаешь, — сказала я, отведя ла-

дони от лица, как будто моя ложь сама по себе могла защитить меня от гнева отца. — Ключи?

— Ключи в моем халате, — ответил он. — Быстро иди переоденься. Не хочу, чтобы кто-то видел тебя в таком наряде. Все решат, что я умер.

Я нашла его халат скомканным, в пустом камине. Достала ключи, откопала свою сумочку в куче мусора возле входной двери, надела пальто и вернулась к машине. Рвота уже начала подтаивать, край лужицы коснулся ремня безопасности. Это было ужасно. Запах въелся во все, что на мне было, и мое пальто пахло блевотиной еще долго после того, как несколько дней спустя я бросила «Додж» и скрылась. Я совершенно не собиралась ехать в винный магазин, который все равно еще был закрыт в такую рань. Но мне нужно было высвободить из сугроба переднюю часть машины. Это потребовало усилий. Может быть, в ту ночь отец и спас мне жизнь, однако о моем здоровье он явно не заботился. Он мало на что был способен, я это знала. В тот единственный раз, когда я попросила его не дразнить меня, он расхохотался, а на следующее утро изобразил сердечный приступ. Когда приехала «Скорая», он сидел на диване и курил сигарету. Медикам он сказал, что чувствует себя отлично. «У нее

месячные или типа того», — заявил им отец. Они пожали ему руку и уехали.

Выведя машину из сугроба, я поехала обратно в «О'Хара». Если б я была умнее, то сбежала бы уже тогда. Я могла бы просто умчаться в это морозное утро и быть свободной женщиной. Кто мог меня остановить? Но я еще не могла уехать. Я не могла покинуть Ребекку. Я припарковалась перед баром и вошла внутрь.

Там было темно, как всегда, только тонкие лучики света пробивались через потрескавшуюся черную краску на оконных стеклах над дверью. От запаха несвежего пива мой желудок перевернулся. Сэнди стоял за стойкой и пил воду из стакана.

— Можно купить бутылку джина? — спросила я.

— Ты вернулась, — сказал он. Его улыбка возмутила меня. У него был такой вид, словно он разговаривает с несмышленым ребенком. Вот ведь подлец!

— Моему отцу нужно выпить, — пояснила я.

— Вы, девушки, выпили вчера вечером весь джин, какой у меня был, — хмыкнул Сэнди. — Твой отец сможет в это поверить, а?

— А еще что-нибудь можно купить?

— У меня есть джин, девочка, — отеческим тоном ответил Сэнди. Сделав пару шагов, он наклонился и на миг скрылся из глаз, потом вынырнул с бутылкой «Гордона» в руках. — Считай это подарком на Рождество. Твоему отцу, не тебе. Ты заслуживаешь лучшего. Только сначала выпей со мной. — Сэнди поставил на стойку две стопки, резким поворотом запястья вскрыл бутылку — когда он срывал колпачок, раздался хруст, словно от ломающихся костей. — Одна порция вместе со мной, и все остальное — твое. — Он толкнул стопку ко мне. Я быстро проглотила ее содержимое. Жгучий вкус по крайней мере перебил привкус желчи у меня во рту. — Хорошая девочка, — похвалил меня Сэнди.

Протягивая мне бутылку, он другой рукой попытался погладить меня по лицу. Я отшатнулась.

— Скажи своему отцу, что это от меня, ладно?

— Скажу, — пообещала я.

— Спасибо.

Это был последний раз, когда я видела его. В последующие годы я иногда гадала, какие воспоминания о Сэнди остались похоронены в моей памяти с той ночи. Быть может, о его толстых, заляпанных пивом пальцах, щупающих меня,

быть может, о его губах на моей коже, о его несвежем, отвратительном языке, проникающем в мой рот… Кто знает? Сэнди, где бы ты ни был погребен, надеюсь, ты не сделал ничего дурного. А если и сделал, я уверена, что ты каким-то образом за это заплатил. Все в итоге платят.

* * *

Когда я вернулась домой и поставила бутылку на кухонный стол, отец, казалось, спал в своем кресле, но не успела я уйти, как он подскочил и сцапал меня за запястье.

— Леонард, ты сказала? Какой Леонард?

— Польк, — тупо ответила я.

— Польк, — повторил отец. Я буквально видела, как ворочаются у него в мозгу ржавые шестеренки. Он потряс головой. — Я его знаю?

— Сомневаюсь — отозвалась я, выворачиваясь из его некрепкой хватки и взбегая вверх по лестнице. Там я с облегчением услышала, как он с хрустом сорвал колпачок с бутылки джина. Полагаю, все воспоминания об этом диалоге мгновенно выветрились из его памяти. Он больше никогда не упомянул имени Полька, хотя я надеюсь, что это направило его по ложному пути умозаключений, когда я исчезла. Я воображаю,

как он ворчал: «Мне следовало понять, что она впуталась в неприятности».

Из-под раковины в ванной я достала груду ветоши и вернулась к машине, чтобы скинуть рвотные массы с сиденья в снег. Убрать всю замерзшую лужу разом оказалось на удивление легко, но от нее осталось пятно. Я посыпала его порошком для чистки посуды и прикрыла полотенцем. Уверена, что все это время я давилась в попытках блевануть снова, хотя на самом деле помню только то, как мчалась после этой уборки в душ. Я яростно терла тело, особенно его нижние области — убирая то, что накопилось там за ночь, — и смывала кусочки рвотных масс, присохшие к волосам. Руки у меня распухли и болели, когда я вытиралась полотенцем, все еще влажным после вчерашнего вечера. Рваные темно-синие колготки, брошенные на выложенный плиткой пол санузла, казались длинными руками призрака. Я быстро оделась, расчесала мокрые волосы, схватила пальто и сумочку и побежала обратно к машине.

Полагаю, подробности моего поведения в то утро не так уж нужны, но мне нравится вспоминать себя в действии. Теперь я стара. Я уже не двигаюсь неистово и порывисто. Сейчас я

грациозна. Мои движения полны взвешенной, изящной точности — но они так медленны. Я похожа на прекрасную черепаху. Я не трачу силы зря. Жизнь теперь драгоценна для меня. В любом случае, когда я вернулась к машине, подъездную дорожку перекрывал патрульный автомобиль. Я в страхе остановилась. Копа, стоящего у машины, звали Бак Браун. Я помню его, потому что мы вместе учились в начальной школе. Он был большим и глуповатым, говорил шепеляво, глаза у него были сонные, а в уголках рта виднелись белые пузырьки слюны. Он был из тех мужчин, которые притворяются тупее, чем есть, чтобы застать тебя врасплох. Я очень не люблю таких людей. Поправив фуражку, Бак сунул руки в карманы.

— Мисс, — начал он, пришепетывая. — Можно вас на пару слов?

Полицейские всегда изъяснялись формально. Даже зная меня много лет, они никогда не называли меня по имени и на «ты». Никогда не доверяйте тем, кто так строго придерживается протокола.

— Это относительно вашего отца, — пояснил Бак. Ну, конечно.

— Слушаю, Бак, — нетерпеливо отозвалась я. Я пыталась улыбнуться, но чувствовала себя слиш-

ком усталой. И, похоже, не было никакого смысла пытаться задобрить его. До встречи с Ребеккой мне всегда было стыдно и боязно проявлять раздражение, как бы плохо я себя ни чувствовала. — Что тебе нужно?

— Это насчет револьвера, — ответил он.

На миг мне представилось, как отец где-то в доме, может быть, в подвале, истекает кровью от огнестрельной раны, которую он получил, когда я недостаточно быстро вернулась с его джином. Быть может, он оставил болтаться на шнуре трубку кухонного телефона, так и не разорвав соединение с полицейским участком и прохрипев последнее: «Я положу этому конец!» Но, конечно же, я только что видела его живым и достаточно здоровым, чтобы изводить меня.

— Что насчет револьвера? — поинтересовалась я.

— Мы приезжали вчера вечером, но вас не было дома, — сказал он, обвиняюще глядя на меня. Я глубоко презирала его и всех остальных. После короткой паузы он объяснил: — Вчера вечером мы получили несколько звонков от соседей и от директора школы, что Отче Данлоп… — он запнулся, — …что мистер Данлоп сидит у этого окна, — он махнул рукой в сторону окна го-

стиной, — и наставляет револьвер на детей, возвращающихся из школы.

— Он дома, — сообщила я. — Идите и поговорите с ним сами.

Но, может быть, я не была настолько дерзкой. Может быть, я сказала «о боже», или «господи», или «мне жаль». Трудно представить, что та девушка, такая фальшивая, такая нервная, такая изворотливая, — что это была я. Это была Эйлин.

— Мэм, — снова начал Бак. Мне хотелось плюнуть ему в лицо за то, что он так назвал меня. — Я разговаривал с вашим отцом, и он согласился передать свое оружие под ваше попечение, если вы пообещаете не использовать это оружие против него. Он сам так сказал.

Я действительно не понимала, из-за чего такой шум. Вряд ли отец хранил револьвер заряженным. Я полагала, что он слишком этого боялся. И я точно знала, что он регулярно его чистит.

— Мэм, — повторил Бак и указал на дом, — я должен передать его вам лично.

— Что это значит?

— Мне приказано немедленно передать револьвер вам на хранение. Дети вот-вот отправятся в школу.

Я никогда еще так сильно не хотела поехать на

работу в тюрьму.

— Это займет не больше минуты, — заверил Бак и вместе со мной прошел по дорожке и поднялся по ступеням.

В доме я позвала отца:

— Папа, тут к тебе пришли!

— Я знаю зачем, — ответил он, выходя из кухни в халате, испещренном полосами сажи от камина. Он улыбался той пьяной улыбкой, которую я научилась распознавать как выражение согласия — губы растянуты, глаза почти закрыты, сощурены настолько, чтобы выглядеть слегка довольным. Отец открыл шкаф в прихожей, порылся в нем и извлек револьвер. — Вот. Теперь он твой.

— Спасибо, сэр, — сказал Бак. Эта церемония была одновременно комичной и безумной. — Я верю, что мисс Данлоп сможет отлично позаботиться об оружии.

— Так же, как обо всем прочем, насколько вы можете видеть, — отозвался отец, круговым движением ствола указывая на неприбранный дом. Бак встревоженно отступил назад. Я представила, как одна из сосулек у него над головой сейчас отломится и воткнется ему прямо в череп. Отец протянул револьвер Баку, который аккуратно

вложил его в мои раскрытые ладони.

Я никогда прежде не держала в руках отцовский револьвер — да и вообще какое бы то ни было огнестрельное оружие. Он оказался тяжелым, намного тяжелее, чем я ожидала, и холодным как лед. И сначала то, что я его держу, напугало меня. В то время я не могла бы сказать вам, какой марки это был револьвер, но я отчетливо запомнила его внешний вид. На деревянной рукояти было выгравировано «Данлоп». Уже позже, просматривая книги об оружии, я идентифицировала его как «Смит-и-Вессон», модель 10. У него был ствол четырехдюймовой длины, и весил револьвер почти два фунта. После бегства я хранила его у себя несколько недель, потом выкинула с Бруклинского моста.

— Пойдет, — сказал Бак и направился обратно к патрульной машине.

Мой отец зашаркал прочь, бубня что-то себе под нос, затем отчетливо произнес:

— Тебе сегодня везет, Эйлин.

Он был прав. Я положила револьвер в сумочку. Я не знала, что еще с ним делать. Я ожидала, что отец будет требовать, чтобы я отдала оружие ему обратно, однако с кухни до меня долетал только звон бутылки о стакан, потом кресло

заскрипело под весом отцовского тела. Будет не совсем правильно сказать, что это решение относительно револьвера сильно взволновало меня, поскольку за годы присутствия оружия в доме я уже смирилась с ним. И все-таки держать его было странно. Я аккуратно заперла входную дверь, помня о сосульках, и уехала. При всем безумии отец выставил всю свою уличную обувь на крыльцо — видимо, в то время, пока я отчищала машину от рвоты. Возможно, он сделал это для того, чтобы напомнить мне о моем долге, о том, что я прежде всего была его сиделкой, его нянькой, его тюремщиком.

По пути на работу я размышляла над тем, какие преимущества может дать мне револьвер. Это оружие мой отец носил все те годы, пока служил в полиции. В детстве мне казалось, что у револьвера есть даже собственное место за обеденным столом: папа во главе, мама напротив него, мы с Джоани с одной стороны, револьвер — с другой. После отставки отец носил его в кобуре, которую надевал на голое тело, слоняясь по дому. Остановившись на светофоре, я осторожно достала револьвер из сумочки, подумав, что могу спрятать его в бардачок. Но когда я увидела там замерзшую мышь, о которой упоминала ранее,

я передумала. Маленький мертвый грызун оставался там до самого конца. Это не имеет особого значения, но я помню мордочку мыши: длинное рыльце, приоткрытая пасть, крошечные зубы, мягкие белые ушки. Вероятно, это был последний раз, когда я видела ее. Загорелся зеленый свет, и я поехала дальше, положив револьвер на колени. Он повлиял на меня так же, как, полагаю, повлиял бы на любого другого: с ним было спокойнее. Он умиротворял меня. Быть может, похмелье просто сделало меня беспечной, но когда я припарковалась на стоянке «Мурхеда» в то утро, я не стала запирать сумочку со спрятанным в ней револьвером в багажнике. Вместо этого я взяла ее с собой в тюрьму и открыто положила на свой рабочий стол. Уродливое изделие из коричневой кожи наполняло мое сердце страхом и восторгом всякий раз, когда я протягивала руку, чтобы коснуться его.

* * *

Полагаю, это было самое обычное утро в «Мурхеде», но каждый раз, когда в коридоре слышались чьи-то шаги или открывалась дверь, впуская порыв ветра, я сначала морщилась — от похмелья голова болела так, что любой звук казался ударом

по мозгам, — а потом поднимала взгляд, с нетерпением и волнением ожидая увидеть Ребекку. Но она все не появлялась. Мне не терпелось снова оказаться рядом с нею, получить подтверждение тому, что я чувствовала накануне вечером. Я буквально чуяла нервозность, испускаемую моим телом, словно запах горящей серы, когда чиркаешь спичкой по коробку. Разве могла я покинуть Иксвилл сейчас, когда Ребекка была здесь, со мною? Я гадала: быть может, она поедет со мной, когда я решусь сбежать? Ведь она сказала, что не задерживается долго на одном месте, верно? Вместе нам должно быть очень весело. Я фантазировала о том, как изменю внешность, когда перееду в Нью-Йорк, какую одежду буду носить, какую прическу сделаю, и если нужно, покрашу волосы или надену длинный парик, а может быть, очки с простыми стеклами. Я думала, что, если захочу, смогу сменить имя. «Ребекка» — имя ничуть не хуже любого другого. Я сказала себе, что самое время думать о будущем, однако оно может и подождать. В какой-то момент я вышла в женский туалет, чтобы подкрасить губы. И именно тогда Ребекка распахнула дверь и подлетела ко мне, так что ее лицо отразилось в зеркале рядом с моим.

— Ну, привет, старушка, — сказала она моему отражению. У нее явно было веселое, игривое настроение.

— Доброе утро, — ответила я, — сосредоточившись на том, чтобы мой голос звучал уверенно и бодро, как будто у меня все было в порядке.

— Мне идут праздничные цвета? — спросила она, крутнувшись на месте. На ней был красный шерстяной костюм с юбкой, а на шее повязан зеленый шарф. — Голова кружится, — произнесла она, мелодраматически хватаясь за голову.

— Тебе к лицу, — кивнула я.

— Боюсь, что мне нет дела до Рождества Христова, — сказала Ребекка. — Но дети, я думаю, любят Рождество.

Она прошла в туалетную кабинку и продолжила болтать, облегчая мочевой пузырь. Я слушала и смотрела, как краснеет мое лицо в зеркале. Я стерла с губ помаду. Этот новый оттенок мне совершенно не подходил — слишком яркий. В этом мой отец был прав. С этой помадой я выглядела как маленькая девочка, решившая поиграть с материнской косметикой.

— Интересно, что ты собираешься делать в рождественский вечер? — спросила Ребекка. — Может, нам отпраздновать вместе?

Она нажала на смыв унитаза и вышла из кабинки, подтягивая чулки, так что ее трусики были на виду. Бедра у нее были тонкие, как у двенадцатилетней девочки, и такие же упругие.

— Ты не против выпить завтра у меня дома? Думаю, это будет неплохо. Если у тебя, конечно, нет других планов.

— У меня нет планов, — ответила я. Я много лет не праздновала Рождество.

Ребекка подтянула повыше рукав и достала из нагрудного кармана ручку.

— Сделаем так: запиши свой номер телефона. Так я его не потеряю, если только не буду принимать душ, а я пока не буду. Не считая визитов к врачу или тех случаев, когда ко мне в гости приходит мужчина, — рассмеялась она, — я редко принимаю душ. Здесь все равно слишком холодно. Не говори никому. — Ребекка подняла руки и комически изогнула шею, обнюхивая свои подмышки, затем поднесла палец к губам, словно уговаривая меня молчать.

— Я тоже, — призналась я. — Иногда я люблю повариться в собственном соку. Вроде как хранить маленький секрет под одеждой.

Мы с ней одинаковые, думала я. Ребекка понимает меня. Нет причин что-либо скрывать от

нее. Она принимала меня — даже любила меня — такой, как я была.

Ребекка протянула мне ручку и подставила руку, чтобы я могла записать на ней номер телефона. Я взяла бледное узкое запястье и начертала на предплечье Ребекки цифры — кожа ее была такой чистой, мягкой и нежной, что у меня возникло чувство, будто я оскверняю существо столь же безгрешное, как новорожденный младенец. Мои собственные руки в свете люминесцентной лампы были красными, обветрившимися, шершавыми и распухшими. Я спрятала их под манжетами кофты.

— Сегодня я ухожу с работы рано, — сказала Ребекка. — Я позвоню тебе завтра. Повеселимся.

Я вообразила роскошный стол, уставленный вкусными блюдами, и дворецкого во фраке, разливающего вино в хрустальные бокалы. Вот о чем я фантазировала.

К полудню я была признательна за необходимость ехать в ближайший продуктовый магазин, чтобы купить что-нибудь на обед. Это означало, что я снова могу подержать револьвер и прокатиться в «Додже», ощущая ветер в волосах. В тот день я была голодна так, как никогда раньше. Я купила пакет молока и упаковку сырных

крекеров и жадно поедала их, сидя в машине на стоянке «Мурхеда» — запах рвотных масс все еще не выветрился, — а потом выхлебала все молоко, словно футболист после тренировки. Никогда прежде я не пробовала ничего столь вкусного. Казалось, ощущение твердости и тяжести револьвера, лежащего у меня на коленях, как-то повлияло на мой аппетит. В любой момент я могла направить на кого-нибудь оружие и потребовать отдать бумажник и пальто, приказать сделать что-либо ради моего удовольствия: спеть, станцевать, сказать мне, что я прекрасна и безупречна. Я могла заставить Рэнди целовать мои ноги. По радио играли «Бич бойз». В то время я не понимала рок-н-ролл: от большинства рок-песен мне хотелось перерезать себе вены, потому что эта музыка вызывала у меня чувство, будто где-то идет замечательная вечеринка, а меня на нее не пригласили, — однако в тот день я, кажется, немного подпрыгивала на сиденье в такт песне. Я чувствовала себя счастливой. Я почти не чувствовала себя собой.

Выйдя из машины, я зарылась каблуками в слой крупной соли, которой была посыпана стоянка, и окинула взглядом всю тюрьму для несовершеннолетних. Это было старое серое

каменное здание, издали напоминавшее летний загородный дом какого-нибудь богача. При других обстоятельствах резная каменная отделка и перекатывающиеся песчаные дюны за оградой, которой был обнесен усыпанный гравием двор, могли бы показаться даже красивыми. Это место словно было предназначено для покоя, отдыха, созерцательных раздумий, что-то вроде того. Насколько можно было понять по стоящей в главном коридоре витрине с выставленными в ней историческими рисунками, картами и фотографиями, это здание было построено более ста лет назад как «пансион трезвости» для моряков. Потом оно было расширено и переделано в военный госпиталь. В конце концов, освежающий морской бриз благотворно действовал на нервы. В какой-то момент его, кажется, использовали как школу-интернат, когда эта часть штата была процветающей, полной умных, состоятельных людей, которые предпочитали жить в тишине подальше от больших городов. Когда-то перед входом, насколько я помню, стояла статуя Эмерсона[11], на территории была круговая подъездная

[11] Примечания: 11

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель; один из виднейших мыслителей и писателей США.

аллея и сад в английском стиле с фонтаном. Потом это место превратили в сиротский приют, затем — в реабилитационную клинику для ветеранов-инвалидов, потом — в школу для мальчиков, и наконец, за двадцать с чем-то лет до того, как я пришла туда работать, оно стало тюрьмой для несовершеннолетних правонарушителей мужского пола. Если б я родилась мальчиком, то, вероятно, в конце концов угодила бы туда.

Я стояла, навалившись на открытое окно своей машины, и пудрила нос, глядя в боковое зеркало; уши мои были ярко-красными от холода. Я наблюдала, как полицейский выводит из патрульной машины парня и сопровождает его в тюрьму. Меня приводило в особенный восторг, когда прибывал новый заключенный — это бывало не чаще раза в неделю. Мне нужно было заполнить бумаги, потом взять отпечатки пальцев и сфотографировать его.

Когда я с опозданием вернулась с обеда, офисные дамы неодобрительно покосились на меня. Настроение и самочувствие у меня значительно улучшились; я сбросила пальто на стул, зубами стянула бесполезные перчатки, пальцем выковыряла засохшую слизь из уголков глаз и потерла ладони, чтобы согреть их. Миссис Стивенс бол-

тала с надзирателем, а новенький парнишка позвякивал своими наручниками. Это был полноватый светловолосый подросток с курносым носом, крупными мясистыми руками, но с узкими, как у девочки, плечами. Я запомнила его. Он щурил глаза, пытаясь не заплакать, и это тронуло меня. Парень стоял напротив меня — было видно, что в дополнение к наручникам его «обезопасили» успокаивающими лекарствами. Я спросила его имя и записала в бланк, измерила вес и рост, отметила цвет глаз, проверила наличие шрамов на лице и протянула ему стопку накрахмаленной форменной одежды синего цвета. Я чувствовала себя санитаркой — заботливой, но при этом сухо-спокойной. Я тихо говорила с ним, фотографировала его. Я запомнила выражение его лица в видоискателе — странная пассивная смесь покорности и ярости, кроткая грусть. Фотографирование этого мальчика подбодрило меня — точно так же, как вид дохлой мыши в бардачке моей машины. «Я рада, что я — не ты» — вот что я ощущала. Все это время надзиратель стоял позади парнишки, скрестив руки на груди и ожидая, когда ему нужно будет поставить на бланке свою подпись. Два охранника торчали поблизости на тот случай, если мальчик попы-

тается сбежать или напасть на меня — хотя ни один из новоприбывших узников никогда этого не делал. Насколько я помню, этому парню было не более четырнадцати лет. Полагаю, моя душа потянулась к нему потому, что я была в хорошем настроении, а он был довольно низким и пухлым для своего возраста, и по скорби на его лице я заключила, что он, как и я, был странным ребенком, которого глубоко ранил жестокий окружающий мир, сделав его напряженным и недоверчивым. Когда я ставила папку с его личным делом в картотеку, я прочитала, в чем его обвиняют: детоубийство посредством утопления.

Проводя эти процедуры приема, я чувствовала себя нормальным, обычным человеком, занимающимся своими рутинными делами. Я наслаждалась тем, что у меня есть четкий набор инструкций и я могу просто следовать протоколу. Это давало мне ощущение того, что у меня есть некая цель, и так мне было намного проще. Я могла ненадолго оторваться от бешеного, громкого вращения у меня в мозгу. Я уверена, что люди считали — и до сих пор считают — меня странной. За последние пятьдесят лет я сильно изменилась, конечно же, но некоторые в моем присутствии чувствуют себя неуютно. Однако

сейчас это происходит совершенно по другим причинам. Боюсь, ныне я слишком откровенна, слишком любезна. Я слишком страстная, слишком несдержанная, слишком общительная для старухи. Но в те времена я была просто странной девушкой, неуклюжей и молодой. Тогда подавленная тревожность не была в такой моде, как сейчас. Если сегодня я увижу в зеркале свой прежний ничего не выражающий взгляд, это приведет меня в ужас. Оглядываясь назад, могу сказать, что у меня практически не было должного воспитания. В конце концов, имелась причина тому, что я работала в тюрьме. Я была приятным в общении человеком. Думаю, я предпочла бы стать кассиршей в банке, но ни один банк не взял бы меня на работу. И, полагаю, к лучшему. Сомневаюсь, что прошло бы много времени, прежде чем я украла бы из кассы столько денег, сколько смогла. Тюрьма была безопасным местом работы для меня.

Часы посещений наступили и прошли. Меня радовал вид уродливой коричневой кожаной сумочки, свисающей на потертом ремешке со спинки моего рабочего стула. Если б кто-нибудь задел ее, револьвер, лежащий в сумочке, ударился бы о полую металлическую ножку стула. Я

гадала: что подумала бы Ребекка, если б узнала, что я вооружена? Мне смутно помнилось, что ношение огнестрельного оружия — признак дурного вкуса. Охота была уделом либо невероятных богачей, либо грубых представителей низшего класса, необразованной деревенщины, примитивных типов, людей тупых, бездушных и уродливых. Насилие было всего лишь одной из телесных функций, такой же обычной, как потение или тошнота. Оно стояло на одном уровне с сексуальным соитием и, похоже, часто переплеталось с ним.

До конца дня я механически исполняла свои обязанности. Я пыталась снова сосредоточиться на Рэнди, как обычно, поглядывая на него, сидящего на стуле в коридоре, но мое восхищение им угасло. Словно любимая песня, которую ты слушал так много раз, что она начала раздражать тебя, или словно ты чесал зудящее место так сильно, что оно начало кровоточить. Лицо Рэнди теперь казалось совершенно обычным, его губы — по-детски пухлыми, почти женственными, его прическа — глупой и претенциозной. Не было ничего гипнотизирующего в его пахе, ничего особенного в его руках — магия мышц испарилась. Я даже почувствовала легкую тошноту, когда вооб-

разила, как он приближается ко мне в темноте, а его дыхание пахнет колбасой, кофе и сигаретами. Полагаю, сердце — алчный орган, подверженный постоянным сменам настроения. Однако Рэнди действительно был особенным. Мне жаль, что я не сказала Рэнди о своей любви к нему, когда еще был шанс — до появления Ребекки. Он очаровал меня в свое время. Редко встретишь человека, который сделает это с тобой. Рэнди, где бы ты ни был, когда-то я смотрела на тебя, и ты был красив. Я тебя любила.

* * *

В тот вечер я в последний раз покинула «Мурхед», хотя тогда я не могла этого предвидеть. Я оставила на своем рабочем столе беспорядок. В моем шкафчике лежала бутылка вермута и упаковка шоколадных конфет, в ящике стола — библиотечная книга. Я не помню своих последних мгновений в этой тюрьме и время от времени гадаю, что сталось с моими вещами или что офисные дамы сказали обо мне, когда я не вышла на работу после праздников. Миссис Стивенс, вероятно, стала ответственной за посещение, а миссис Мюррей — за процедуру приема. Сомневаюсь, что мое исчезновение вызвало осо-

бый шум. Если Ребекка пришла тогда на работу, быть может, она пыталась выгородить меня. «Она навещает родных», — могла бы солгать она. Мне было все равно. Я не страдала бессонницей при мысли о том, что я оставила в «Мурхеде».

В тот день по пути домой я ощутила страшную усталость, к тому же испытывала сильную крутящую боль, которая обычно сопровождала третий день моих месячных. В тот вечер мне не хватило сил, чтобы по дороге до дома заехать в «Ларднер». Если моему отцу что-то нужно, это его проблема. Не умрет, если выпьет стакан молока и одну ночь проведет трезвым, думала я. А может быть, и умрет. В любом случае мне было все равно. Полагаю, именно в этот момент, чувствуя вес револьвера, лежащего в сумочке у меня на коленях, и сворачивая на темную обледеневшую подъездную дорожку между двумя снежными нагромождениями, я подумала о том, чтобы избавить его от этого жалкого существования. Я могла бы застрелить его, но это было бы слишком грязно, к тому же могло навлечь на меня неприятности. Таблетки, оставшиеся после смерти матери, были лучшей идеей, но их во флаконе осталось совсем немного. Она принимала их, чтобы облегчить боль, как прописал

врач. Однако мать говорила, что пьет их для того, чтобы защитить ее несчастную дочь — то есть меня — от необходимости круглые сутки слушать стоны, крики, хрипы и жалобы. Время от времени я тоже принимала одну из этих пилюль, ожидая, пока мать наконец «сыграет в ящик». Так я описала Джоани случившееся, когда звонила ей наутро после смерти матери. Предыдущую ночь я провела в черном забытьи, которое даровали эти таблетки, а проснулась рядом с холодным мертвым телом — телом моей недоброй матери.

Тяжесть револьвера в сумочке оттягивала мое плечо, когда я поднималась на крыльцо. Я открыла дверь, осторожно пройдя под истекающими капелью кинжалами сосулек. Даже в полутьме было заметно, что прихожая очищена от старых газет и бутылок и даже подметена. Белая круглая скатерть, которой был застелен кухонный стол, свидетельствовала о том, что кто-то занимался уборкой. Быть может, из полицейского участка прислали новобранца, когда там узнали, что мой уважаемый отец живет в таком свинарнике. Или, может быть, отец сам затеял уборку — сварил кастрюлю крепкого кофе и весь день был деловитым и трезвым. В прошлом он часто строил планы по улучшению дома — соорудить полку

в подвале или утеплить чердак, — но бросал их, как только кофе остывал, и отец решал, что заслуживает бутылки-другой пива. Ни одна из его попыток отказаться от выпивки не длилась дольше нескольких часов. Когда я сбежала, в углах чердака, под свесами крыши, все еще лежали рулоны ярко-розового утеплителя. Каждый вечер я смотрела на них, перед тем как заснуть.

Отцовское пальто висело на крючке у входной двери. Когда я включила свет на кухне, то обнаружила, что его кресло пусто. Я достала из холодильника два ломтя хлеба, намазала один из них майонезом, пришлепнула сверху второй и съела, позволяя каждому кусочку таять на языке. Это был мой ужин. Мне понадобились годы, чтобы научиться питаться правильно — а точнее, чтобы выработать желание питаться правильно. Тогда, в Иксвилле, я отчаянно надеялась, что никогда не стану похожей на взрослую женщину. Я не видела в этом ничего хорошего.

Поднявшись наверх, я увидела, что в комнате матери горит свет, а дверь закрыта. Из-за двери доносилось громкое неровное дыхание спящего отца. Таблетки матери лежали в ящике прикроватного столика, но я не рискнула войти — я могла разбудить отца. На верхней площадке

лестницы лежала полупустая бутылка джина. Я забрала ее с собой на чердак. Предыдущим летом отец свалился с чердачной лестницы, когда както утром бежал разбудить меня, с криком, что в подвале затаились гангстеры и хотят нас убить. Я только-только проснулась, услышав, как он оступился и загремел вниз по лестнице; ступеньки громко скрипели, пока он наконец не приземлился с грохотом на площадке. Мне пришлось одеваться и тащить его полубесчувственное тело к машине. Я отвезла его в травмпункт, где в него вкачали множество всяких жидкостей, проверили его печень, и врач сообщил мне плохие новости: если отец прекратит пить, это может убить его, а если продолжит, то наверняка умрет. «Это весьма затруднительное положение, — сказал доктор, глядя на мои покрытые синяками колени. — Вам нужно есть консервированный шпинат, юная леди». Я поехала домой. Я устроила стирку. Я приняла ванну. Дом без моего отца казался незнакомым, словно бы принадлежал посторонним людям. Все мои вещи были на месте, но комнаты словно бы опустели, выглядели иначе. Это раздражало меня. В конце концов отца выписали домой с тростью, с повязкой на лодыжке и со швом на подбородке. Он гордился

своей раной, сначала тщательно промывая ее, потом делая это даже без необходимости, протирая спиртом, которого ему требовалось все больше. Мне нравился запах этой жидкости, и когда мой отец не видел, я отхлебнула глоток — и едва не задохнулась.

В тот вечер я забрала на чердак джин и сумочку, переоделась в пижаму и сунула револьвер под подушку. Это было как молитва или как тот раз, когда я перед сном положила под подушку свой первый выпавший зуб. Помнится, проснувшись, я нашла под подушкой два пятицентовика. Больше всего меня потрясло не превращение зуба в монетки, а мысль о том, что я проспала тайный приход матери или отца ночью в мою комнату, что я ничего не ощущала, ни о чем не знала, была совсем беззащитна. Помню, в то утро я задалась вопросом: что еще они делали со мной, пока я спала? Я часто гадала о том, что могла проспать — какие споры, какие тайны. Когда я думаю о своем детстве, мне вспоминается только сам этот дом, мебель и ее расстановка, смена времен года на заднем дворе. Я не вижу лиц людей, только их тени, ускользающие из поля зрения, когда они покидают комнату. Основное, что я помню о матери: это то, каким легким было ее тело в постели

в то утро, когда она умерла, какими холодными были ее руки, когда я держала их — быть может, впервые с тех пор, как я была ребенком, — как подалось ее плечо, когда я уткнулась в него и заплакала.

Я пила весь вечер, предаваясь воспоминаниям. Потом отставила бутылку и вытащила свое чтиво. Следует признаться, что в стопке «Нэшнл джиографик» были спрятаны несколько порнографических журналов моего отца. Я достала один из них и бездумно листала страницы, пока не уснула.

Канун Рождества

Во времена моего детства мать никогда не собирала мне с собой в школу обед. Я сидела и смотрела на свои колени, пока другие дети ели сэндвичи, и в моем пустом желудке урчало. Возвращаясь домой после занятий, я набивала живот хлебом с маслом и всем прочим, что могла найти на неопрятной материнской кухне. Когда я была ребенком, ужины семейства Данлоп за кухонным столом были обычно невкусными и непитательными. Семейные трапезы вообще были короткими и неуютными. Родители часто ссорились на глазах у нас с Джоани, как будто им нужны были зрители для выяснения личных вопросов. Мать хныкала, отец ворчал и бросал вилку на стол, поглядывая на свой «Смит-и-Вессон», лежащий около его тарелки. Если я или Джоани поднимали шум, мать хлестала полотенцем о пол, производя щелкающий звук, резкий и оглушительный, словно удар грома или треск полена в огне. Я не помню, о чем они постоянно спорили. Я просто быстро съедала свою порцию, ставила тарелку в раковину и убегала наверх.

Более того, еда, которую готовила моя мать, была ужасна. Я не знала, что такое хороший обед, пока не вышла замуж во второй раз. Муж объяснил мне, что стейк — это не кожистый кусок сухожилий, сожженный на сковороде, а толстая, ароматная, вкусная штука, которую при желании можно разделать и съесть тупой ложкой. Мне кажется, что за первый месяц, проведенный с ним, я набрала десять фунтов веса. А в семье Данлоп в Иксвилле на ужин подавали в лучшем случае жилистую курятину, картофельное пюре из коробки, консервированные бобы и вялый бекон. В Рождество особой разницы не было. Бисквитный торт из магазина год за годом — вот и все лакомства, какие я помню. У нас в семье никогда не питались хорошо.

Однако спиртное в праздники всегда лилось щедро. Конечно же. Представляете праздничную обстановку: мама достает с верхней полки шейкер — «Сделаем это правильно!» — чтобы смешать коктейли под названиями «Дипломаты» или «Штормовая погода». У этих старинных напитков были причудливые наименования. «Мэгги Мэйз», «Старые модницы». Она делала напитки для себя, а отец заставлял меня смешивать для него «Блю блэйзер» в хайболе, из

хорошего спиртного, которое он получал в подарок на Рождество от своих так называемых друзей из полиции. У нас был маленький сборник с различными рецептами. Я, конечно же, отпивала глоток тут и там и съедала половину засахаренной вишни из бутылки с ликером, пока сновала туда-сюда между кухней и гостиной, готовя «Ли Берн», «Мами Тейлор» и «Манхэттен». Моим любимым напитком был виски с молоком, потому что у него был вкус как у молочного коктейля. Я помню еще один — «Доброе утро», потому что для него мне приходилось разбивать сырые яйца, словно повару, получившему заказ на большой омлет. Это забавные воспоминания: играет музыка с пластинок, ревет огонь в камине, я на кухне, за сценой, деловито слизываю пену с коктейлей и все еще жду от Рождества чего-то хорошего — микроскоп или набор красок, — а Джоани развлекается в гостиной, извиваясь под песню Элвиса.

Рождество было одним из немногих дней в году, когда мои родители принимали гостей. Тетушка Рут, единственная моя тетя, мало интересовалась мною и Джоани, когда мы были детьми, — то, чего я так и не смогла понять или простить, — и пила только мартини с джином. Полагаю, что в

кровь Данлопов поколениями вливался джин. Возможно, тетя Рут просто последовала своей судьбе раньше, чем мой отец. Но похоже, от этого мартини ей не было никакого прока. Она всегда была хмурой, с восковой кожей и лицом таким плоским и блестящим, что оно напоминало лужу. То, как она выражала свои чувства, лучше всего описывается словом «ожесточенно». На Рождество она приносила что-нибудь вроде консервированной ветчины или упаковки арахиса, дешевый виски для папы, возможно, шоколадные конфеты для моей матери. Она была бездетной и властной, и она единственная, кто настаивал на молитве перед трапезой. Моя мать, уже пьяная, закатывала глаза и щипала меня под столом, заставляя смеяться. На Рождество, казалось, мать бывала не такой озлобленной, как обычно. Когда я ложилась спать, опьянев и объевшись бисквитного торта, я всякий раз ожидала чего-то хорошего. Но рождественским утром отец неизменно вручал нам с Джоани по долларовой купюре — эти банкноты всегда были в пушинках от подкладки карманов его форменных брюк. Несколько раз мама дарила нам новые носки или карандаши. И всё.

После смерти матери мы с отцом безмолвно

условились не праздновать Рождество. Только в один год я сделала ему подарок — нечто жестокое в своей бесполезности, учитывая его положение, — галстук. Джоани иногда присылала открытки, если вспоминала об этом. Я знала, что она празднует Рождество в своей компании, но она никогда меня не приглашала. Я не в обиде на нее за это. Я была такой унылой.

* * *

Когда я проснулась в тот судьбоносный канун Рождества, последний для меня в Иксвилле, в моей коробке-копилке лежало шестьсот сорок семь долларов. В то время это была довольно большая сумма. Мои сбережения. И у меня был револьвер. Достав его из-под подушки, я ощутила, что владеть оружием невероятно круто. Я думала о странной судьбе этого пистолета. Сначала отец использовал его как инструмент власти, ради исполнения своего долга, а потом грозил им призрачным преступникам, которых видел только он. По его утверждению, эти призраки понимали, что он будет стрелять на поражение. Когда человеку в руки попадает огнестрельное оружие, он начинает преисполняться грандиозной самоуверенности, это правда. «Я использую

пистолет, чтобы проложить себе путь на свободу», — думала я в то утро, целясь в незримые препятствия. Мне стыдно вспоминать, как легко эта штука наполнила меня уверенностью в том, что она открывает мне целый мир возможностей. Я думала о том, чтобы сегодня вечером показать его Ребекке. Быть может, я предложу ей пойти в лес и пострелять по деревьям. Или мы можем выйти на замерзшее озеро, стоять там и стрелять в луну. Или пойти на берег, упасть на спину, делая «снежных ангелов», и стрелять по звездам. Таковы были мои романтические идеи о том, как провести вечер с новообретенной подругой.

Лежа на раскладушке, я мучительно размышляла, что мне надеть. Я представляла, что Ребекка будет в удобном наряде — никаких вычурных платьев или дорогих украшений, ведь в конце концов мы будем у нее дома, — но это будет что-нибудь красивое — например, толстый кашемировый свитер и идеально сидящие брюки, как у Джеки Кеннеди на лыжном курорте. Что касается дома Ребекки, то мне представлялись восточные ковры в темных тонах, роскошные диваны с бархатными подушками, медвежья шкура на полу. Или, быть может, современная и строгая обстановка: полы темного дерева, стек-

лянный кофейный столик, занавеси бордового цвета, свежесрезанные розы. Меня охватили волнение и восторг. Я дремала, мысленно перебирая одежду в материнском гардеробе и составляя из отдельных предметов наряд, который я могла бы надеть сегодня вечером. Я знала все содержимое этого гардероба наизусть. Как я уже говорила, ничто из имеющегося там не сидело на мне как следует, поэтому я часто надевала несколько кофт или длинную комбинацию, просто чтобы одежда не висела на мне мешком. У меня была дурная привычка лежа в постели бить себя кулаком по животу и щипать почти несуществующие участки жира на бедрах. Я искренне верила, что если бы на моих костях было меньше плоти, у меня было бы меньше проблем. Быть может, именно по этой причине я носила одежду матери — чтобы не давать себе спуску и никогда не достичь даже ее миниатюрного телосложения. Как я уже сказала, ее жизнь — жизнь женщины — представлялась мне совершенно отвратительной. Меньше всего я хотела быть чьей-то матерью, чьей-то женой. Но конечно же, к двадцати четырем годам я исполняла материнские обязанности по отношению к своему отцу.

Несколько позже в то утро на чердачной лест-

нице раздался топот.

— Эйлин! — крикнул отец. — Магазин уже открыт. Спускайся давай!

Когда я открыла дверь, он был одет и стоял, уперев руки в бока.

— Сегодня канун Рождества? — спросил отец.

— Нет, папа, — солгала я. — Ты пропустил Рождество. Оно было вчера.

— Хитрюга! — фыркнул он. — Если ты спустишься немедленно, то тебе ничего за это не будет.

— Ладно, — согласилась я. — Кто поведет машину?

— Ты и поведешь. Садись за руль, и поехали. Я еду с тобой.

Мой отец редко осмеливался выйти за пределы дома, как нормальный человек, но в это утро он был непреклонен. Быть может, каким-то образом почувствовал, что я собираюсь бросить его… Но скорее всего отец боялся, что магазины закроются на праздники, и не доверял мне покупку выпивки в достаточном количестве, чтобы ему хватило до окончания этих самых праздников. Он так и не объяснил, почему решил переместиться из кресла в кухне в спальню наверху. Быть может, это был стратегический ход. Без револьвера он

чувствовал себя беззащитным против «шпаны» и хотел спрятаться получше. Он мог решить, что смертное ложе моей матери вполне подходит для того, чтобы там умер еще кто-нибудь. Не то чтобы он окончательно сдался, это было понятно. Казалось, отец просто был, как обычно, настороже.

— Быстрее! — заорал он, распахнув дверь в яркое искристое утро. — Пока они не продали все. Это канун Рождества. Вино для волков! Выходи уже. Ключи у тебя? Запри дом. В это время года люди с ума сходят. Пик преступлений. Это доказанный факт, Эйлин. Господи Иисусе! — Я вышла, достала его ботинки и швырнула на крыльцо. Отец продолжал говорить: — Все уходят и скорее всего оставляют двери настежь. Тупицы. Идиоты. Разве они не знают, что в городе полно воров?

Отец влез в ботинки и пошаркал к машине, щурясь от солнечного света, словно человек, выползший из пещеры. Дрожащие ладони он поднял над головой, заслоняя глаза. Усевшись на пассажирское место, приподнял одну за другой ноги, велев мне наклониться и завязать ему шнурки.

Дорога к винному магазину снова блестела свежевыпавшим снегом. Фонарные столбы были увиты лентами и остролистами, витрины магази-

нов были украшены к празднику. По тротуарам шагали люди, одетые в шапки, клетчатые шерстяные пальто, высокие ботинки и рукавицы. Подолы длинных женских юбок чиркали по сугробам вдоль края тротуара. Прохожие несли в руках стопки ярких свертков, балансируя ими на ходу, потом сгружали их в багажники своих машин. В воздухе почти можно было различить какую-то мелодию. Дети лепили снеговиков на лужайках перед домами, играли во дворе публичной библиотеки. Впоследствии я скучала по этой старой библиотеке. В то время я не осознавала, что книги спасли меня. Я опустила окно.

— Холодно, — пожаловался отец. Я не говорила ему о проблемах с выхлопной трубой.

— В машине душно, — ответила я. На самом деле там пахло рвотой, но мой отец не мог это учуять. Полагаю, джин, едва ли не сочившийся сквозь его кожу и слизистые оболочки, забивал все остальные запахи.

— Душно? Кого волнует духота? — Он перегнулся через мои колени, потом опасно оперся локтем на мое бедро, снова поднимая окно.

Я лишь спокойно смотрела вперед. У него не было ни малейшего уважения к моему удобству или личным вопросам. Когда я была юной и толь-

ко начала превращаться в девушку, он иногда по вечерам пил за кухонным столом вместе с моей матерью и подзывал меня, чтобы оценить мое «развитие», прощупать и измерить. «Что-то плоховато, Эйлин, — говорил он. — Надо лучше стараться».

«Да ну, — смеялась мама. — Не будь таким жестоким». Но один раз она вместо этого сказала: «Она уже слишком взрослая, чтобы ты трогал ее, Чарли» — и прищелкнула языком.

Конечно же, могло быть и хуже. Других девушек хватали за разные места, домогались и даже насиловали. Меня же просто тыкали пальцем в грудь и насмехались. И все же это уязвляло и злило меня, а в последующие годы, если мне казалось, что меня оценивают, я начинала грязно ругаться. Мужчина, с которым я жила некоторое время, предположил, что я втайне желаю обладать большим бюстом и что я огорчалась, поскольку разочаровала отца своими «мелкими буферами». «Каждая девочка хочет, чтобы папочка пощупал ей титьки», — сказал этот мужчина. Вот ведь кретин! Он был лишь посредственным музыкантом из богатой семьи. Я оставалась с ним какое-то время, потому что думала: быть может, он укажет мне на какие-нибудь темные стороны

меня самой, — и, полагаю, он это сделал. Вообще в том, что касается мужчин, я была дурочкой. В науке любви я прошла долгий путь, буквально стучась во все дома по дороге, прежде чем нашла то, что нужно. Теперь я наконец-то живу одна.

— Куда, черт побери, ты едешь? — прошипел отец, замирая и сползая вниз с сиденья, когда я свернула за угол. Я уже говорила — он был не в своем уме. Боялся даже собственной тени. Думаю, это вы уже поняли. — Это неправильная дорога. Здесь живут плохие люди, Эйлин, а у меня, будь оно все проклято, нет «ствола».

— Мы можем кидать в них снежки, — засмеялась я.

Револьвер, конечно же, лежал у меня в сумочке. Отец, похоже, предпочитал верить, будто просто куда-то задевал его. Мне было все равно. Ничто не могло испортить мне настроение. Я наконец-то собиралась насладиться Рождеством, отпраздновав его вместе с Ребеккой. Отец мог раздеть меня догола и обсыпать меня осколками стекла, это мне не помешало бы. Ничто не могло помешать мне в этот день. Скоро я буду дома у Ребекки, где со мной будут обращаться как с королевой.

— Увези меня отсюда, — захныкал отец, натягивая воротник пальто на голову и, когда мы

остановились на светофоре, ткнул большим пальцем через плечо. — «Шпана», — прошептал он, и глаза его были затуманены страхом.

Я лишь хмыкнула, проезжая по городским улицам, мимо кладбища, мимо полицейского управления и срезая путь через стоянку у начальной школы. Полагаю, я пыталась немного помучить его.

— Скажи мне, что ты видишь, — попросил отец. — Они преследуют нас? Они видели меня? Веди себя естественно. Ничего не говори, просто веди машину. И опусти окна… да, это хорошая идея. Так стекло не разобьется, если они начнут стрелять.

Я с радостью открыла окно со своей стороны. В тот день я наслаждалась безумием отца. Он был комической фигурой, почти клоуном. Когда мы зашли в «Ларднер», отец приглушенным тоном обратился к мистеру Льюису, стоящему за кассой, заказал ящик джина и взял с полки несколько пакетов картофельных чипсов. Я купила бутылку вина для своей вечеринки с Ребеккой. Папа не стал задавать вопросов. По пути домой он лежал поперек задних сидений, дрожа и истекая по́том. А когда я затормозила на нашей подъездной дорожке, вывалился из машины и прополз по снегу

до крыльца, умоляя меня:

— Иди быстрее, открой дверь, впусти меня! Здесь опасно!

Я спокойно несла ящик с джином по дорожке к крыльцу, но отец, впав в тревожное нетерпение, влез в дом сквозь окно гостиной, выругав меня за то, что я оставила его открытым: «Ты что, рехнулась?» Отперев дверь изнутри, он сорвал крышку с ящика и схватил две бутылки, сунув их под мышки.

— Я вырастил дуру, — заявил отец. Я смотрела, как он, сбросив ботинки, шлепает в глубь дома. — Тебе будто два дня от роду! — крикнул он и откашлялся, потом уселся в свое кресло с замерзшей газетой, найденной на крыльце. Я была слишком занята своими планами, чтобы сразу же снова запереть его ботинки в багажнике.

Пройдя наверх, я нашла таблетки матери и сунула в сумочку, но пить не стала. Я хотела приберечь их. Если мне придется провести завтрашний день дома с отцом — после того как он вернется с мессы, — то я хотела проспать это время, не видя снов. Я поднялась на чердак, улеглась на свою раскладушку и вернулась к фантазиям об ужине с Ребеккой. Я представляла, как она скажет что-то вроде: «Я никогда прежде

не встречала такой, как ты». И еще: «Я никогда еще не чувствовала такой близости ни с кем. У нас, должно быть, много общего. Ты идеальна». Я воображала долгие часы увлеченных разговоров за вкусным вином, у горящего камина, и как Ребекка скажет: «Ты моя лучшая подруга. Я люблю тебя» — и поцелует мою руку, как целуют руку священнику или пророку. Я вытащила руку, на которой до того лежала: она была красной и помятой, но я благоговейно поцеловала ее.

— Я тоже люблю тебя, — произнесла я и засмеялась над собственной глупостью, натянув одеяло на голову.

Я ждала телефонного звонка от Ребекки. Каким-то образом я заснула. Я не помню, что мне снилось в тот последний раз, когда я спала в этом доме. Я жалею об этом и надеюсь, что это были добрые сны.

Помню, как я проснулась от крика отца, донесшегося от подножия чердачной лестницы.

— Что случилось, папа? — спросила я, слетая с раскладушки.

— Телефон, — ответил он. — Тебя спрашивает какая-то женщина. Может быть, она из полиции. Не знаю.

— Что ты ей сказал?

Я притопывала ногой, ожидая его ответа.

— Ничего. — Он вскинул руки вверх. — Я ничего не знаю и ничего не сказал. Отстань от меня.

Я слетела вниз и обнаружила, что трубка кухонного телефона свисает вниз на шнуре, постукивая по деревянному шкафчику. Когда я ее схватила, голос Ребекки произнес:

— Ну, привет, рождественский ангел.

Учитывая то, что я собираюсь поведать — а это все, что я помню о том вечере, — важно не забывать, что у меня действительно никогда не было настоящей подруги. В детстве у меня была только Джоани, которая меня не любила, да еще одна-две приятельницы в средней школе — обычно такие же изгои в классе, как я. Помню девочку из выпускного класса средней школы, у которой на ногах были корректирующие аппараты, и еще полную девушку в старшей школе, которая практически ничего не говорила. Была еще китаянка, чьи родители владели китайским рестораном в Иксвилле, но даже она послала меня, когда вступила в команду болельщиц. Они не были мне настоящими подругами. Я верила в то, что друг — это тот, кто любит тебя, а любовь — это готовность сделать что угодно, пожертвовать чем угодно ради счастья другого, и до встречи

с Ребеккой все это оставалось для меня недостижимым идеалом. Я прижимала телефонную трубку к сердцу, пытаясь выровнять дыхание. Быть может, я даже вскрикнула от радости. Если вы были влюблены, вам знакомо это невыразимое предвкушение, этот экстаз. Я была на грани чего-то важного — и чувствовала это. Полагаю, я была влюблена в Ребекку. Она пробудила в моем сердце долго спавшего дракона. Никогда впоследствии я не ощущала такого обжигающего пламени. Тот день, несомненно, был самым великолепным днем моей жизни.

Она сказала, что я могу приезжать, когда захочу. Она сказала, что будет дома.

— Я просто расслабляюсь. Посидим, поболтаем, — сказала Ребекка. — Ничего особенного. Будет весело. Можем поставить какие-нибудь записи и опять потанцевать, если все будет хорошо.

Отчетливо помню ее теплый, размеренный голос, всё до единого слова. Я записала ее адрес — название улицы было мне незнакомо. Повесив трубку и едва не падая в обморок от восторга, постояла с минуту, ослепленная радостью.

— Не твое дело, — пробормотала я, обращаясь к отцу, когда он постучал по кухонному столу,

чтобы вывести меня из транса.

— Передай мне чипсы! — рявкнул в ответ отец. Казалось, он забыл мои слова о том, что я якобы гуляла в прошлую ночь с Леонардом Польком. Полагаю, что джин вымыл эту мою ложь из его памяти.

Я взбежала наверх, чтобы приготовиться. Мое лицо в зеркале выглядело менее ужасно, чем обычно. «Если Ребекке нравится смотреть на это лицо, может быть, все не так уж плохо», — думала я. Поразительно, какие штуки выделывает рассудок, когда сердце трепещет от чувств. Я выбрала в гардеробе матери серый льняной костюм, решив, что Ребекка его одобрит. Ничего яркого. Наверное, в этом костюме я была похожа на старомодную бабку, но в тот момент он казался правильным выбором — сдержанным, взрослым, продуманным. Оглядываясь назад, я вижу, что больше всего это походило на рабочую форму; так мог бы одеться сообщник в каких-нибудь темных делах, стараясь остаться незаметным. Я надела белое нейлоновое белье, свежую пару темно-синих колготок, свои боты и верблюжье пальто матери. Я отлично помню все эти предметы одежды, поскольку это в итоге оказалось все, что я забрала из материнского гардероба,

покидая Иксвилл. Несмотря на мои грандиозные планы, я оставила дом лишь в том, что было на мне, с сумочкой, полной денег, — и конечно же, с револьвером. Я причесала волосы перед зеркалом. Моя жирная помада неожиданно показалась мне претенциозной, дешевой, глупой, и я решила ехать без макияжа. В конце концов, Ребекка ведь не красилась. И я полагаю, что мое желание быть ближе к Ребекке, быть понятой и принятой ею, преодолело мой страх перед тем, что кто-то увидит меня без косметики и маски безразличия.

Помню, как я пошла взять из машины карту Иксвилла, а потом галопом, словно неуклюжий олененок, помчалась обратно в дом по сверкающим снежным наносам. Я была полна энергии. Когда я окидывала взглядом двор, аккуратно прикрыв входную дверь, сквозь голые ветви деревьев донесся перезвон церковных колоколов, и я подумала, как прекрасно в этот миг светлое небо, голубое, чуть тронутое оранжевым светом заката. Я была счастлива. Думаю, действительно была. Я быстро наметила путь до дома Ребекки, который, похоже, размещался в бедном районе города — но в тот момент мне это почти не показалось странным, — потом свернула карту и положила в карман пальто. Эта карта все еще у

меня. Она пришпилена кнопками к внутренней стороне дверцы шкафа у меня дома. Она выцвела и стала ломкой, я годами носила ее с собой и много раз плакала над нею. Это карта моего детства, моей печали, моего Эдема, моего ада и моей родины. Когда я смотрю на нее сейчас, мое сердце распахивается от признательности, потом сжимается от отвращения.

Прежде чем ехать к Ребекке, я выпила немного вермута, чтобы успокоиться, натянула черные кожаные перчатки матери и лисью шапку — единственное меховое изделие, которое было у мамы, — и попрощалась с отцом, который стоял над раковиной, чистя вареное яйцо.

— Куда это ты собралась? — снисходительно и маловнятно спросил он.

— На рождественскую вечеринку, — ответила я, хватая со стола купленную бутылку вина.

Он помолчал несколько секунд с довольно озадаченным видом, потом насмешливо заявил:

— Ладно-ладно, но к ужину чтоб была дома.

Затем отец хихикнул и запихал целое яйцо в рот, вытерев руки о рубашку. В последний раз мы по-настоящему ужинали вместе за несколько лет до смерти моей матери, возможно, в честь чьего-то дня рождения — курица, до хруста зажаренная

на сковороде, и кастрюля слипшихся макарон. За день отец съел всего лишь пакет картофельных чипсов и одно яйцо. Чувствовала ли я себя виноватой за то, что покинула его в тот вечер? Нет. Я полагала, что вернусь домой в тот же вечер и буду выслушивать его жалобы, выдерживать груз его горечи, быть может, даже выпью вместе с ним утром, перед тем как он отправится в церковь, а я приму несколько таблеток, оставшихся от матери, — по моим подсчетам, они должны были позволить мне проспать почти весь день. Я должна была испытывать печаль от того, что бросаю отца в одиночестве под Рождество, но если отец чувствовал, что я жалею его, он обрушивал на меня оскорбления, нацеленные точно в мизерные крохи моего самоуважения.

— Ты бледная, как призрак, Эйлин, — заявил он, откидываясь на спинку кресла. — Детишки, должно быть, до смерти тебя пугаются.

Я только засмеялась его словам. В тот момент ничто не могло причинить мне боль.

Я проехала по расчищенной дорожке и вывернула на черную, блестящую мокрую улицу. Это был мой путь навстречу судьбе.

* * *

Ничто не могло усилить восторг моего предвкушения во время поездки через Иксвилл к дому Ребекки тем вечером — ни почти пустая дорога, ни мягко падающий с неба снег, ни освещенные окна домов, за которыми шло семейное веселье, ни мерцающие гирлянды на рождественских елках. В машине пахло выхлопными газами и рвотой, но снаружи воздух нес аромат жареной ветчины и выпечки. Однако даже это напоминание о празднике было для меня теперь излишним. У меня была Ребекка. Жизнь чудесна. Мой маленький мирок с запахом рвоты и выхлопов тоже каким-то образом был чудесен. Я смотрела в открытое окно на гостей, заходящих в чей-то дом, на детей, несущих пирог на стеклянном подносе, на родителей, нагруженных подарками и бутылками вина, обернутыми в красный целлофан и перевязанных ленточками. Они выглядели счастливыми, но я никому не завидовала в то Рождество — праздник, наиболее подходящий тем, кто упивается обидами и жалостью к себе. Именно для этого, в конце концов, и нужен традиционный коктейль из алкоголя с яйцами, да и вообще вся выпивка. Бутылка

вина, которую я купила для Ребекки, стояла на сиденье рядом со мной, все еще обернутая в грубую коричневую бумагу из винного магазина. Я подумала, что мне, наверное, следовало бы ее как-нибудь украсить. Найти какую-нибудь декоративную бумагу и ленты. Ребекка заслуживала лучшего, не так ли? Я подумывала о том, чтобы постучаться в чей-нибудь дом или порыться в мусоре в поисках обрезков бумаги с узором из разноцветных полосок или веток остролиста, но я этого не сделала. И все же бумажный пакет был весьма далек от идеала.

Бог как будто услышал меня: когда я проезжала Байер-стрит, зажегся яркий прожектор, и его луч осветил рождественскую сценку, выстроенную на снегу у подножия маленького холма. Я смотрела, как пожилая женщина открывает тяжелую дверь церкви Святой Девы Марии на вершине холма и скрывается в здании. Именно эту церковь мой отец посещал каждое воскресенье. Я подъехала и затормозила, чтобы лучше разглядеть картину, хотя не знала, что так разожгло мое любопытство. Сценка была простенькая — всего лишь куклы, воткнутые в снег перед коричневой деревянной оградкой высотой фута в два. Дева Мария, преклонившая колени рядом с Иосифом.

Оба были одеты в бордовые халаты, перевязанные крученым шнуром. В руках у Марии было что-то, завернутое в золотистую ткань. Я вышла из машины. На меня снизошло вдохновение.

Фигуры, сделанные из раскрашенного дерева, были на самом деле красивы, как мне показалось. В детстве я любила кукол, но когда мне исполнилось шесть лет, мать собрала их все и выбросила. На лице деревянной Марии красовалась широкая улыбка. Когда я подошла и остановилась на расчищенном тротуаре, то увидела, что рот ее обезображен. Кто-то накрасил его чем-то вроде ярко-красной губной помады, а по внутренним краям губ нарисовал зигзаг черным фломастером, отчего улыбка превратилась в оскал хеллоуинской тыквы. Я рассмеялась. Я слышала, как в церкви поют гимны — негромкими тягучими голосами в сопровождении бодрого аккомпанемента на фортепиано. Плакал ребенок. Я подошла ближе к сценке, оставляя следы на снегу. Ткань, в которую был завернут некий предмет, долженствующий означать Младенца Иисуса, была плотным синтетическим материалом горчичного цвета, к вытянутым деревянным рукам Марии он был прикреплен скотчем. Я сняла перчатки и пощупала скотч. Он оказался липким от влаги, но

ткань была гладкой и атласной. Музыка в церкви умолкла. Я услышала, как священник начал читать литургию. Его голос наполнил меня страхом, но это не остановило меня — я содрала скотч с рук Марии и дернула за золотистую ткань. Под нею оказалась пустая банка из-под машинного масла. Я была довольна. В машине я завернула бутылку вина в одеяльце «Младенца Иисуса». Это казалось мне вполне уместным. Сверившись с картой, я поехала дальше.

Сейчас в моей памяти всплывают картины того пути. Например, кладбище, засыпанное снегом, на поверхность которого падали голубые отсветы, скругленные вершины надгробий образовывали неправильный узор на толстом насте, а деревья отбрасывали длинные мятущиеся тени. Солнце только что село; по мере того как я ехала через город, дорога становилась все темнее, уличные фонари светили желто и тускло, некоторые просто мерцали. Дома делались все меньше и стояли все ближе друг к другу. Это были не просторные кирпичные здания в колониальном стиле, как в моем районе, а облупившиеся деревянные домишки величиной с трейлер, жилища менее благополучных людей — бедняков, если говорить прямо. Эти дома скорее напоминали хижины или

бараки, дешевое жилье, построенное близко к побережью. Я проехала угловой магазин, витрины которого были заклеены старыми плакатами с рекламой сигарет и нарисованными от руки постерами с ценами на хлеб, пиво и яйца.

Когда я выехала на улицу, где жила Ребекка, там горели лишь несколько фонарей, висящих на торцах унылых узких зданий. Этот район располагался ближе к океану, чем тот, где я жила, и потому здесь было более ветрено. Дома словно бы горбились, прижимались к земле, чтобы укрыться от ветра. Дворики были обнесены оградками из цепей на столбиках, лишь на немногих подъездных дорожках стояли машины. Я отсчитывала номера домов. Мне было непонятно, почему Ребекка решила поселиться в таком районе. Конечно же, в тюрьме ей платили достаточно, чтобы снять квартиру где-нибудь в более приятном месте. Она казалась женщиной со средствами — ее одежда была модной и выглядела недешево. Но даже будь Ребекка одета в обноски, каждому было бы ясно, что она женщина небедная. Богатство заметно в человеке, что бы он ни носил. Это очертание подбородка, особенное сияние кожи, неспешность и выдержанность в реакциях… Когда бедный человек

слышит громкий звук, он резко оборачивается. Богатые люди сначала завершают фразу и только потом оглядываются. Ребекка была богата, и я это знала. Странным казалось уже то, что она жила в Иксвилле. Я ожидала, что она предпочтет поселиться где-нибудь ближе к цивилизации, в Бостоне или Кембридже, где полно умных и образованных молодых людей, где есть искусство и прочие вещи, которыми можно заняться. Быть может, она просто ненавидела долгие ежедневные поездки… В конце концов, что я о ней знала? Возможно, Ребекка вовсе не была снобом, и я ошибалась, ожидая, что она будет жить в комфорте. Проезжая по кварталу, я сказала себе, что в этой улице действительно присутствует некое мрачное очарование. И решила, что такой богатой женщине, как Ребекка, потребовалось немало отваги и благородства, чтобы поселиться среди людей, работающих на фабриках, заправочных станциях и рыболовных судах, а то и вовсе безработных. Мне представлялось, что именно в этом районе мой отец трудился больше всего: усмиряя буйных юнцов, врываясь в дома, полные орущих пьяниц, где плакали от страха дети, а в соседних комнатах длинноволосые мужчины тискали полных морщинистых женщин в одном нижнем

белье, с гнилыми зубами и татуировками.

А потом я нашла дом Ребекки, бурое двухэтажное здание с белой отделкой и жалким замерзшим растением в горшке, стоящем на крыльце. Этот дом, по крайней мере, был чуть менее жалким, чем остальные дома в квартале. Во всех окнах горел свет, внутри играла музыка — достаточно громко, чтобы я услышала ее еще из машины. Я припарковалась, подняла стекло в окне, посмотрелась в зеркало заднего вида и взяла с сиденья бутылку. Здесь мои воспоминания распадаются, словно фильм в замедленной съемке. Я отперла задвижку на калитке и вошла во двор. Мои черные боты нащупали дорожку, поспешно расчищенную от снега, но по-прежнему обледеневшую. Я шла осторожно, не желая поскользнуться и упасть, разбить бутылку или выставить себя дурой. Я нервничала. Уже давно мне не доводилось приезжать куда-то, где я хотела бы быть. Взойдя на крыльцо, я увидела, как за желтыми шторами проскользнула тень. Я придержала бедром сетчатую створку и постучала в дверь из крашеной фанеры; она распахнулась, как только я коснулась ее.

— Ты добралась!

Это была она. Моя Ребекка. В руках она держала

белого кота с грязной шерстью, который запускал когти в ее распущенные волосы, потом посмотрел на меня и зашипел.

— Не обращай на него внимания, — сказала Ребекка. — Он встревожен, потому что его хозяйка весь день слегка на нервах.

— Привет, — неловко произнесла я. — С Рождеством!

— Знаешь, я почти забыла, что сегодня Рождество. Проходи, проходи, — поторопила Ребекка.

Она с тяжелым стуком уронила кота на истертый деревянный пол, и животное удрало прочь, зашипев еще раз. Сама Ребекка тоже выглядела встревоженной, с самого начала. Я подумала, что, быть может, мой визит совсем не к месту, но тем не менее поискала, куда можно положить вещи. Прихожая была узкой, стены отделаны потрескавшимися панелями красного дерева. Уродливые металлические перила ограждали застеленную ковром лестницу, невероятно грязную; с ковра свисали нитки там, где его подрал кот.

— Я принесла вино, — сказала я, срывая золотистую ткань с бутылки и поворачивая ее так, чтобы Ребекка могла видеть этикетку.

— Ну разве ты не солнышко? — отозвалась она. Было в ней что-то странное. Ребекка выгля-

дела напряженной и неестественной, но мне нравилось то, что она говорила. — Это очень предусмотрительно.

Она достала сигареты из кармана грязного белого махрового халата, который был наброшен поверх ее одежды, точно домашний капот. Это ставило меня в тупик. Может быть, я приехала слишком рано?

— Не обращай на меня внимания, — пояснила Ребекка. — Я просто не хотела испачкать одежду. — Она указала на свой халат. — Хочешь сигарету?

Она закурила и протянула пачку мне. Я тоже взяла одну — неловко, потому что в руках у меня были мои перчатки, вино и сумочка. Ребекка поднесла мне зажигалку, рука ее тряслась, взгляд был сосредоточен на подрагивающем огоньке. Воздух пах кошачьей мочой, свежим сигаретным дымом и застарелым потом. Это напомнило мне о любимом кресле моего отца. В этом доме тоже было холодно, и я не стала снимать пальто.

— Извини, что тут такой кавардак, — произнесла Ребекка. — Я только-только начала прибирать дом, но ты проходи, — она жестом указала в сторону кухни. — Давай сядем и откроем вино.

Мы миновали что-то вроде гостиной — дере-

вянный кофейный столик был завален мусором и неразобранной почтой, по экрану телевизора бежали полосы, на диване у стены было навалено белье — то ли выстиранное, то ли предназначенное в стирку. Стены были голыми, но несколько более светлых квадратов на побуревших обоях указывали, что когда-то здесь висели картины. Проигрыватель играл что-то странное. Мне на ум пришел Рахманинов или даже «Полет валькирий» Вагнера, но скорее всего это были слащавые любовные песенки Пэта Буна. Тем не менее они создавали странно болезненный, отталкивающий эффект. Возле кухонной двери висел телефон. В дверной проем я видела одинокий стул, стоящий у эмалированного столика, раковину, полную грязных тарелок, открытую упаковку нарезанного хлеба — ломтики были разложены на напольном шкафчике, обитом пожелтевшим пластиком. Высоко на стене, над календарем за май 1962 года, тикали часы; на странице календаря красовалась фотография моряка с волевым подбородком, салютующего кому-то. Возле кухонного стола стояло мусорное ведро, готовое подхватить расползающуюся кучу арахисовых скорлупок, которая возвышалась рядом с пустыми жестянками из-под пива «Шлитц».

Все это очень напоминало мой собственный дом. Мои чувства были обострены, но хаос, царящий здесь, был пропитан чем-то странным, что я никак не могла распознать. Ребекка крутила прядь своих волос. Сейчас она казалась совсем другой, чем в прошлые наши встречи. Она выглядела беспокойной. У меня было такое чувство, словно я вошла прямиком в сцену из кино, где кто-то сходит с ума: воздух просто гудел от напряжения. Я изо всех сил пыталась вести себя естественно, улыбаться, одновременно считывая сигналы странного поведения Ребекки.

— Вот, присаживайся, — пригласила она, стряхивая пепел с сигареты на пол. — Давай уберем это. — Изящным движением смела арахисовую кожуру и пивные банки в мусорное ведро, потом похлопала по сиденью металлического стула с желтой тканевой обивкой. — Садись.

С того момента, как я вошла в дверь, Ребекка не смотрела мне в глаза. Я ощупала свое лицо, дабы убедиться, что на нем не возникло что-нибудь отвратительное: неожиданный прыщ или сонная слизь в уголках глаз, или сопли, свисающие из носа. Но на лице не оказалось ничего. Я села. Мы неловко молчали. Ребекка, чего-то смущаясь, стояла у очищенного от мусора стола и нервно

теребила свою сигарету, я комкала перчатки, расстегивала и застегивала пальто. Наконец я кивнула в сторону бутылки вина.

— Надеюсь, тебе понравится, — начала я.

— Ну, вино отличное, — отозвалась Ребекка в замешательстве поворачиваясь к кухонным шкафам. — Я, вероятно, буду немного, но ты не стесняйся, пей. Теперь надо понять, куда подевался штопор. — Она открыла ящичек, полки которого были заполнены пакетиками с пряностями; на одной из них стояли банки с консервированной едой. В другом были тарелки и блюдца. Ребекка вытащила звенящий ящик, потом резко закрыла его. — Где-то в этом кавардаке должен быть штопор, а? — Она открыла еще один ящик и порылась в вилках и ложках. Следующий ящик был совершенно пуст. — Что ж, не везет. Давай бутылку, сделаем по-другому.

Кольца на пальцах Ребекки звякнули о стекло. Она подошла к раковине и замерла, примериваясь, потом ухватила бутылку за нижнюю часть и стукнула горлышком о край столика. Раздался резкий щелчок.

— Почти. — Она снова ударила бутылку, горлышко отломилось и упало, вино плеснуло на грязный пол. — Сойдет, — произнесла Ребекка,

бросая полотенце в красную лужицу и затирая ногой, обутой в высокий кожаный ботинок. — Один раз я видела, как человек сделал это, не пролив ни капли. Может быть, он воспользовался молотком… Не знаю.

— Он? — Я была бы рада спросить хоть о чем-то, но смогла лишь сказать: — Очень изобретательно.

Я улыбалась, но внутренне была невероятно обеспокоена угрюмым беспорядком в доме и тем, как небрежно — если не сказать хуже — к этому беспорядку относится Ребекка. Несколько секунд она расхаживала туда-сюда, облизывая пальцы. У нее что-то было на уме, но я не осмеливалась спросить, что именно. Наконец Ребекка посмотрела мне в глаза и нахмурилась.

— Я ужасная хозяйка, — вздохнула она.

— Не говори глупостей, — ответила я ей. — Ты бы видела, где живу я.

Кухню освещала лишь лампочка без абажура, свисающая с потолка на шнуре. Через окно я заметила машину, засыпанную снегом, а рядом с ней другую — двухдверный автомобиль Ребекки, лишь чуть-чуть припорошенный белым. Это было очень странно. «Может быть, это дом ее парня?» — гадала я. Быть может, она связа-

лась с кем-то из местных? Я предполагала, что это вполне возможно. Была ли я разочарована? Конечно. Я ожидала увидеть тонкий фарфор, красное дерево, фигурные зеркала, узорчатые покрывала, мягкие подушки, бархат, уют и декаданс, как на журнальных иллюстрациях. А это был дом бедного человека. Более того, бедного человека в тяжелых обстоятельствах. Мы все видели такие дома, грязные и унылые — никаких признаков жизни, никаких красок, словно зернистое черно-белое изображение на экране телевизора. В последующие годы я бесчисленное множество раз жила в таких местах — местах, куда сегодня не ступила бы даже ногой. Удивительно, какие вещи приучаются не замечать люди, живущие в подобной темноте. Единственное, что меня утешало в лицезрении этого дома — то, что он находился в еще худшем состоянии, чем мой.

Вот что я скажу о домах. Те идеальные, аккуратные здания в колониальном стиле, мимо которых я проезжала в начале этого вечернего пути через Иксвилл, — всего лишь «посмертные маски» нормальных людей. На самом деле в них все далеко не столь идеально и упорядоченно. Тот факт, что вы владеете таким домом, куда больше говорит

о беспорядке в вашей внутренней жизни, чем любой лепет психоаналитиков. Люди, у которых идеальные дома, просто одержимы смертью. Дома, столь тщательно отделанные, обставленные красивой мебелью высокого качества, со вкусом украшенные, где все на своих местах, становятся прижизненными гробницами. Люди, действительно поглощенные жизнью, живут в довольно неряшливых домах. В двадцать четыре года я косвенно знала это. Конечно же, в том возрасте я тоже была одержима смертью. Я пыталась отвлечься от ужаса не посредством поддержания дома в порядке, как это делали иксвиллские домохозяйки, а через странные пищевые пристрастия, непреодолимые привычки, непреходящую раздвоенность чувств, фантазии о Рэнди и так далее. Я осознала это лишь в тот момент, сидя за столом на кухне Ребекки и наблюдая, как она лущит арахис и облизывает пальцы: когда-нибудь я умру, но не сейчас. Пока я жива.

Мне в голову как-то пришел странный трюизм: «Если ты любишь меня, то не будешь замечать мои изъяны». Я пыталась говорить это многим мужчинам в своей жизни, и в ответ обычно слышала: «Тогда, полагаю, я тебя не люблю». Каждый раз, вспоминая это, я смеюсь. Я пыталась оказать

Ребекке сомнительное снисхождение, оправдывая ее несовершенства так же, как оправдывала свои. Мусор на ее кухонном столе означал, что она не хочет утруждать себя уборкой. Что ж, я тоже не хотела. И это имело для меня смысл. Конечно же, Ребекка могла позволить себе заплатить кому-нибудь за наведение чистоты в доме, но у нее просто пока не было времени, чтобы кого-то нанять. В конце концов, она только что приехала в наш город. Мне подумалось, что она великолепна. Ее нервозность, ее растрепанные волосы, ее потрескавшиеся губы — эти изъяны делали ее только прекраснее. Халат ниспадал с ее плеч, точно меховая мантия. Этой женщине сошло бы с рук что угодно.

— Ага, — воскликнула она, ставя на стол две чашки. Это были дешевые кофейные чашки, какие можно увидеть в столовке, со сколами и коричневым налетом изнутри. Ребекка неловко разлила в них вино из бутылки с отбитым горлышком. — Тебе нравится музыка? — спросила она, взмахнув изящным указательным пальцем. Движения ее были резкими, нервными. До меня дошло, что она, возможно, что-то приняла перед моим приездом. Многие женщины тогда пили таблетки для сохранения фигуры и от этого

делались беспокойными и настороженными. Не думаю, что Ребекка была выше этого. Когда я вспоминаю о ее манере держаться прямо, о ее длинной буйной шевелюре, ее странных, подобранных по цвету нарядах, она кажется мне невероятно тщеславной.

— Конечно, — ответила я, поднимая взгляд, как будто могла увидеть музыку, витающую в воздухе. — Очень нравится.

Ребекка придвинула ко мне миску, полную арахисовых скорлупок.

— Можешь воспользоваться этим как пепельницей. Только поосторожнее с вином, там может быть битое стекло.

— Спасибо, — отозвалась я и уставилась в темную жидкость. Вино пахло почти так же, как рвотные массы в моей машине.

— М-м-м, — промурлыкала Ребекка, попробовав его. — Просто чудесно. Надеюсь, ты потратила на него не слишком много. Выпьем. — Она встала у стола рядом со мной и подняла свою чашку. — С днем рождения, Иисус Христос! — Мы чокнулись чашками. Ребекка рассмеялась и вроде бы чуть-чуть расслабилась. — Как тебе канун Рождества, мисс Эйлин?

— Неплохо, — ответила я. — Утро я провела

у отца.

Я надеялась, что мой голос звучит достаточно спокойно.

— У отца? — переспросила Ребекка. — Я не знала, что у тебя здесь семья. Он живет в этой округе?

— Неподалеку, — ответила я. Я могла бы сказать ей правду: что до ее появления я была добровольной рабыней отца, что он сумасшедший пьяница и что я ненавижу его так сильно, что иногда желаю ему смерти, — но воздух и так уже был густым от печали. — От его дома до моего можно дойти пешком, — солгала я. — Это оказалось очень кстати после его выхода в отставку. Он чувствует себя очень одиноким.

— Это мило, — произнесла Ребекка. — То, что ты навещаешь его, а не то, что ему одиноко, — со смехом пояснила она.

Я попыталась застенчиво усмехнуться, но смешок получился совершенно невыразительным.

— Ты живешь здесь одна? — поинтересовалась я, пытаясь переключить беседу на нее.

— О, конечно, — ответила Ребекка, к моему величайшему облегчению. — Терпеть не могу соседей. Я люблю, чтобы у меня было свое личное пространство. И я иногда не прочь сильно пошу-

меть. Тут я могу крутить музыку так громко, как только хочу.

— Я тоже, — соврала я. — Не люблю соседей. В колледже я…

— Люди такие, какие они есть, и делают то, что делают, верно? — прервала меня Ребекка, прислонившись к шкафчику. Похоже, ответ ее не интересовал. Она неотрывно смотрела в чашку, губы ее были запятнаны вином, лицо немного раскраснелось. Меня очень озадачивал халат, который она надела. Он был старый, потертый и вылинявший, люди обычно не надевают такое при гостях. Неужели я была недостойна чего-то большего? — Я не верю, что мы делаем то, чего не хотим делать, — добавила она странную фразу, и голос ее теперь был мрачным и отстраненным. — Разве что нам в голову нацелят пистолет. И даже тогда есть выбор. И все же никто не хочет признавать, что они хотят быть плохими, совершать плохие поступки. Людям просто нравится испытывать стыд. Вся страна подсела на это, если хочешь знать мое мнение. Эйлин, позволь мне спросить… — Она повернулась ко мне. Я поставила на стол чашку — уже почти опустевшую — и посмотрела на нее глазами, в которых горело ожидание. — Те мальчики в тюрьме — они

плохие люди?

Это был не тот вопрос, который я надеялась услышать. Чтобы замаскировать разочарование, я задумчиво приподняла брови, как будто всерьез размышляя над ее вопросом о мальчиках.

— Думаю, большинству из них просто не повезло с самого начала, — ответила наконец я. — Почти все это — следствие неудачи в жизни.

— Думаю, ты права. — Ребекка отставила чашку и уронила в нее сигаретный окурок. Потом скрестила руки на груди и без всякого выражения посмотрела мне в глаза. — Но скажи мне, Эйлин, ты когда-нибудь хотела стать по-настоящему плохой, сделать то, что сама считаешь неправильным?

— Не совсем, — солгала я.

Не знаю, почему я отрицала это. Я чувствовала, что Ребекка видит мою неискренность насквозь, и это держало меня в напряжении, поэтому я укрылась за чашкой, допивая вино. Я хотела, чтобы меня понимали и уважали, и все же ощущала, что меня могут наказать, если я выдам свои подлинные чувства. Я понятия не имела, насколько тривиальны на самом деле были мои постыдные мысли и чувства.

— Можно воспользоваться твоим туалетом? —

спросила я.

Ребекка указала в потолок:

— Там, наверху, есть.

Я взяла свою сумочку и поднялась по лестнице, застланной грязным ковром, для равновесия держась за железные перила. Вес револьвера, оттягивавший мне плечо, успокаивал меня. Я просто хотела на несколько секунд взять его в руки, чтобы собраться с мыслями. Взбираясь наверх, я сожалела о своей трусости. «Как я смогу когда-либо стать счастливой, — спрашивала я себя, — если не позволяю себе раскрыться перед Ребеккой?» С моей стороны, конечно же, было глупо воспринимать все так серьезно. И все-таки я бранила себя за такую скрытность. Ребекка пригласила меня к себе домой, позволила мне увидеть ее в естественном состоянии, неряшливой и нервной. Это была дружба. Я не хотела разочаровывать Ребекку. Но если я собираюсь этим вечером раскрыть свою истинную натуру, если мы намерены упрочить связь между нами, мне нужно больше алкоголя, — так я думала.

Дверь санузла, выходящая на верхнюю площадку лестницы, была открыта настежь. Внутри ужасно пахло. Пол и стены были выложены розовой плиткой, стыки металлической фур-

нитуры сделались оранжевыми от ржавчины, пластиковая душевая занавеска покоробилась и побурела от плесени. Дверная ручка шаталась и не защелкивалась, из крана над ванной капало, да и сама ванна местами позеленела и воняла сыростью. На раковине тоже виднелись зеленые потеки, на бортике лежали истрепанная зубная щетка красного цвета и тюбик зубной пасты, выдавленный досуха. Под заляпанным зеркалом притулился тюбик губной помады. Я открыла его — ярко-розовая, почти до конца стертая помада. С перекладины душевой шторки свисали чулки телесного цвета. К засохшей пене на кусочке мыла прилипли короткие курчавые волоски. Я подумала про себя, что это, должно быть, лобковые волосы Ребекки. Я взяла мыло, намылила лицо, потом смыла пену и почувствовала себя немного лучше. Затем вытерла руки полотенцем и достала револьвер. Прикосновение к гладкому дереву и металлу успокоило меня. Я нацелила оружие на свое отражение в зеркале. Потом прижала револьвер к щеке — он был прохладный и твердый. От него пахло моим отцом — не едким безумием джина, как в те последние годы, а теплым, медовым запахом виски, как это было в детстве, когда мне не нужно было присматривать

за ним. Я положила «Смит-и-Вессон» обратно в сумочку и поправила волосы перед зеркалом.

Прежде чем вернуться в кухню, я тихонько обошла площадку и заглянула в ярко освещенные комнаты наверху. Одна из них была спальней — покрывало с розово-зеленым цветочным узором, дешевая настольная лампа на тускло-коричневом комоде, уродливые золотые серьги на голубом блюдце, пустая банка пива. На двери шкафа висело зеркало. Я хотела увидеть гардероб Ребекки изнутри, но не посмела зайти так далеко. Если она на самом деле была неряхой, а ее элегантность и утонченность являлись лишь маскировкой, может быть, у меня все-таки была надежда. Соседняя спальня в тот момент мне мало о чем сказала: маленький деревянный стол, широкая кровать с голым матрасом, вентилятор на прикроватном столике и маленький плюшевый медведь рядом, на стене — карта Америки. В этом всем не было особого смысла, но я предположила, что Ребекка, должно быть, сняла дом со всей обстановкой, и ей было просто некогда прибрать его. Я посмотрела в зеркало. Оттуда на меня глянуло бледное изможденное лицо. Я выглядела как старуха, как труп, как зомби. Когда я попыталась улыбнуться, это помогло лишь

чуть-чуть. Казалось нелепым, что прекрасная женщина хочет подружиться со мной. Сойдя вниз по лестнице, я надела маску, подобную той, что носил Леонард Польк, — спокойствие, уверенность, совершенная беззаботность.

Когда я снова села к кухонному столу, Ребекка опять деловито обшаривала шкафчики.

— Ага! — воскликнула она, поворачиваясь со штопором в руке. — Извини, слишком поздно. Давай допьем вино. — Разлила остатки по чашкам и снова сказала: — Спасибо, что принесла его.

— Думаю, это в каком-то смысле еще и вечеринка в честь новоселья, верно? Ведь ты же только что въехала сюда. — Я старалась, чтобы мой голос звучал бодро.

— Мне это нравится. Новоселье, да. Спасибо, — ответила Ребекка. — Это очень уместно. Нужно как следует обжить этот дом. Он такой обветшалый и грязный… — Она подняла воротник халата и приоткрыла рот, словно собираясь сказать что-то еще, но умолкла и сложила руки на груди.

— Ты давно здесь живешь? — спросила я. — Если ты не против таких вопросов.

— Я приехала в этот город всего пару недель назад, — отозвалась она, поправляя халат. — Надо сказать, я ожидала, что здесь будет холодно, но

не настолько. Это просто жестокий мороз. Хуже, чем в Кембридже. Но снег — это очень красиво. Как ты считаешь?

Мы продолжали эту поверхностную беседу. Волшебство ушло. Мы словно бы сломали лед, но стылая вода сделала нас вялыми и сонными от переохлаждения. Я решила, что упустила свой шанс стать ей настоящей подругой. Ребекка открыла передо мной дверь, а я захлопнула эту дверь у нее перед носом. Я оказалась скучной. Мне нечего было внести в общение. Я делала жалкие попытки оправдать свою невыразительность общим унынием.

— Я нечасто куда-то выбираюсь, — говорила я Ребекке. — Зимой здесь почти нечего делать. Да и в любое другое время года тоже.

— Ты катаешься на коньках? — спросила она с фальшивым энтузиазмом — я чувствовала эту фальшь. Я отрицательно покачала головой, улыбнулась, затем добавила:

— Но если хочешь, я научусь.

— Да нет, всё в порядке, — заверила Ребекка.

Обстановка была ужасно неуютной. Стул был жесткий, в доме было холодно. И все же я прихлебывала вино, кивала и улыбалась изо всех сил. Я знала, *что* скрываю: свое разочарование, свои

несбывшиеся фантазии, свою тоску. Что и почему скрывала Ребекка, было для меня абсолютной загадкой. Она пространно рассказывала о том, как обгорела на солнце летом, как у нее сводит судорогой руки, когда она ведет машину, о своих любимых художниках — насколько я помню, все они были представителями абстрактного экспрессионизма. Мы решили весной вместе съездить в Бостон, пройтись по художественным музеям, но мне все время казалось, что Ребекка прячется в каком-то отдаленном уголке своего разума, оставив рядом со мной только оболочку себя. Я думала: «Быть может, это все, чего я заслуживаю, — любоваться ею издали». С какой стати я могла решить, что такая женщина, как Ребекка — прекрасная, независимая, профессиональная, — на самом деле захочет свести со мной близкое знакомство? И что я вообще могу рассказать ей о себе? Я была никем, изгоем. Мне следовало быть признательной уже за то, что она ведет этот разговор. «Ты умеешь плавать? А кататься на лыжах? Где ты купила эту меховую шапку?» У меня складывалось впечатление, что она просто пытается из жалости развеселить меня, обратить в шутку мою скучную жизнь, старается подбодрить меня этими глупыми во-

просами.

Наконец я сказала:

— Мне пора ехать.

«Будут и другие вечера, — твердила я себе. — Настоящая дружба не возникает за один вечер. И лучше уйти в момент скуки, чем в момент разочарования». Я встала со стула и начала натягивать перчатки. И тогда Ребекка вскочила с табуретки, на которой сидела.

— Эйлин, — произнесла она, делая шаг ко мне, голос ее неожиданно стал низким, серьезным и трезвым. — Прежде чем ты уйдешь, мне нужно, чтобы ты помогла мне кое с чем. — Я решила, что она попросит меня вынести мусор или помочь ей перенести какую-нибудь тяжелую мебель, но Ребекка просто сказала: — Останься. Поговори со мной еще немного.

Она была обеспокоенной. Я подумала, что, быть может, она больна или ждет визита ревнивого любовника. Конечно же, я осталась. Я отчаянно жаждала еще вина. И я была голодна. Как будто подслушав мои мысли, Ребекка открыла старый холодильник и достала кусок сыра, банку маринованного лука и немного ветчины.

— Я сделаю нам сэндвичи, — сказала она. — Знаю, я действительно не умею принимать

гостей. — Я смотрела, как она моет две тарелки и промокает их полой своего халата. — Нам станет лучше, если мы что-нибудь съедим.

— Со мной всё в порядке, — возразила я. Эти слова, слетев с моего языка, прозвучали в этой холодной кухне грубо и неискренне. Я начала извиняться, лепеча что-то, но Ребекка прервала меня.

— Ты не хуже меня чувствуешь напряжение в воздухе, — сказала она. — Ты чувствуешь, я чувствую… А если это так, зачем отрицать? — Она покачала головой, пожала плечами, улыбнулась краем губ, потом повернулась ко мне спиной и стала собирать со столика ломти хлеба.

Я тонко и нервно хихикнула, не понимая, злится Ребекка или веселится.

— Извини, — пробормотала я.

Но она не обращала на меня внимания. Как будто не замечая повисшей между нами неловкости, Ребекка снова вернулась к разговору о «Мурхеде», одновременно готовя сэндвичи. Я смотрела, как она складывает их дрожащими руками. Я облизала потрескавшиеся губы, нащупала в сумочке револьвер и стала слушать ее речь. Ребекка, казалось, слегка успокоилась, однако голос ее сделался неожиданно низким. Стоя ко мне спи-

ной, она время от времени делала паузы и в такт своим словам пронзала воздух ножом.

— Они наняли меня, чтобы составить некое общее расписание для мальчиков, ежедневный план для большинства из них, как будто все они одного возраста и находятся на одном уровне. Как будто мы сможем просто вновь и вновь твердить материал урока. Это сама по себе нелепая идея. Я им не какая-нибудь сельская учительница девятнадцатого века. И эти мальчики могут обучаться. Большинство из них уже образованны. Конечно, нужно проводить тесты, идти методом проб и ошибок, чтобы понять, как это работает, и тут встает главный вопрос: какова цель, каков смысл всего этого? Я здесь не затем, чтобы научить их ремонтировать автомобильные моторы, в конце концов. Им нужно изучать литературу, историю, философию, точные науки. Вот о чем я думаю. Это задача не для одного, а для дюжины человек. Роберт не понимает, что у этих ребят есть разум, что они вообще разумные существа. Для него они просто стадо.

— Роберт? — переспросила я. — Ты имеешь в виду начальника тюрьмы?

— Начальник… — Ребекка покачала головой. — Все, что он делает, — это наказывает мальчишек

за то, что они передергивают. — Я вполне понимала, что она имеет в виду. — Ты ведь это знаешь, верно? — Ребекка слегка повернулась, продемонстрировав мне свое серьезное лицо в профиль. — Этот тип — просто черт-те что. Его смехотворная христианская риторика тут совершенно неуместна. Я узнала, что Леонарда Полька заперли в карцере за «непристойные прикосновения». — Она снова тряхнула головой. — На месте этих мальчиков я бы трогала себя все время. Это почти единственное развлечение, доступное им в таком месте, как «Мурхед», как тебе кажется? — Она повернулась ко мне лицом. Нос ее был сморщен, глаза блестели, внезапно наполнившись озорной, лукавой радостью.

— О да, конечно, — отозвалась я, помахав рукой в воздухе, чтобы обозначить свою гибкость мышления и то, что у меня нет возражений.

— Честное слово, — продолжала Ребекка, — я не понимаю, что в этом такого уж страшного.

Она опять тряхнула головой. Я пыталась вообразить, как Ребекка трогает себя, какие движения совершает, и как это отличается от того, что делала я, потому что мне казалось — учитывая то, что я уже знала о ней, — что она этого совершенно не стыдится. Я гадала, какой экстаз могут принести

такие прикосновения, если не глушить удовольствие стыдом. Но я не могла представить это себе. Сидя у кухонного стола, я ненадолго впала в ступор и была благодарна за то, что Ребекка продолжает говорить. Она сказала мне, что рада работать в тюрьме и довольна тем, что наконец-то получила свою ученую степень. По ее словам, она была уверена, что сможет добиться больших результатов, и ее заботили судьбы мальчиков.

— Как будто они — мои родные братья. — Я отчетливо запомнила эту фразу.

Ребекка протянула мне тарелку с сэндвичами. Мы сели и молча начали есть.

— Как ты, наверное, уже поняла, Эйлин, — сказала она через некоторое время, — я немного отличаюсь от большинства людей.

— О, ничуть, — возразила я. — У тебя очень милый дом.

— Пожалуйста, не нужно всей этой вежливости, — поморщилась она. — Я не имею в виду дом. — Она встала и поглядела на меня сверху вниз, грызя луковицу. — Я хочу сказать, что у меня есть свои собственные идеи. Я не такая, как те женщины, твои коллеги. — Это было очевидно. — Или как твои школьные учительницы, или как твоя мать. — Она поставила тарелку обратно

в раковину. — Я могу рассказать тебе о своих идеях. Может быть, у нас с тобой есть кое-какие общие мысли…

Теперь я чувствовала, что Ребекка испытывает меня: была ли я обычной, как «большинство людей», или же «не такой», похожей на нее. Я едва смогла съесть сэндвич, который она дала мне. Хлеб был несвежий, ветчина — липкая. И все же я, как хорошая девочка, послушно жевала и кивала.

— С годами я осознала кое-что, — говорила Ребекка, облизывая пальцы. — Я не верю в добро и зло. — Она протянула мне сигарету. Я взяла ее, благодарная за такой повод не доедать сэндвич. — Эти мальчики в «Мурхеде»… им там не место. Мне все равно, что они сделали. Ни один ребенок не заслуживает такого наказания.

Я выпила лишь две чашки вина, и поскольку не в моей натуре было спорить с кем-либо, если я не была пьяна, меня саму изумило то, что я сказала. Быть может, во мне проснулся отцовский дух, потому что обычно этот вопрос не очень-то волновал меня.

— Но все эти мальчики — преступники. Их нужно как-то наказывать, — заявила я.

Ребекка молчала. Я допила вино. Прошло

несколько моментов, я чувствовала, что моя голова делается тяжелой и кружится — не столько от алкоголя, сколько от раскаяния. Казалось несомненным, что я обидела Ребекку. Мой желудок сжался.

— Мне нужно идти, — сказала я. — Ты, должно быть, устала.

По моим подсчетам, к тому моменту я провела в этом доме меньше часа. Собственная кожа казалась мне жирной и горячей. Воздух словно был пропитан пылью, дымом и запахом испорченной еды. Я отложила сигарету. Ребекка, казалось, пребывала в глубокой задумчивости — я предположила, что она думает обо мне, о том, что у меня нет ни понимания, ни сочувствия. О том, какая я самодовольная обывательница. Я боялась, что меня стошнит. Мне казалось, что следует немедленно уехать домой. Но у Ребекки были другие идеи.

— Могу ли я довериться тебе? — спросила она, и голос ее неожиданно стал мягким, но настойчивым. Она присела на корточки рядом со мной, опершись одной рукой на стол.

Никто прежде не доверялся мне. Я смотрела ей прямо в лицо, затаив дыхание. Ребекка действительно была прекрасна в этот момент, когда

замерла в неподвижности, открытая и уязвимая, словно испуганный ребенок, заблудившийся в лесу. Она бездумно взяла мою руку; ее пальцы, касающиеся моей шершавой кожи, были прохладными и мягкими. Я пыталась расслабиться, показать, что могу принять и понять что угодно. Однако я ощущала, что мое лицо снова закрывает «посмертная маска». Я кивнула, зажмурившись, решив, что это может сойти за серьезный и понятный жест доверия. Если б в тот момент она попыталась поцеловать меня, думаю, я бы ответила ей.

— Это насчет Ли Полька, — сказала Ребекка.

Я действительно думала в тот момент, что меня стошнит. Я попыталась подняться, протянув руку за своей сумочкой и надеясь, что ей не хватит духу рассказать мне о том, как они целовались или что-нибудь еще хуже. Однако она опять сжала мою руку, вынуждая меня сесть.

Я испытала невероятное облегчение, когда она сказала не «я его люблю», а «он говорил со мной». И все же на ее лице было странное, извращенное выражение гордости и удовольствия. Я вспомнила самодовольство, с которым Джоани несколько лет назад сказала мне: «Он любит пробовать меня». Ребекка изо всех сил сжала мои пальцы.

— Он рассказал мне все. Что случилось, что он сделал и как оказался в «Мурхеде». Взгляни на это.

Она достала из кармана халата старую фотографию. Это был снимок с места преступления. Отец Ли Полька лежал на потемневшем от крови ковре, частично прикрытый скрученной простыней; рядом с ним виднелась разворошенная постель.

— Это его отец, — продолжила Ребекка. — Люди всегда полагают, что виноват эдипов комплекс. Убить отца, жениться на матери… Я сама так считала.

— Отвратительно, — произнесла я и снова посмотрела на фото.

Глаза мужчины были полуоткрыты, как будто он исподтишка, искоса, посматривал куда-то вниз. Руки его были закинуты за голову, пальцы прижаты к прикроватному столику. Я и прежде видела изображения мертвых людей в книгах и журналах — в основном важных персон, лежащих в пышных гробах; иногда это были военные снимки — солдаты, убитые на поле боя или тела людей, умерших от голода. И конечно же, повсюду, куда ни глянь, было изображение мертвого Христа на кресте. В личных делах других заключенных «Мурхеда» имелось несколько

фотографий с мест преступления, но ни одна из них не передавала сущность смерти так, как этот снимок. Даже вид мертвого тела моей матери не потряс меня так сильно. На самом деле она просто угасла, уходя по частице каждый день, пока не осталось ничего. Но из тела мистера Полька жизнь была вырвана разом, насильственно. Смерть присутствовала на этом фото. Я вывернулась из хватки Ребекки, вскочила и бросилась к раковине, выблевывая этот ужасный сэндвич и все выпитое мною вино.

— Извини, — произнесла я.

Ребекка встала позади меня и погладила меня по спине.

— Не надо извиняться, — ответила она и протянула мне холодное, мокрое посудное полотенце, все в пятнах. — От этого фото и должно становиться плохо. — Я открыла кран и стала смывать с тарелок свою рвоту. — Не утруждай себя этим, — сказала Ребекка.

— Извини, — повторила я.

Не знаю, насколько я на самом деле сожалела о случившемся. Этот приступ тошноты изумил меня. Не помню больше ни одного случая, когда от одного вида чего бы то ни было меня стошнило бы. Я хотела снова взглянуть на это снимок. В

нем было что-то, чего я не могла до конца понять. Мистер Польк, лежащий с отекшим, дряблым лицом в скомканных простынях, в ночной рубашке с тонкими полосками, посреди расплывшегося на ковре черного пятна, как будто хотел что-то сказать. За этим пустым выражением лица, запечатленным на фото, скрывалась какая-то иная жизнь.

Я хотела бы войти в этот снимок, осмотреть вспоротую глотку, коснуться крови, исследовать рану, как будто там таился некий секрет, — однако на фотографии горло умершего было не видно. Что таили эти полуприкрытые глаза? Что последнее видел в своей жизни мистер Польк? Ли, нож, темноту, жену, его собственную душу, отделяющуюся от тела? Мне нравился вид этих застывших, скошенных глаз. Я знала, что мистер Польк хранил какую-то тайну, которую я желала постичь. Я предположила, что он ведал смерть. Может быть, все было настолько просто.

— Где ты взяла это? — спросила я у Ребекки.

— Из дела Ли, — ответила она. — Жутко, да?

Я села обратно на стул, протрезвевшая и спокойная.

— Не совсем, — намеренно солгала я.

— Ли проник в спальню родителей с кухонным

ножом и вонзил его в горло отцу. Его мать утверждает, что впала в состояние шока. Она не сразу позвонила в полицию. По ее словам, она проснулась, нашла мужа мертвым и предположила, что в дом проник кто-то посторонний. Интересно, как можно проспать что-то подобное? Ты можешь себе это представить? Нож обнаружили в кухонной раковине, а Ли лежал в своей постели, обнимая плюшевого медведя.

По мере того как Ребекка говорила, выражение ее лица становилось все жестче. Я внимательно смотрела на это прекрасное лицо, на тонкие линии вокруг глаз, на нежную кожу, свежую и розоватую. В один момент она выглядела зрелой женщиной, в следующий — маленькой девочкой. Мои глаза словно бы вытворяли странные трюки, как будто я заглянула в «комнату смеха» с кривыми зеркалами или видела это все во сне. Ребекка похлопала по моей руке, чтобы привлечь мое внимание.

— Но Ли не в ответе за это все, — продолжила она. — Он объяснил это мне вчера. Рассказал о том, что ему пришлось испытать. Это слишком тяжело, чтобы ребенок мог держать это в себе. — Ребекка отвернулась, словно стараясь справиться с эмоциями, но когда снова посмотрела на меня,

она была спокойна, собрана и даже улыбалась. — Эта фотография ужасна, да. Она переворачивает все в тебе. Когда я увидела ее, а потом встретилась с Ли, я просто не могла сложить два и два. Чтобы умный, застенчивый мальчик сделал что-то подобное… Не складывается. Я спросила, действительно ли он это сделал — убил своего отца. — Она постучала пальцем по снимку, по лицу мертвого мужчины. — Ли сказал: да, он это сделал. Хотя на самом деле просто кивнул. Я спросила почему, но он просто пожал плечами. Он не сразу открылся передо мной, понимаешь? Мне пришлось задать правильный вопрос. Сначала я просто тыкалась впотьмах, наугад. Быть может, его отец бил его мать? Быть может, его мать убила его отца ради страховки? Что это было? У меня просто сложилось впечатление, что в их семействе творилось что-то неладное. В любом случае это было начертано на лице его матери. Ты видела ее. Я знала, что происходит нечто необычное. Поэтому я позвонила ей и попросила прийти на свидание. Я сказала ей: «Думаю, ваш сын хотел бы поговорить с вами». Ты видела их вместе. Бедный мальчик едва мог смотреть ей в глаза. И поэтому потом я просто спросила его, все так же наугад: «Что твой отец сделал с тобой?

Он трогал тебя?» И Ли заговорил. Он выложил все за несколько минут. Этот человек, мистер Польк, насиловал его, собственного сына. Никто никогда прежде не удосужился спросить Ли об этом. Никто не хотел знать.

К этому моменту глаза Ребекки были широко раскрыты от волнения, изо рта едва ли не текла слюна; ее ладони вскарабкались по моим предплечьям и выше и легли мне на плечи. Я была загипнотизирована розовым цветом ее языка и десен, черным налетом вина в уголках ее обветренных губ. Я и раньше слышала истории, подобные той, которую она поведала. Но у меня были самые смутные представления о том, что это могло означать.

— Не требуется ученая степень по психологии, чтобы добраться до истины, — хвастливым тоном произнесла Ребекка и отпустила мои плечи. — И не нужен срок в заключении, чтобы расставить все на свои места. Тюремное начальство и тюремные психологи в этом мире намного более безумны, чем большинство убийц, клянусь. Люди скажут тебе правду, если ты действительно захочешь ее услышать. Подумай об этом, Эйлин. — Она снова сжала мои руки. — Что могло заставить кого-либо убить своего отца? — Ре-

бекка вопросительно глядела на меня, ее глаза ощупывали мое лицо. — Что? — требовательно спросила она.

Я много лет обдумывала этот вопрос.

— Это убийство, — ответила я, — должно быть единственным способом вырваться из сложившейся ситуации.

— Да, единственным выходом, — кивнула Ребекка.

Мы снова уставились на снимок; ее голова была так близко к моей, что мы соприкасались щеками. Она привалилась к моему плечу, обвив меня одной рукой. Дом сотрясался от ветра, от снежного залпа задрожали плохо закрепленные стекла в кухонном окне. Я прикрыла глаза. Мне годами не случалось быть так близко к другому человеку. Я ощущала на своем запястье дыхание Ребекки, горячее, частое и ровное.

— Остается только гадать, — продолжила она, — почему мать ничего не предприняла?

Я посмотрела на нее. Ее странное, изменчивое лицо в свете лампы выглядело напряженным; брови были подняты, глаза широко раскрыты, рот чуть приоткрыт в ожидании или предвкушении, я не могла понять. Она казалась взволнованной, возбужденной, полной экстаза и изумления. Я

вздрогнула.

— Моя мать умерла, — сказала я, но это неуместное заявление не удивило Ребекку. Я затаила дыхание.

— С матерями очень сложно, — произнесла Ребекка. Неожиданно она встала и продолжила, глядя на меня сверху вниз: — Большинство женщин ненавидят друг друга. Это всего лишь естественно — все мы соперницы, особенно матери и дочери. Нет, конечно же, я не ненавижу тебя. Я не вижу в тебе соперницу. Я вижу в тебе союзницу, напарницу по преступлению, можно сказать. Ты особенная, — сказала она уже более мягким тоном. Я едва не расплакалась, услышав эти слова, и часто заморгала, хотя глаза мои были сухи. Ребекка подтвердила свое заявление, снова сжав мою руку, и присела на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне. — Ты помнишь его мать? — продолжила она. — Миссис Польк, ты запомнила ее, да?

— Она толстая, — кивнула я.

— Тише, — неожиданно прошептала Ребекка. Она встала и воздела палец в воздух, словно призывая к молчанию. Ветер продолжал греметь стеклами, но если не считать этого, в доме было тихо. Музыка оборвалась, а я и не заметила этого.

Я постаралась даже дышать потише.

— Мать Ли, — продолжила Ребекка, подчеркивая свои слова постукиванием пальцев по столу, — это настоящая загадка. Это невозможно описать в деликатных выражениях, Эйлин. Когда я слушала рассказ этого мальчика, мое сердце разрывалось. Но как мы с тобой знаем, очень важно явить истину на всеобщее обозрение. Ли сказал мне, что каждый вечер после ужина мать отводила его наверх, чтобы перед сном поставить ему клизму. Потом она просто сидела в гостиной, смотрела сериал «Новобрачные», или красила ногти, или уходила спать, или занималась чем-то еще, пока его отец делал с ним это. Почему она не остановила мужа? Ответ вполне очевиден: она не хотела его останавливать. Должно быть, ей от происходящего была какая-то выгода. Я просто не понимаю какая.

Конечно же, я испытывала отвращение, но и скептицизм тоже.

— Это просто ужасно, — сказала я, качая головой, потом добавила: — Омерзительно.

Я смотрела, как Ребекка отходит от стола и прислоняется к напольному шкафчику. Скрестив руки на груди, она устремила взгляд в потолок. Едва она отдалилась от меня, я ощутила холод

и одиночество. Я жаждала подняться и подойти к ней, запахнуться вместе с ней в ее халат, свернуться в ее объятиях, подобно маленькому ребенку.

— Ты действительно должна представить это, Эйлин, — продолжила Ребекка. — Вот ты, всего лишь ребенок, сидишь за кухонным столом…

Она проговорила мне весь ежевечерний порядок действий в доме Польков, как она его себе представляла. Описала, на какую глубину проникает клизма, размеры детских органов, как страдает прямая кишка от насильственного сексуального акта, а затем психологию отца — как он, должно быть, всю жизнь страдал от желания, которое не мог удовлетворить.

— Мотивация отца совершенно очевидна, — сказала Ребекка. — У него просто что-то замкнуло в голове. Когда он делал это со своим сыном, он считал это любовью. Как ужасно это ни звучит, любовь иногда бывает такой. Она заставляет человека насиловать собственного сына. Мы порой даже помыслить не можем о том, чтобы сделать нечто подобное, но мистер Польк, вероятно, не знал другого способа.

Я подумала о собственном отце, а потом о матери, как мало внимания они мне уделяли в

детстве, не считая тычков и щипков время от времени. Быть может, мне все-таки повезло. Очень сложно соизмерить задним числом, кому пришлось хуже.

— Но что касается матери — ее зовут Рита… я просто не понимаю ее мотивацию. — Ребекка была намерена разъяснить все.

Меня на самом деле совершенно не волновало семейство Польк — рядом со мной была Ребекка. Мы были соучастницами в преступлении. Она сама так сказала. Я готова была взрезать свою ладонь кухонным ножом и заключить обряд кровного родства, чтобы отныне и навсегда быть подругами, сестрами, товарищами. Но я сидела и внимательно слушала, изображая как можно более горячий интерес: кивая, хмуря лоб, хлопая глазами и так далее.

— У меня нет впечатления, будто мистер Польк запугивал ее, — продолжала Ребекка. — По-моему, она совершенно не выглядит так.

Я знала, что она имеет в виду. Когда миссис Польк приходила с посещением на этой неделе, она не была похожа на жертву. Она высоко держала голову, вид у нее был скорее сердитый, чем скорбный, и в том, как она глядела на нас — на меня, Рэнди, Ребекку, Леонарда, — чувствовался

привкус осуждения. И она не казалась одной из тех женщин, которые желают угодить всем окружающим. Она была толстой. Она носила уродливую одежду.

— Я полагаю, у этой женщины можно узнать что-то критически важное, — говорила Ребекка, — прежде чем дать ход делу Ли. Как я уже сказала, я не верю в наказание, но верю в возмездие. Отец Ли насиловал его. Он поступил дурно и был убит. Ли убил своего отца — и попал в тюрьму. Мать виновна в каком-то своем преступлении — и не понесла никакого наказания. И, Эйлин… — Она подалась вперед и положила руку мне на колено. — Не говори никому об этом, обещаешь?

Я кивнула. Прикосновения Ребекки к моей ноге было достаточно, чтобы я готова была пообещать что угодно. Я все еще не понимала ее откровений, ее мрачно-решительного настроя в отношении Польков. Какое значение это все имеет? Какое ей до этого дело? Она приподняла свой тонкий розовый палец, и я, согнув мизинец крючком, подцепила его. Мы тряхнули сцепленными руками. Этот жест был таким сердечным, таким чистым и одновременно таким извращенным, что мои глаза наполнились слезами.

— Это не мой дом, Эйлин, — призналась Ребекка. — Это дом Польков. И я оставила Риту Польк связанной внизу, в подвале.

* * *

Следует сказать, что поскольку в юные годы в Иксвилле я жила довольно замкнуто, у меня было мало опыта относительно прямых конфликтов между людьми. Ссоры родителей за ужином во времена моего детства, по сути, велись ни о чем, это были лишь поверхностные неурядицы, скрывавшие под собой те глубокие обиды, которые каждый из них носил в себе. Я в этом уверена. До рукоприкладства никогда не доходило, хотя в последние годы отец иногда хватал меня широкой ладонью за тонкую шею и угрожал, что может придушить меня в любой момент, когда захочет. Это не причиняло мне боли. Его хватка на моей глотке, по сути, была чем-то вроде бальзама — это было все внимание, которое я от него тогда получала. Помню, когда мне было двенадцать лет, пропала девочка, жившая в соседнем городке, а потом ее нагое тело волны выбросили на скалы у иксвиллского побережья. «Никогда не садитесь в машину к незнакомым и кричите, если кто-то попытается схватить вас», — предупреждали

нас учителя, но их тревога не страшила меня. Наоборот, я втайне мечтала о том, чтобы меня похитили. По крайней мере, тогда я знала бы, что имею для кого-то значение, представляю какую-то ценность. Насилие имело для меня куда больше смысла, чем любые напряженные разговоры. Если б в мои детские годы мои родные чаще прибегали бы к «кулачным аргументам», все могло бы обернуться иначе. Я могла бы остаться в Иксвилле.

Наверное, может показаться, что я слишком жалею себя, сетуя на то, что мой отец любил меня недостаточно, чтобы бить. Ну так и что? Теперь я стара. Мои кости стали хрупкими, волосы поседели, дыхание сделалось медленным и поверхностным, аппетит поубавился. Я получила полную меру — и сверх того — синяков и шишек и прожила достаточно долгую жизнь, чтобы жалость к себе перестала быть нелепой привычкой, а стала чем-то вроде мокрого холодного полотенца на лбу, унимающего лихорадочный страх перед неизбежной кончиной. Бедная я, да, бедная я. Когда была юна, я совершенно не заботилась о своем физическом благополучии. Все молодые верят, что они неуязвимы, что они достаточно хорошо знают мир, чтобы не слушать никаких

глупых предупреждений. Именно такого рода тупая отвага увела меня прочь из Иксвилла. Если б я знала, насколько опасно место, куда я бегу, я могла бы так и не решиться уехать. В те годы Нью-Йорк-Сити был неподходящим местом для молодой женщины, особенно для такой молодой женщины, какой была я, — доверчивой, беспомощной, полной ярости, вины и тревоги. Если б кто-нибудь сказал мне, сколько раз меня будут тискать и щупать в подземке, как часто мне будут разбивать сердце, сколько дверей захлопнется перед моим носом, сокрушая мой дух, — я могла бы остаться дома с отцом.

Живя в Иксвилле, я читала описания случаев насилия в тюремной картотеке — ужасных случаев. Нападения, разрушение, предательство, — но пока это все не затрагивало меня, оно меня не тревожило. Эти описания были все равно что статьи в «Нэшнл джиогрэфик». Их подробности лишь питали мои извращенные грезы и фантазии, но никогда не заставляли меня опасаться за свою безопасность. Я была наивной и бессердечной. Меня не волновало благополучие других людей. Я беспокоилась лишь о том, как заполучить то, чего я хотела. Так что когда откровения Ребекки вылились на меня, я была далеко не так сильно

потрясена, как этого можно было бы ожидать. Однако я была оскорблена. Неожиданно мне стало ясно, что ее дружба была вызвана не только — а может быть, и не столько — уважением и приязнью ко мне, как я предпочла бы думать. Было понятно, что создание этих уз было со стороны Ребекки, стратегическим ходом. Она предположила, что я могу быть полезна для нее, и в итоге, думаю, так и вышло.

— Извини, пожалуйста, — пробормотала я, пытаясь скрыть разочарование. — Я действительно не очень хорошо себя чувствую.

Я могла бы сказать ей, что она сошла с ума, что я не желаю иметь с ней ничего общего, что ее следует арестовать за то, что она сделала. Однако я испытывала невероятную боль и обиду из-за того, что она решила соблазнить меня и сделать чем-то вроде сообщницы, и потому не могла подобрать слова и составить из них внятную фразу. Хотя, полагаю, хватило бы и слов «удачи тебе». Как бы то ни было, я не собиралась показывать ей, как сильно она меня ранила, — я и без того чувствовала себя достаточно униженной. Как же глупа я была! Конечно же, Ребекка в действительности не любила меня. Я была нелепой, уродливой, слабой, странной. Разве такая, как она, захочет

подружиться с такой, как я?

— Мне действительно пора ехать, — произнесла я, поднялась и направилась к двери. Однако в прихожей Ребекка догнала меня и схватила за локоть.

— Пожалуйста, — сказала она, — не убегай так быстро. Я вроде как в легком затруднении.

Глядя на нее, я определенно могла сказать, что она боится. Я думала о том, чтобы вырваться и поехать домой, рассказать обо всем отцу, позвонить копам. Но Ребекка смотрела на меня так, словно я могла ее спасти, и просила:

— Пожалуйста, Эйлин, ты мне очень нужна. Мы ведь друзья.

Эти слова поколебали меня. Она протянула мне сигарету и дрожащими руками поднесла зажигалку.

— Ты единственная, кому я доверяю, — выдохнула Ребекка. Этих слов было достаточно, чтобы остановить меня. Я предпочла поверить, что она все-таки уважает меня. Она хочет, чтобы я была рядом с нею. Слезы навернулись ей на глаза и потекли по щекам. Она вытерла их обшлагом халата, всхлипнула, содрогнувшись всем телом, и вопросительно поглядела на меня.

— Ладно, — ответила я. Никто прежде не умо-

лял меня со слезами на глазах. — Я тебе помогу.

— Спасибо, Эйлин, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы, и вытерла нос о рукав. — Извини, я ужасная неряха.

Мне доставило удовольствие видеть ее такой испуганной и уязвимой. Она взяла с кухонного столика еще один ломоть хлеба и несколько секунд задумчиво смотрела на него.

— Не знаю, как я в это впуталась. Но раз уж мы взялись за это дело, то должны довершить то, что начали.

Я села на стул, выпрямив спину, скрестив лодыжки, словно леди, и сложив руки на коленях, и негромко предложила:

— Мы можем позвонить в полицию и объяснить, что случилось. Мы можем сказать, что это был несчастный случай.

Я отлично знала, что мое предложение нелепо. Я просто хотела увидеть ее в максимально глубоком отчаянии и насладиться этим. Хотя бы этого я заслуживала в обмен на свою верность.

— И что именно мы скажем? — отозвалась Ребекка. — Что я случайно связала ее? Меня отправят за решетку, — всхлипнула она.

— Мой отец был копом, — сообщила я ей. Ребекка смотрела на меня широко распахнутыми

глазами. — Конечно, я не скажу ему, но, допустим, если мы заявим, что миссис Польк угрожала тебе…

— Последнее, что нам нужно, — это вмешательство полиции. Ты же знаешь, мистер Польк был полицейским. Если б полиции действительно было какое-то дело до правосудия, то мне вообще не понадобилось бы появляться здесь. Я не могу отправиться в тюрьму, Эйлин. Люди не поймут, какое доброе дело я пытаюсь сделать. — Ребекка помахала ломтем хлеба и бросила его в раковину, потом раскурила сигарету и посмотрела на бутылку с отбитым горлышком. Вина в бутылке уже не было. — Я бы выпила.

— Никакой выпивки, — возразила я, удовлетворившись тем, что она была в достаточно сильном отчаянии, чтобы не осуждать меня. — Нам нужно сохранить разум. Мы должны добыть признание. — Я старалась говорить деловитым тоном. Потом затушила сигарету и хлопнула ладонью по колену.

— Нам нужно заняться делом. — Ребекка слабо улыбнулась.

— Расскажи мне, что случилось. Расскажи мне все.

Она поежилась, и это зрелище доставило мне

удовольствие. Ребекка снова стала теребить волосы, дергая и крутя пряди, одновременно меряя шагами кухню.

— Это началось вчера, ближе к вечеру. Я заявилась в дом миссис Польк, — начала Ребекка. Ей удалось совладать с голосом, заставить его звучать спокойно, собрано и располагающе, как будто она репетировала свое выступление перед судьей или судом присяжных. — Я обвинила ее и ее покойного мужа в том, что они сделали, пересказала все, что Ли поведал мне о клизмах, о сексуальном насилии, обо всем.

Она вскинула руку, словно указывая на верхний этаж, где и происходили эти постоянные изнасилования. Я едва могла понять насилие так, как она рассказывала мне о нем — какая часть тела куда входит, для чего нужна клизма, и так далее. Мне все еще было неясно, что это означает. Я была наивной и извращенной и теоретически знала, что такое гомосексуализм, однако у меня не было личного опыта, и я не могла вообразить сексуальное соитие достаточно отчетливо, чтобы понять эту извращенную форму — насилие над мальчиком.

— Что именно его отец делал с ним? — спросила я. Ребекка прекратила расхаживать и посмотрела

на меня как на идиотку. — Просто для ясности, — добавила я.

— Содомия, — ответила она. — Анальная пенетрация. Это достаточно ясно?

Я кивнула, хотя это показалось мне невероятным.

— Говори дальше. — Я откашлялась. — Я слушаю тебя.

— Миссис Польк, конечно же, все отрицала, — продолжила Ребекка. — Она называла своего мужа святым, сказала, что никогда не слышала слова «клизма» до того, как я его произнесла. «Я даже не знаю, для чего нужна эта штука». Но я продолжала спрашивать: «Почему вы не забрали Леонарда и не сбежали? Почему вы позволили, чтобы это продолжалось? Как вы могли стать соучастницей этих пыток?» И она просто ничего мне не ответила. Я велела ей обдумать это. Оставила свой номер телефона. Но я знала, что она не позвонит. Прошлой ночью я так и не смогла уснуть. Меня просто разъедало заживо то, что эта женщина лгала мне в лицо. Поэтому я вернулась сюда сегодня утром. Она, конечно же, не сказала ничего нового. Отпиралась еще энергичнее. Назвала меня сумасшедшей. Я пригрозила сообщить о том, что она делала. А потом

мы подрались, потому что то, что я сказала, разозлило ее. Я пыталась убедить ее, что действую во благо Ли и что хочу помочь и ей тоже. Но она не слушала. Она разъярилась и напала на меня. Видишь? — Ребекка распахнула халат и задрала блузку, чтобы показать мне мелкие царапины поперек груди: ничего страшного, насколько я видела, даже шрамов не должно было остаться. Ее тело было тонким и чистым, белая кожа словно бы светилась изнутри, ребра напоминали клавиши пианино, сделанные из слоновой кости, живот был плоским и гладким, без выпирающей мускулатуры. Лифчик, охватывающий маленькую грудь, был сшит из черного атласа и изящно отделан кружевом.

— Мне пришлось связать ее, — сказала Ребекка, покачав головой. — У меня не было другого выбора. Она угрожала позвонить в полицию. И что бы я им сказала?

— Ты поступила правильно, — заверила я ее, стараясь придать взгляду жесткость, а лицу — невозмутимость, надеясь убедить Ребекку в своем бесстрашии, спокойствии и способности обуздать ужас перед страшным преступлением, совершенным против ребенка. Я хотела выразить готовность довести дело до конца, хотя понятия

не имела, что это может означать.

Раздражение Ребекки немного утихло. Она отбросила волосы на спину.

— На самом деле я не причинила ей вреда. Ей не больно. Она долго кричала, поэтому я включила музыку. Но теперь она умолкла. Я полагала, что в конце концов она скажет правду, примет свою часть вины, и тогда мы сможем уладить все. Но она не признаётся ни в чем. Она вообще отказывается говорить. Я не могу долго держать ее связанной, особенно на таком холоде. Я не преступница. Она заслуживает куда худшего, но я не злодейка. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Не могу сказать точно, почему Ребекка решила втянуть меня в свои действия. Действительно ли она считала, что я могу ей помочь? Или я должна была присутствовать там лишь затем, чтобы наблюдать за ее блестящим проектом и отпустить ей грехи? Я снова и снова задавала себе вопрос: насколько искренним было ее сочувствие? Какие именно у нее были мотивы для того, чтобы вмешаться в драматическую историю семейства Польк? Быть может, она искренне считала себя той, у кого есть власть принести кому-то возмездие за грехи, что она может свершить правосудие благодаря своему разуму, своему блестящему

мышлению? Быть может, те, кто рожден в привилегированной среде, иногда впадают в такие заблуждения. Но сейчас она была напугана. Вероятно, миссис Польк оказалась более закосневшей во зле, чем рассчитывала Ребекка.

— Оставь ее там еще на несколько часов, — предложила я. — Это будет наказанием для нее. В конце концов она заговорит.

— Но она не сказала ни слова, — всхлипнула Ребекка и снова прислонилась к напольному шкафчику, скрестив руки на груди. — Эта клятая баба не желает признаваться. Она просто непрошибаема. Такая же молчунья, как ее сын.

— Напои ее, — выдвинула я еще одно предложение. Когда люди пьяны, они всегда говорят то, о чем хотели умолчать.

— С ней это вряд ли сработает, — вздохнула Ребекка. — К тому же винные магазины уже закрыты. Нам нужно письменное признание. Что-то, что она не сможет отрицать впоследствии. Но она недостаточно напугана, чтобы сознаться хоть в чем-то. И я не смогу выбить признание силой. — Ребекка многозначительно посмотрела на меня. — Ты когда-нибудь кого-нибудь избивала? — спросила она, с явным усилием выговаривая слова и запинаясь.

— Нет, — ответила я, — хотя иногда представляла себе это.

— Конечно, конечно. — Она снова принялась расхаживать по кухне, отщипывая кусочки от нового ломтя хлеба и скатывая их между пальцами в маленькие шарики. В желудке у меня заурчало. — Нам нужно подумать. Как следует подумать.

Миновало несколько секунд. Потом ко мне пришло решение, такое простое и легкое, что я едва не рассмеялась. Я повернулась к своей сумочке, висящей позади меня на спинке моего стула, осторожно достала револьвер и положила на стол.

— Это — моего отца, — пояснила я, морща лицо от неудержимого желания засмеяться, хотя пыталась плотно сжимать губы, чтобы даже не улыбнуться.

— О боже, — пробормотала Ребекка, широко раскрыв глаза. Халат упал с ее плеч. Она направилась к столу; халат волочился за нею, подобно королевской мантии. — Он настоящий? — Глаза ее были стеклянными от благоговения.

— Настоящий, — подтвердила я. Ребекка протянула руку, чтобы коснуться пистолета, но я забрала его, крепко держа правой рукой. — Тебе

лучше не трогать его. Он может быть заряжен, — сказала я ей, хотя полагала, что это не так. Каким образом он мог оказаться заряжен?[12] Мой отец не был настолько безумен, считала я.

— Это невероятно, — промолвила Ребекка. Но потом спросила: — Почему он у тебя? Зачем ты принесла его с собой?

Что я могла сказать? Во что она поверила бы? Я сказала правду.

— Мой отец болен, — призналась я, постучав по своему виску согнутым пальцем, — и я боюсь, что он может что-нибудь сотворить, если оставить его наедине с оружием.

Ребекка мрачно кивнула.

— Понимаю. Ты — ангел-хранитель своего отца. Спасаешь его от него самого.

— Спасаю других, — поправила я. Я не хотела, чтобы Ребекка считала меня мученицей. Я хотела быть героиней.

— Крутая девушка, — произнесла Ребекка, бросив на меня лукавый, заговорщицкий взгляд — тот же самый, который я видела в «О'Хара»

---

[12] Примечания: 12

Автор ошибается и никаких «может быть» здесь не допускается. По барабану револьвера сразу видно, заряжен он или нет, — если только, как в «русской рулетке», не заполнена лишь одна камора, располагающаяся в данный момент ровно напротив ствола.

несколько дней назад. — Из нас получится отличная команда, — добавила она.

Я представила нас обеих в качестве некоего дуэта нарушительниц закона: Ребекка со своим нахальством и своеобразным отношением к морали, и я со своим пустым взглядом и револьвером. Я положила оружие обратно на стол. Ребекке, похоже, очень хотелось подержать его в руках.

— Пойдем вниз, — сказала она, поднимая с пола свой халат и, сморщив нос, туго затянула пояс халата на талии. — Там грязно, — пояснила Ребекка.

Но я медлила. Если внизу действительно лежала связанная женщина, это означало, что мое время наедине с Ребеккой на исходе.

— А что, если Ли солгал? — спросила я. — Что, если он все это придумал? У него было время, чтобы выдумать вескую причину для убийства и обвинения матери. Миссис Польк может быть невиновна. Как ты думаешь?

— Эйлин. — Ребекка сурово посмотрела на меня, прижимая ладони к груди. — Если б ты только видела слезы этого мальчика, слышала этот рассказ из его собственных уст, видела, как он дрожит и плачет, ты ни на секунду не усо-

мнилась бы в его словах. Смотри, — сказала она, кладя фотографию мистера Полька рядом с пистолетом. — Этот человек заслуживал куда худшего, чем то, что получил. Разве ты не видишь?

Я снова взглянула на снимок, на эти полуприкрытые, скошенные вбок глаза. Мертвое тело было таким странным, навевающим тревогу, что я невольно поверила — он заслужил свою кару. Верить в обратное было слишком тяжело. В те времена я готова была поверить во что угодно, лишь бы избежать столкновения со страшной действительностью. Такова молодость.

— Ладно, — кивнула я. — Ты думаешь, револьвер на нее подействует?

— Память — хитрая штука, — отозвалась Ребекка. Она чуть успокоилась, ее тревога словно бы унялась. — Миссис Польк находится в состоянии глубокого отрицания. Она хранила тайну так тщательно, вероятно не обмолвившись о ней ни единой живой душе, что ей, вполне возможно, трудно даже вспомнить, что происходило на самом деле. Люди жалеют ее, ты ведь знаешь. Все считают ее просто одинокой скорбящей вдовой. Никто не захочет расспрашивать женщину, находящуюся в таком состоянии. Никто не хочет даже находиться рядом с ней — рядом с жертвой

ужасных обстоятельств. Мы все считали, что она просто жалкая, несчастная женщина. Но никто не додумался задать ей правильные вопросы. Я первая, кто озаботился этим. — Ребекка собрала волосы сзади и быстро, умело заплела их в косу. Она была невероятно красива, даже в резком свете голой лампочки, даже с красными припухшими глазами. — Она ни разу не навещала Ли с тех пор, как тот попал в «Мурхед». Только после того, как я, прочитав его дело, позвонила ей.

На мгновение Ребекка словно бы впала в отрешенную задумчивость, глядя на дверь погреба.

— Эйлин, — сказала она наконец, оборачиваясь и пристукивая кулаком по столу. — Если миссис Польк поверит, что на кон поставлена ее жизнь, у нее не будет причин отрицать что-либо. Она сможет признаться. Мы можем дать ей такую возможность, вне зависимости от того, хочет она этого или нет. Впоследствии она будет нам благодарна. Мы делаем хорошее дело. Вот увидишь. Давай так… — Ребекка потянула шарф, болтавшийся у меня на шее. — Мы скроем твое лицо. Так будет страшнее, и она не узнает, кто ты такая. Она не сможет опознать тебя, хотя и видела тебя в «Мурхеде». А если опознает, это может осложнить ситуацию.

Ребекка обмотала шарф вокруг моей головы, потом натянула его край мне на лицо, так что на виду остались только глаза. Потом хихикнула.

— Ты выглядишь круто. Теперь бери револьвер. Покажи, как ты его держишь.

Я сделала то, что она велела, держа оружие обеими руками, вытянутыми вперед, и склонив голову.

— Отлично, Эйлин, — улыбнулась Ребекка, уперев руки в бока и прищелкнув языком. — Крутая девушка, — снова сказала она.

Я смотрела, как Ребекка идет к двери погреба, отпирает замок и вытаскивает цепь, удерживавшую дужки засова. Потянув за скобу, она открыла дверь, ведущую на темную крутую лестницу. Пошарив рукой по стене, дернула за грязный шнур. Зажегся свет. Ребекка обернулась, тяжело дыша и улыбаясь, и сжала мое плечо.

— Идем, — позвала она. Я взяла свободной рукой сумочку и следом за ней спустилась по ступеням.

* * *

— Рита? Это я, — позвала Ребекка. Голос ее был осторожным, мягким, словно у медсестры или учительницы. Это удивило меня.

Под шарфом, прикрывавшим нижнюю часть моего лица, у меня потел и чесался нос, но видела я отчетливо. Лестница была крутой, и спуск занял столько времени, что мне казалось, будто мы спускаемся в трюм какого-нибудь старого корабля или в гробницу. Свет от такой же голой лампочки отбрасывал резкие черные тени, которые разбухали и сжимались на утоптанном земляном полу, когда лампочка раскачивалась на шнуре. Я шла осторожно, нашаривая каждую ступеньку, чтобы не упасть и не опозориться. Внизу на меня вновь снизошло спокойствие. Темная, холодная сырость погреба погасила мою пульсирующую тревогу, приглушила громкий стук моего сердца. Мне вспомнились книги о девушке-детективе Нэнси Дрю, которые так любила Джоани. Одна из них называлась «Тайный погреб». Конечно же, мне было не по себе в роли Эйлин-заговорщицы, Эйлин-сообщницы-с-револьвером, но оказавшись внизу, я успокоилась. Этот подвал неким образом был моей территорией. У подножия лестницы я решительно ступила на земляной пол.

— Будь крутой, — шепнула мне Ребекка.

Но я уже была крутой. Револьвер в моей руке ни разу не дрогнул. Повернувшись лицом к углу

погреба, я увидела миссис Польк. Она полулежала на полу — связанные ноги согнуты в коленях, — привалившись спиной к стене. На ней были грязные белые носки и пожелтевшая ночная рубашка с кружевом по вороту. Распущенные волосы стояли дыбом, глаза были мокры от слез. Эта картина глубоко впечаталась в мою память. Миссис Польк была похожа на старую толстую Золушку; взгляд ее светлых глаз перебегал с меня на Ребекку и обратно, и в этих глазах не читалось раскаяния. Ребекка связала запястья женщины поясом от ее домашнего халатика и привязала их к трубе, уходящей в потолок. Здесь, в погребе, практически не было ничего другого, к чему можно было привязать пленницу: у стены стояла старая ржавая газонокосилка на колесах, сломанное деревянное кресло, а в углу валялась груда деревяшек, похожая на какую-то разобранную мебель: обеденный стол или детскую кроватку.

— Не стреляйте! — вскрикнула женщина, безуспешно пытаясь прикрыть лицо связанными руками. — Пожалуйста, не убивайте меня, — молила она.

В тот момент это казалось нелепым. Конечно же, я не собиралась стрелять в нее. Я была рада, что мое лицо прикрыто. Это не позволяло миссис

Польк увидеть мою усмешку, которая могла бы успокоить ее. И все же я продолжала держать пистолет нацеленным в ее сторону.

— Она вполне может пристрелить вас, — мягко, уговаривая, произнесла Ребекка, — если вы не скажете нам правду.

— Какую правду? — всхлипнула женщина. — Я не знаю, чего вы хотите. Пожалуйста…

Она уставилась на меня, словно ожидая ответа. Я хранила молчание. Даже там, в подвале, когда я держала несчастную женщину под прицелом, во всей этой ситуации присутствовал любопытный элемент игры «понарошку». Я точно так же могла бы сидеть в темном чулане с другими детьми, рассказывая им страшные истории и пытаясь в потемках ухватить кого-нибудь, чтобы напугать еще больше, — словом, делать то, чего не сделала бы при свете дня. Я никогда не играла в такие игры в детстве, но мне представлялось, что когда игра заканчивается и все вылезают из чулана, то в мире все остается таким же, каким было до игры. Ничего плохого не случилось. Все вернулось к нормальному течению. Однако есть некое потайное следствие: или твоя популярность и престиж возросли, или, если ты плохо фантазировал и рассказывал, твоя репутация пострадала. Здесь,

в погребе, ставкой было отношение Ребекки ко мне, мое счастье. И все же я верила, что ее план сработает: мисс Польк почувствует облегчение, когда сознается в том, что она и ее муж сделали с их сыном, поблагодарит Ребекку за извлечение давно похороненной истины на свет, за спасение от чудовищной тайны и лжи. После этого миссис Польк сможет встретиться с сыном уже по-другому. Она снова сможет жить нормально. И в результате мы с Ребеккой навеки станем лучшими подругами. Все будет замечательно.

— Пожалуйста, — повторила миссис Польк. — Чего вы от меня хотите?

— Объяснений. — Ребекка выпятила грудь и положила ладони на бедра. — Рита, мы знаем, что вам было нелегко замужем за человеком, который любит маленьких мальчиков. Мы понимаем, что вы долго пробыли в этом доме наедине с осознанием своей вины. Вам, конечно же, пришлось нелегко. Скажите, почему вы помогали своему мужу делать то, что он делал, — почему вы ставили Ли клизмы? Почему вы никому не рассказали о том, что происходит? Поведайте нам. Снимите с души этот груз.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — заявила миссис Польк, отводя глаза. — Я никогда бы не

сделала Ли ничего плохого. Он — мой сын. Моя плоть и кровь. Я — его мать, во имя Христа!

— Эйлин, — произнесла Ребекка, и я вздрогнула от звука моего имени. — Сделай что-нибудь.

Выставив револьвер, я сделала шаг к миссис Польк. Она издала странный дрожащий вопль, потом закричала, снова и снова взывая о помощи. Где-то наверху залаяла собака, и этот звук эхом отдавался в погребе в промежутках между криками женщины. Ребекка зажала уши ладонями.

— Тихо, — велела я. Но миссис Польк кричала слишком громко, чтобы услышать меня. — Твой визг тут не поможет, — рявкнула я, повысив голос — так громко я никогда прежде не говорила. — Заткнись!

Она прекратила кричать и посмотрела на меня, втягивая воздух короткими быстрыми вдохами и брызгая слюной изо рта. Я подошла еще на шаг ближе и навела револьвер прямо ей в лицо. Я пыталась сообразить, что бы в такой ситуации сказал и сделал мой отец.

— Не думай, что я не нажму на спуск, — начала я. — Кто тебя хватится? Ты можешь вечно гнить здесь. Мы можем похоронить тебя прямо здесь, — я топнула ногой по утоптанному земляному полу, — и никто не придет выкопать твой

труп, потому что никому нет дела, жива ты или умерла.

Могу сказать только, что благодаря моей домашней обстановке и профессии я годами исподволь училась тому, как говорить с человеком так, чтобы у него не осталось другого выбора, кроме повиновения. По сути, я обладала уникальной подготовкой и опытом, позволяющим выжать из этой женщины всю отвратительную правду. Я размышляла. Я смотрела на Ребекку. Казалось, мое выступление произвело на нее глубокое впечатление. Она сделала шаг назад, чуть приоткрыв рот, и слегка помахала рукой, словно говоря мне продолжать дальше в том же духе. Это было восхитительно. Я поправила край шарфа, прикрывавший мой нос, и наклонилась над миссис Польк. Ее лицо было мокрым от слез и красным, как жарящаяся свинина.

— Смерть будет благословением для такой, как ты, — продолжила я. — Признай это. Ты слишком горда, чтобы осознать, что ты сделала со своим сыном. Ты скорее умрешь, чем сознаешься, что сделала что-то не так. Жалкая тварь, — фыркнула я, пиная ее по ступне, и добавила: — Свинья.

Мой голос отражался от стен странным коротким эхом. Мисс Польк отвернулась; лицо ее

застыло от страха, она зажмурилась, но время от времени чуть приоткрывала глаза, чтобы взглянуть на револьвер. И тихо хныкала.

— Ты хочешь умереть? — Я неожиданно рванулась к ней, остановив дуло в дюйме от ее лица, потом оглянулась на Ребекку. Она стояла посреди зыбких теней, широко раскрыв глаза и улыбаясь. — Признавайся! — заорала я на миссис Польк еще громче, чем прежде. Я была так захвачена своей убедительной симуляцией ярости, что действительно начала ощущать гнев. Сердце мое неистово колотилось. Весь погреб казалось, скрылся в черноте, кроме обрюзгшего тела миссис Польк, содрогающегося на полу. Словно опьянев, я снова набросилась на нее. Присев, попыталась ударить ее пистолетом по голове, но удар едва скользнул по ее макушке. По моему сжатому кулаку мазнули грязные волосы. И все же этот жест заставил ее сжаться и заплакать еще сильнее.

Ребекка сделала шаг вперед.

— Я не смогу защитить вас, если вы не признаетесь, — произнесла она и добавила: — Эйлин уже случалось убивать людей, знаете ли.

— Верно, — подтвердила я.

Это была нелепая сцена: две девушки занимаются общим делом, толком еще не познакомив-

шись друг с другом. Если б мне пришлось снова делать это, я бы спокойно прижала ствол револьвера к груди женщины и позволила бы Ребекке произносить речь. Я не вышла бы так из себя. Когда я оглядываюсь назад, мне стыдно за этот эпизод. Но как бы по-дурацки я ни размахивала револьвером, само его наличие у меня оказало воздействие на миссис Польк. Выражение надутой спеси окончательно сбежало с ее лица, и когда она открыла глаза, они были полны ужаса и готовности.

— Расскажи нам, что произошло в этом доме, — зловеще прорычала я и приставила пистолет к ее виску.

— Пожалуйста, не делайте мне ничего плохого, — захныкала она, дрожа всем телом.

— Я не сделаю тебе ничего плохого, если ты будешь говорить, — заявила я. Но женщина только подвывала и всхлипывала.

Через несколько минут моя рука устала, и я опустила револьвер. Всякий раз, когда миссис Польк открывала глаза, я поднимала его снова. Наконец женщина вскинула голову и скрипнула зубами.

— Ладно, вы победили, — выговорила она.

— Ты собираешься говорить? — спросила я, без необходимости повысив голос.

— Отлично, — промолвила Ребекка, хлопая в ладоши. — Слава богу.

Я отошла от миссис Польк и села на холодный земляной пол, подтянув колени к груди под пальто, чтобы не терять тепло тела. Пар от моего дыхания оседал каплями на моем лице под шарфом. Я смотрела, как женщина переводит дыхание и собирается с силами. Револьвер согрелся в моей руке.

— Мы ждем, — поторопила я ее. Она кивнула.

Я гадала, насколько хорошо мой отец был знаком с Польками, пока еще был копом? Быть может, они с мистером Польком время от времени болтали за чашкой кофе, жалуясь на своих жен и детей? Я не помню, встречалась ли когда-либо с мистером Польком, но если и встречалась, он не произвел на меня ни малейшего впечатления. Полагаю, именно такими и бывают эти больные люди. Они выглядят совершенно неприметно, но за закрытыми дверьми превращаются в чудовищ. Сидя там, я думала о том, что если б миссис Польк просто пошла и рассказала обо всем в полиции, ее просто отправили бы прочь, сочтя, что у нее больное воображение. Супруга, способная сочинить такую невероятную историю, дабы очернить своего мужа, будет выглядеть последней тварью

в глазах его коллег. Я уверена, что именно так это воспринял бы мой отец.

— Я сейчас вернусь, — прошептала Ребекка.

Вздрогнув, я снова подняла револьвер.

— Куда ты идешь? — спросила я, глядя, как она пересекает подвал. Миссис Польк заерзала и хлюпнула носом, оглядываясь в замешательстве.

— Взять что-нибудь, на чем можно писать, — ответила Ребекка приглушенным тоном. — Вы подпишете свои запротоколированные показания, — добавила она громче, обращаясь к миссис Польк. — И мы с вами условимся, что мы никогда не обратимся в полицию по поводу этого случая. Это мы тоже запишем и заверим.

Повернувшись, она сделала мне знак навести револьвер на миссис Польк. Я послушалась. Потом Ребекка взбежала по крутой лестнице, закрыв за собой дверь в кухню. Я слышала, как ее шаги звучат в доме; когда она поднялась на второй этаж, этот отзвук сделался тише. Я положила револьвер на колени и посмотрела на миссис Польк.

— Мне действительно все равно, что ты сделала, — сказала я ей. — Просто сознайся, и она отпустит тебя, и ты никогда больше нас не увидишь.

Я поняла, что сопротивление сломлено. Миссис Польк сдалась. Я ждала, что Ребекка придет и развяжет ее, и будет гладить по спине, пока та пишет признание, всхлипывая и моля Господа простить ее. Я направила револьвер в сторону миссис Польк, ожидая новых испуганных криков. Но эта женщина просто хмуро смотрела на меня.

— Я расскажу вам все, и что потом? — спросила она. — Что мне тогда делать?

— Не знаю, — честно ответила я. — Бежать прочь?

Миссис Польк снова заплакала, на сей раз тихо, размазывая сопли по лицу.

— Мне некуда бежать, — сказала она наконец. — У меня нет денег. Мне негде больше жить, кроме этого дома.

Я пожала плечами. Я думала о своей коробке с деньгами дома, на чердаке. Отдала бы я эти деньги миссис Польк, отказавшись от собственного побега, лишь бы освободить ее и отвести кару властей от нас с Ребеккой? В голове у меня теснились мысли. Я слышала, как наверху Ребекка чем-то стучала, скрипела половицами. Я ждала, что она вернется и воздаст мне хвалу, поблагодарит меня от всей души, скажет, что я героиня, ангел, святая. Потом мы можем уехать вместе. В

Нью-Йорке люди целовались под развешанными ветками омелы, танцевали, пили шампанское и влюблялись. А где была я? В грязном подвале наедине с женщиной, привязанной к трубе. Я больше не хотела видеть, как плачет миссис Польк. Я считала, что хорошо сыграла свою роль. Я встала, отряхнула от грязи заднюю часть своего пальто и указала револьвером в потолок.

— Она просто хочет помочь, — сказала я, понимая, что могу отправиться за решетку, если что-то пойдет не так. И все-таки я не боялась. Я опустила оружие.

— Знаете, она права, — начала миссис Польк. — Эта леди, ваша подруга. — Голос ее был высоким и монотонным, иногда в горле ее хлюпала слизь. — Мой мальчик не солгал про своего отца. У Митча, моего мужа, были дурные привычки. Понимаете, странные вкусы. Я думаю, некоторые мужчины бывают такими. Я так и не привыкла к этому, но вы должны понять. Я просто не могла уйти. Когда вступаешь в брак, то даешь клятву чтить своего мужа и повиноваться ему. Я так и делала. Куда мне было идти? — Ее глаза блестели в слабом свете. Она сглотнула, посмотрела на потолок и откашлялась. (Куда запропастилась Ребекка?) — Сначала я думала, что Митч просто проверяет,

спит ли наш сынок — так сделал бы любой хороший отец, — продолжила миссис Польк. — Я думала, он просто хочет убедиться, что Ли спокойно и крепко спит в своей постели. Все так делают. Но он задерживался надолго. И раз от раза все дольше. Не знаю, как часто это происходило. Иногда я чувствовала, как он выскальзывает из постели. Иногда я просыпалась только тогда, когда Митч возвращался, и тогда он обнимал и целовал меня, и… ну, вы понимаете. Мы по-настоящему не были с ним вместе с тех пор, как родился Ли. Я потеряла интерес. Мы потеряли интерес. Но неожиданно Митч снова захотел быть со мной. Я была польщена. Но у меня началось воспаление там, внизу… О боже, — вздохнула она, — в моих интимных органах. Врачи сказали, что мне нужно лучше подмываться. Я сочла, что это моя вина. А потом стала задумываться: может быть, Митч привез что-нибудь из летней поездки к своему брату в Торонто — или, по крайней мере, он говорил, что ездил туда. Триппер? Я не знала, что и думать. Но воспаления у меня продолжались. Потом я как-то раз встала посреди ночи, вышла из спальни, заглянула в комнату Ли и увидела Митча в его постели. Сначала я не поняла, чем они занимаются, и просто вернулась в свою

кровать. До меня не сразу дошло, клянусь вам. Какая женщина ожидает, что ее муж сделает что-то подобное? В это трудно было поверить. Но со временем я смирилась с этим. Я говорила себе, что это не приносит такого уж вреда. Я думала, что это не столь уж плохо. И Ли никогда ни на что не жаловался, поэтому я решила, что всё в порядке. Я думала, что я, наверное, ничего не понимаю в мужчинах. Может быть, все мужчины делают это со своими сыновьями. Со временем начинаешь считать это правдой. Что я могла знать? А Ли выглядел и вел себя совершенно нормально. Тихий ребенок, послушный ребенок, с хорошими оценками в школе, милый мальчик… Редко говорил что-нибудь, любил играть с соседскими ребятишками, ничего необычного. Так что я привыкла к этому. А потом я решила, что если он будет чистым, станет лучше для всех нас. Может быть, у меня прекратятся воспаления. Понимаете, мне было больно, когда мы с Митчем были вместе. Ли все равно ел мало, и мне нужно было знать, какая пища за какой срок выходит, чтобы легче было делать клизмы. Знаю, это звучит смешно. Я знала, что делаю нечто неправильное. Но Ли был таким милым мальчиком, таким храбрым, он никогда не сомневался в том, что так нужно… Он

просто всегда хотел, чтобы другие были счастливы. Он говорил: «Я просто не хочу, чтобы кто-то на меня сердился». В школе он делал для меня красивые открытки на Рождество и День святого Валентина. Я думала тогда: «Хороший мальчик». Поэтому я просто делала счастливое лицо. Что мне еще оставалось? Тебе никто не рассказывает о таких вещах. Тебя никто не готовит к таким проблемам.

— Никто? — переспросила я. Миссис Польк не ответила. Она просто склонилась вперед, качая головой — казалось, она потрясена собственными словами. Я снова слышала шаги Ребекки наверху — равномерные, но неспешные. Миссис Польк посмотрела в потолок и вздохнула, борясь с новыми слезами.

— А кому такое расскажешь? — продолжила она. — Я не собиралась говорить никому. В любой ситуации ты делаешь все, что можешь. Знаете, что бывает, когда ты рожаешь детей? Твой муж больше не смотрит на тебя так, как смотрел прежде. Знаете, я винила себя. Я слишком много ела. И для Митча я перестала быть привлекательной. Мы не были вместе уже много лет к тому моменту, как началось это дело с Ли. Потом это просто стало привычкой, обычным

ходом вещей. Понимаете, я весь день была одна. Я была домохозяйкой и больше никем, поймите. Митч не разговаривал со мной, просто приходил домой, съедал свой ужин, пил, а я была чужой в этом доме, досадной помехой. Он едва мог выносить мое присутствие. Но после того как делил постель с Ли, он приходил ко мне. И это было так, словно он сбросил тяжкий груз. Он был спокоен, расслаблен. И когда он обнимал меня, это было приятно. В эти минуты он любил меня. Он был нежен. Я знала, что он меня любит. Он проявлял эту любовь. Он целовал меня, шептал мне ласковые слова. Это было так же, как когда-то давно, когда мы были молодыми, счастливыми и влюбленными, и мне было хорошо от этого. Неужели это так плохо — желать, чтобы тебе было хорошо? Я даже забеременела после одной такой ночи, но случился выкидыш. Мне было все равно. Я вернула своего мужа. Вы не поймете, — сказала она, глядя на меня. — Вы молоды и еще не узнали, что такое разбитое сердце.

Но я отлично понимала ее. Конечно же, понимала. Кто бы не понял?

Она снова заплакала, на этот раз горько.

— Ну-ну, не надо, — произнесла я. Впервые в жизни я искренне пыталась кого-то успокоить.

Несколько мгновений мы сидели молча. Потом услышали звук открывающейся двери и шаги. Повернувшись, мы увидели, как по ступеням плавной походкой спускается Ребекка, неся в руках стопку бумаги и ручку.

— Теперь вы развяжете меня? — Миссис Польк смотрела на меня. — Я рассказала все.

Ребекка с подозрением посмотрела на меня. Я кивнула.

— Это правда, — подтвердила я. Моя ярость утихла. Взгляд миссис Польк нервно перебегал с лица Ребекки на мое лицо, а потом на револьвер, лежащий на полу.

— Мы развяжем вас, когда вы согласитесь с нашими условиями, — ответила Ребекка, — и подпишете соглашение. Эйлин… — Она смотрела на меня скептически. — Что она сказала?

Я не собиралась пересказывать Ребекке слова миссис Польк. У меня просто не было для этого пристойных фраз. Ребекка раздраженно прорычала:

— Ну, Эйлин! — и обратилась к миссис Польк: — Вы должны записать это, иначе наша сделка расторгнута.

— Какая сделка? — Глаза миссис Польк теперь были ясными, и в них горел скорее гнев, чем

страх.

— Наша сделка. Вы сознаётесь во всем, что сделали, а мы не убиваем вас. — Теперь Ребекка тоже сердилась — на миссис Польк и, похоже, на меня. — Дай мне револьвер, Эйлин, — мрачно сказала она. Я послушалась. Я не хотела, чтобы она обижалась на меня. Ребекка отступила назад, глядя на миссис Польк сверху вниз, так же, как я до того. — Расскажите мне то, что вы рассказали ей, — настаивала она, неуклюже держа оружие. Локти ее были расставлены в сторону, пальцы одной руки сжимали ствол. Миссис Польк смотрела на меня так, словно я могла спасти ее.

— Осторожнее, — предупредила я Ребекку.

Она закатила глаза и произнесла:

— Рита, не делайте глупостей.

— Пристрелите меня, — всхлипнула женщина. — Мне уже все равно.

Я едва могла дышать под своим шерстяным шарфом. Оттянув его вниз, я вытерла потное лицо обшлагом пальто.

— Я знаю вас, — неожиданно сказала миссис Польк потрясенным голосом. — Вы та девушка из «Мурхеда».

Ребекка в шоке обернулась ко мне.

— Что ты творишь, Эйлин?

Я неловко натянула шарф обратно и возразила, защищаясь.

— Она уже знала мое имя, Ребекка.

Мне до сих пор непонятно, что случилось дальше, но насколько я смогла разобрать, Ребекка переложила револьвер в одну руку, чтобы подтянуть повыше манжеты своего халата, а когда снова взялась за оружие, руки ее тряслись, она выронила револьвер, и он, ударившись о пол, выстрелил. От грохота у нас всех перехватило дыхание. Я пригнулась и застыла. Ребекка спрятала лицо в ладонях и отвернулась от нас. Миссис Польк не издала ни звука, только подтянула свои толстые ноги к груди, обнажив мясистые лодыжки и колени. Снаружи снова залаяла собака. А потом, все еще слыша эхо выстрела в ушах, мы все переглянулись.

— Черт, — выругалась Ребекка, указывая на правую руку миссис Польк. Сквозь рукав домашней лоскутной кофты проступало быстро расползающееся черное пятно.

— Вы стреляли в меня? — спросила миссис Польк по-детски тонким от неверия голосом.

— Черт, — повторила Ребекка.

Миссис Польк снова начала кричать, пытаясь разорвать свои путы.

— Я истекаю кровью! — вопила она. — Вызовите врача!

Она впала в истерику, как, впрочем, сделал бы любой на ее месте.

— Тихо, — скомандовала Ребекка, останавливаясь рядом с миссис Польк. — Вас услышат соседи. Не усугубляйте ситуацию. Прекратите шум, — велела она, зажимая ладонью рот женщины.

Я ведь предупреждала Ребекку относительно револьвера. «С миссис Польк все будет в порядке», — уверяла я себя. Мне казалось, что она получила лишь неглубокое ранение мягких тканей. Ее рука была такой широкой и жирной, что мне казалось, будто особого вреда она не понесла. Но женщина не желала успокаиваться. Она билась, как обезумевшее животное, и яростно мотала головой, пытаясь вырваться из хватки Ребекки и позвать на помощь. Я подняла пистолет, и когда ощутила сквозь деревянные накладки рукояти странное тепло, мне в голову пришла идея.

Можете думать что угодно: считать меня жестокой, коварной, эгоистичной, сумасшедшей, настолько извращенной и параноидальной, что только смерть и разрушение могли удовлетворить меня, сделать меня счастливой. Вы можете сказать, что я мыслила как преступница, что

меня радовали только страдания других… да говорите что угодно! В единый момент я сообразила, как решить все проблемы: мои, Ребекки, миссис Польк, моего отца. Я составила план: отвезти миссис Польк ко мне домой, пристрелить ее, подождать, пока она умрет, вложить револьвер в руки моего отца — он наверняка уже вырубился, опьянев, — а потом вдвоем уехать в рассвет. Да, конечно, я очень хотела сбежать, и еще сильнее — чтобы Ребекка сбежала вместе со мной. И да, я считала, что убийство миссис Польк — единственный способ спасти нас от последствий плана, задуманного Ребеккой и пошедшего наперекосяк. Если миссис Польк будет мертва, никто не узнает, что мы с Ребеккой замешаны в это. Мы будем свободны.

Но я думала также о своем отце. Что бы я ни делала, ничто не могло побудить его отказаться от спиртного, наладить жизнь, быть тем отцом, о котором я мечтала. Он уже даже не замечал, насколько болен. Только сильное потрясение могло пробудить его. Если он поверит в то, что убил невинную женщину, то этого может оказаться достаточно, чтобы встряхнуть его. Тогда он может увидеть правду, понять, в каком состоянии оказался. Он может измениться внутренне. Если

отца спросят, почему он застрелил миссис Польк, быть может, он пробормочет что-то обо мне и Ли, учитывая, что он считает его моим парнем. Полиция поймет, что отец действительно не в своем уме. Тогда его, возможно, посадят в тюрьму, но скорее всего поместят в лечебницу, где за ним будут хорошо ухаживать и, возможно, вернут ему здравый рассудок. К тому времени меня уже давно здесь не будет, конечно же, но, быть может, вернувшись в разум, он будет скучать по мне, раскается в том, как относился ко мне, пожелает каким-либо образом искупить свою вину…

Что касается меня, я достаточно долго откладывала свой побег из Иксвилла, поскольку мои страх и лень всегда перевешивали желание сделать это. Если я убью миссис Польк, то буду вынуждена убраться из Иксвилла раз и навсегда. Мне придется сменить имя. Я должна буду полностью исчезнуть. Только страх тюремного заключения, расплаты за содеянное мог заставить меня бежать. Я могла остаться в Иксвилле и продолжать мучиться дальше — или же могла скрыться. Я не оставляла себе выбора. Убийство миссис Польк было единственным вариантом.

Но как нам отвезти миссис Польк ко мне домой — ведь она будет кричать в течение всего долгого

пути? Я размышляла над этим, крутя пистолет в руках. Она брыкалась и лягалась, выла и скалила зубы, в то время как Ребекка утихомиривала ее и пыталась заглушить ее вопли, прижимая ладони ко рту женщины. Но это было все равно что пытаться заткнуть пролом в плотине — миссис Польк отказывалась умолкнуть. Ее рука кровоточила, но не сильно. Ребекка в отчаянии посмотрела на меня.

— Что нам делать?

Я порылась в своей сумочке и достала таблетки матери.

— У меня есть это, — сказала я, встряхивая флакончик. — Они от боли.

— Транквилизаторы? — Лицо Ребекки просветлело. Она выхватила флакон у меня из рук. — Что еще у тебя найдется в сумочке? — спросила она. Я не сразу уловила в ее словах сарказм.

— Губная помада, — ответила я.

Я смотрела, как Ребекка снова подступает к миссис Польк, на этот раз осторожно и расчетливо, словно к испуганному зверю. Женщина вывернула шею и дернула головой, когда Ребекка схватила ее сзади, прижав кулаком челюсть, а в другой руке держа таблетки. Она боролась с женщиной, словно фермер с упрямой коровой, крепко

сжимая ее нос двумя пальцами. Видя то, как она двигается, я гадала, откуда на самом деле родом Ребекка. Может быть, она была сельской девушкой, дочерью фермера или владельца ранчо? Честно говоря, меня все меньше и меньше волновал этот вопрос. Я следила, как миссис Польк стискивает челюсти и задерживает дыхание, свирепо глядя Ребекке в глаза. В конце концов губы женщины приоткрылись, и тогда Ребекка разжала кулак, переложила таблетки в другую руку и высыпала их в рот миссис Польк. Я стояла, пригнувшись, и смотрела на все это с некоторого расстояния. У меня возникло странное, смешное побуждение начать молиться или петь. Я вспоминала о ритуалах посвящения, про которые читала в «Нэшнл джиографик», — странные церемонии, во время которых людей связывали и затыкали им рты, оставляли в пустыне в одиночку или на много дней запирали в клетке без еды и воды, одурманивали галлюциногенными зельями, от которых посвящаемые забывали свое имя, свое детство. Они возвращались в свои деревни совершенно новыми людьми: их наполнял дух божества, они не боялись смерти, и все уважали их за это. Я думала, что, возможно, то, что я испытала в этом темном погребе, было подобием

тех ритуалов. Когда это закончится, моя жизнь выйдет на новый уровень. Никто не сможет причинить мне боль — так мне представлялось. Я буду неуязвима.

— Вы пожалеете! — закричала миссис Польк, когда пилюли проскользнули в ее пищевод. — Теперь я знаю, кто вы такие. Я всем расскажу, что вы сделали!

— Никто вам не поверит, — отозвалась Ребекка, но тон ее был далеко не столь уверенным и твердым, как должен был быть.

— Еще как поверит, — возразила миссис Польк, буравя меня глазами.

В этом подвале нынче вечером не свершилось откровенное раскаяние. Здесь были только мы трое, и наши лица в зыбком свете блестели от пота или от слез. Мы с Ребеккой сели и стали ждать. Кровавое пятно на рукаве миссис Польк, похоже, перестало расползаться. Ее дыхание замедлялось.

— Уходите отсюда прочь, — проскулила она. — Убирайтесь отсюда к черту!

По мере того как начинали действовать таблетки, ее речь делалась растянутой, словно на пластинке, пущенной с маленькой скоростью. Когда она уснула, привалившись к стене — из

приоткрытого рта стекала слюна, слезы засыхали вокруг глаз коркой соли, — мы с Ребеккой начали перешептываться. Надо сказать, мне потребовалось меньше десяти минут, чтобы убедить ее в том, что мой план хорош.

— Мой отец — пьяница, — сказала я. — Если он кого-то убьет, в этом обвинят копов — им следовало посадить его еще несколько лет назад. Быть может, они найдут миссис Польк и предпочтут замять все дело. Это неважно. С нами все будет в порядке.

Лицо Ребекки стало замкнутым и напряженным, она стиснула грязный край своего халата так, что костяшки пальцев побелели.

— Нам нужно скрыться куда-то, — добавила я, пытаясь сохранять решимость. — Я думаю — в Нью-Йорк.

— Как мы доставим ее в дом твоего отца? — Это все, о чем спросила меня Ребекка.

— Нам придется перенести ее в машину. — Это казалось легким.

— И ты застрелишь ее.

— Мой отец застрелит, — поправила я. — Но на спуск нажмем мы.

— Мы? — Ребекка подняла брови и отбросила волосы с лица.

— Я нажму, — уточнила я. Это не казалось мне таким уж страшным. Этой женщине все равно незачем было жить. Она могла или умереть быстро и безболезненно, или остаться в живых и гнить заживо в этом доме, с каждым днем ощущая на своих плечах все более тяжкий груз темного прошлого. — Ей не будет больно. Смотри. — Я пнула жирную ступню женщины. — Она спит и ничего не чувствует.

Несколько секунд Ребекка покусывала губы и ломала руки, потом согласилась. Вместе мы развязали руки миссис Польк и подняли ее с пола. Помнится, я думала тогда: удивительно, каким тяжелым может быть человеческое тело. Я подхватила ее под плечи, а Ребекка взяла за лодыжки, и мы шаг за шагом затащили женщину на лестницу: я шла задом наперед и принимала на себя основную часть веса. Это потребовало всех моих сил, до капли, и к тому времени, как мы вышли из подвала, у меня подламывались колени и болели руки.

— Давай отдохнем, — сказала я. Но Ребекка настояла на том, что мы должны действовать быстро.

— Надо вынести ее отсюда. Потом ты поедешь домой к своему отцу. Подготовь там все. А я прибе-

русь здесь. Нам нельзя оставлять никаких улик.

Она снова взялась за щиколотки миссис Польк. Тело спящей женщины весило не меньше, чем ванна, полная воды. Голова ее запрокинулась, нижняя челюсть отвисла. Когда я заглянула ей в рот, то увидела, что зубы у нее коричневые, а десны почти белые. Я подумала: «Она уже сейчас все равно что мертва». Ребекка остановилась, чтобы набросить на нашу ношу халат, прежде чем мы протащили ее через дверь. Мы двигались осторожно, но все равно стукнули миссис Польк ягодицами об обледеневшие ступени. Несколько раз Ребекка оскальзывалась и роняла ноги женщины на снег, покрывавший дорожку. Это напоминало какой-то дешевый фарс, и я чувствовала, как из моей груди в горло поднимается волна веселья. Когда мы затащили свой груз в машину, я помедлила, чтобы перевести дыхание, глядя на небо: глубокая чернота была усеяна звездами, похожими на брызги сверкающей краски. Мне казалось, что я сейчас рассмеюсь истерическим смехом в тишине этой ночи, посреди этого прекрасного безмолвия. В тот момент я чувствовала, что вся вселенная вращается вокруг меня. У Ребекки был напряженный вид. Тогда я захлопнула дверцу машины и натянула свою

«посмертную маску», пытаясь скрыть ликование. Не могу сказать вам, о чем я думала. Я здесь не затем, чтобы извиняться.

— До встречи, — неожиданно сказала Ребекка и повернулась, чтобы возвратиться в дом.

— Я буду ждать! — крикнула я ей вслед. Мой голос громким эхом раскатился по заснеженному двору. Ребекка обернулась и приложила палец к губам, призывая меня к молчанию. — Мы можем поехать куда угодно, — добавила я уже тише. — Только вдвоем, ты и я. У меня есть деньги. Никто никогда не найдет нас. — Я сообщила ей свой адрес. — В квартале от начальной школы. Ты сможешь найти дом?

Она лишь махнула рукой, взбежала по обледенелым ступеням и закрыла за собой дверь.

Финал

Я покинула Иксвилл, не взяв с собой ни одного семейного фото, и мне остается полагаться только на расплывчатые воспоминания. Я запомнила папу таким, каким оставила его, — иссохшим, лежащим на кровати в алкогольном забытьи. Джоани я помню как юную девушку — чувственную, милую и бездумную. Маму, как я вам уже говорила, мне трудно представить. Мне видятся лишь ее истончившиеся полуседые волосы, когда она лежала мертвой в своей постели, а я свернулась рядом с ней и пыталась собраться с духом, чтобы пойти и сказать отцу, который уже несколько недель пил без перерыва, что ее больше нет. «Ты уверена?» — спросил он меня, когда я стояла перед ним в жарком и безжалостном утреннем свете солнца. Я помню этот образ одиночества и мой взгляд, брошенный в полуоткрытую дверь комнаты, где лежала — но уже не спала — моя мать. Плакать я ушла в санузел. Отчетливо помню свое отражение в зеркале: глаза мои были красными и распухшими. Все еще дрожа, я разделась, обняла себя тощими

бессильными руками и стояла так под душем, всхлипывая. Мать умерла, когда мне было девятнадцать лет, и к тому времени я стала тощей, как щепка, а она хвалила меня за это.

Мне никогда не нравились мои фотографии. Я была пухлым ребенком — бледной домашней девочкой, которая на уроках физкультуры в средней школе не могла лазать по канату или бегать, как все остальные. Я с трудом втискивала свои жирные трясущиеся бедра в одежду на размер меньше — мать нарочно покупала мне такие вещи, надеясь, что я каким-то образом сумею измениться настолько, чтобы влезть в них. Становясь старше, я оставалась низкорослой, однако исхудала так, что сделалась похожа на птицу. Некоторое время я еще сохраняла какое-то подобие детской пухлости — на щеках, бедрах и животе. Но к тому времени, как покинула Иксвилл, я стала настоящей вешалкой, которую даже ущипнуть не за что, и мне это нравилось. Конечно, я знала, что это неправильно. Я клялась, что, когда вырасту, я буду лучше питаться и лучше одеваться. Стану настоящей леди. Полагаю, мне казалось, что после бегства из Иксвилла я вырасту на шесть дюймов, стану фигуристой и красивой. Я думала о Ребекке, представляла ее

в купальнике, с узкими бедрами и длинными изящными ногами, как у моделей в журналах мод. Здоровое сияние кожи. Я желала, чтобы Ребекка каким-то образом помогла мне, указала мне верное направление, сказала мне, как нужно одеваться и куда ходить, что делать, как жить. Картинка моего будущего, которую я мысленно рисовала до встречи с Ребеккой, была довольно отчетливой: я въеду в какую-нибудь обветшавшую квартирку, или, может быть, в пансион для девушек, где смогу свободно заниматься такими чудесными делами, как чтение газет, поедание бананов с пятнышками, прогулки в парке, отдых в своей комнате, — все как у нормального человека. Но после появления Ребекки у меня появилась надежда, что все может пойти по-другому. Я хотела сделать со своей жизнью нечто необычное. Я отчаянно желала быть кем-то важным, смотреть на мир сверху вниз из окна небоскреба и расплющить любого, кто перейдет мне дорогу, словно таракана, угодившего под каблук.

И вот как я провожу свои дни сейчас. Я живу в прекрасном доме. Я сплю в прекрасной постели. Я ем прекрасную пищу. Я хожу гулять по красивым местам. Я питаю к людям глубокую приязнь. По ночам моя постель полна любви,

потому что я сплю в ней одна. Я легко плачу, от боли и удовольствия, и не извиняюсь за это. По утрам я просыпаюсь, полная признательности за еще один чудесный день. Мне потребовалось много лет, чтобы достичь такой жизни. Когда мне было двадцать четыре, самое большее, чего я хотела, — это проводить вечера в тесноте среди незнакомых людей или брести по тротуару, зная, что дома меня не ждет отец; я хотела найти безопасное место где-нибудь далеко, найти дом. Как я упоминала, мое исчезновение не решило все мои проблемы, но оно позволило мне начать заново. Когда я прибыла в Нью-Йорк под вечер Рождества, я была трезва и голодна, тело мое изнемогало от усталости, а лицо опухло. Я весь вечер бродила по Таймс-сквер и пошла в кино смотреть какой-то непристойный фильм, потому что замерзла, но мне не хватало духа сунуться в отель — я опасалась, что полиция ищет меня. Я боялась заговорить с кем-либо, боялась дышать. Именно там я встретила своего первого мужа — на заднем ряду кинотеатра. Как видите, то, что наступило после окончания этой истории, не было прямым путем в рай, но я считаю, что пошла по верной дороге, со всеми ухабами и поворотами, какие и должны присутствовать на

нормальной дороге.

* * *

В безмолвной темноте того холодного и раннего рождественского утра в Иксвилле я припарковала «Додж» на подъездной дорожке у своего дома, оставила миссис Польк обмякшей грудой сидеть на пассажирском месте, потом пробралась по снегу к двери и вошла внутрь. Я даже не подумала собрать чемодан, хотя знала, что это мои последние мгновения в этом доме. Когда, сунув в сумочку револьвер и свои сбережения — все наличные, которые у меня были, — я спустилась с чердака, отец бодрствовал. Я не стала опустошать его счет или обналичивать свой последний зарплатный чек. Я долгое время гадала, следует ли мне вступать во владение этим домом после смерти отца, но через десять или двадцать лет, предполагая, что он уже умер, решила забыть об этом. В этом доме не было ничего, ни одной вещи, которую я хотела заполучить достаточно сильно, чтобы вернуться и предъявить свои права на имущество. В любом случае для всего Иксвилла я была мертва — призрак, потерянная душа, забытый случай. Когда в то утро я наткнулась на отца, стоящего посреди лестницы, он уже был пьян.

На голове у него была шапка, а на плечи, поверх обычного халата и семейных трусов, было наброшено пальто. Он смотрел на меня так, словно увидел призрака.

— Кто-то рыщет позади нашего дома, — сказал он. — Я всю ночь слышал, как он сопит, закапываясь в снег. Это не «шпана». — Он покачал головой. — Какой-то дикий зверь. Может быть, волк.

— Ложись спать, папа, — посоветовала я ему и подняла бутылку, валяющуюся на полу.

— Ты его видела? — спросил он, с трудом сгибая колени, чтобы усесться на верхнюю ступеньку, словно престарелый король на свой занозистый трон. Я присела рядом с ним, протянула ему бутылку и повернулась к нему, глядя, как он пьет. Глаза его были пустыми, похожими на бельма, руки тряслись.

— Здесь нет волков, — заверила я его, — только мыши.

Ему понадобилась всего минута или две, чтобы выхлебать весь джин. Алкоголь быстро взял над ним верх, словно дух, вселяющийся в тело: голова отца поникла, как у сонного ребенка, нижняя губа отвисла, веки затрепетали, точно умирающие мотыльки. Я помогла ему подняться, взяв его за

руки повыше локтей, и отец навалился на меня, прижавшись затылком к моей щеке.

— Мыши? — пробормотал он. Я отвела его в материнскую спальню, уложила на постель и поцеловала его опухшую, испещренную пятнами руку.

— Доброй ночи, папа.

Так я попрощалась с ним, а потом стояла и смотрела, как он неуклюже тянется к пустой бутылке, стоящей на прикроватном столике, смотрит на нее, прищурившись, роняет ее на пыльный ковер, вздыхает, закрывает глаза и проваливается в сон. Я вышла и закрыла дверь.

Это всё. Не было никакого грандиозного финала. Он был моим отцом, и это всё, чем он был для меня. Я могла бы часами сидеть и ждать, когда приедет Ребекка. Но в этом не было смысла. Я знала, что она не появится. Я знала, что она давным-давно сбежала. В конце концов, она оказалась трусихой. Полагаю, идеализм без последствий — нелепая мечта любого избалованного дитяти. Обижена ли я на нее? Нет, честное слово. Ребекка была странной женщиной и появилась в моей жизни в странный момент, именно тогда, когда мне больше всего нужно было сбежать от этой самой жизни. Я могла бы сказать о ней больше,

но это все-таки моя история, а не ее.

Прежде чем выйти из дома, я зашла в санузел, подставив замерзшие пальцы под струю горячей воды. В зеркале я видела совсем иную девушку. Я не могу объяснить, что за уверенность увидела на своем лице. Мои глаза смотрели совершенно по-новому, губы были сжаты не так, как прежде. Я попрощалась с домом, стоя над раковиной в ванной комнате. Могу сказать, что чувствовала я себя странно спокойной. Тяжесть револьвера, деньги в сумочке — пора. Пора уходить отсюда. Я провела свой последний момент в этом месте наедине с собой, стоя перед зеркалом с закрытыми глазами. Уходить было больно. В конце концов, это был мой дом, и это кое-что значило для меня: каждая комната, каждое кресло, каждая полка и лампа, стены, скрипящие половицы, истертые перила. В последующие недели и месяцы я плакала об этом доме, но в тот день я просто сказала ему суровое «прощай». В ту ночь я действительно увидела себя впервые: мелкое создание среди мирских скорбей, — и это изменило меня. Я ощущала сильное желание взглянуть на фотографии времен моего детства, поцеловать и погладить юные лица на этих снимках. Я поцеловала себя в зеркале — так я часто делала в детские годы, — и

в последний раз спустилась по лестнице. Наверное, стоило сходить к машине, вытащить из багажника столько пар обуви, сколько уместится у меня в руках, и бросить их в прихожей — как прощальный дар моему умирающему отцу, в надежде, что он промчится по Иксвиллу, словно торнадо, создавая на своем пути столько хаоса, сколько позволит ему больное сердце. Но я не сделала этого. Не смогла. Я вспоминала, как предыдущим утром он топал к машине по снегу, словно маленький мальчик в своем длинном пальто, только безрадостный и оборванный, и по пути в магазин глаза его были полны паники, а не праздничного веселья. Он потерял рассудок, а теперь терял дочь.

Я не знаю, где и когда наша семья свернула на неверный путь. Мы не были плохими людьми — не хуже, чем кто-либо из вас. Полагаю, все окончилось так потому, что мы так и не смогли протянуть между собой некие связующие нити. Я закрыла входную дверь — в последний раз. А когда повернулась лицом ко двору, одна из сосулек — словно того пожелал сам Господь, — сорвалась и ударила меня в щеку, скользнув, как тонкое лезвие, от края глазницы до уголка челюсти. Больно не было, только слегка щипало. Я почувствовала,

как из разреза течет кровь, как холод проникает в рану, подобно призраку. Позже мужчины говорили, что этот шрам придает мне выразительности. Один из них сказал, что линия, тянущаяся сверху вниз по моему лицу, похожа на пустую могилу. Другой называл ее дорогой слёз. Для меня это просто отметина, свидетельствующая о том, что некогда я была кем-то другим, той девушкой, Эйлин, — той, кого больше нет.

Эта последняя поездка на «Додже» через предрассветный Иксвилл была приятной. У меня были с собой только револьвер, деньги в сумочке и карта в кармане. Я снова и снова проверяла маршрут от Иксвилла до Ратленда. В конце концов, не было причин досконально следовать моему плану. До того я думала, что будет славно исчезнуть в канун Нового года, потерявшись в суматохе и шуме проводов старого года и встречи нового. Но Рождество было точно таким же подходящим днем для исчезновения, как оказалось. Сейчас я допускаю, что в тот день поезда могли и не ходить. Однако я так этого и не узнала, потому что не попала в Ратленд.

Иногда мне нравится воображать, какой разговор мог бы состояться между Ритой и моим отцом, если б тот зачем-то спустился в погреб и нашел

бы ее там, связанную и испуганную — в том виде, в каком я нашла миссис Польк. Быть может, он просто развязал бы ее, спросил бы, не хочет ли она выпить, и ушел бы наверх, шарахаясь от своих призраков. Или, может быть, он выслушал бы ее историю, всю ее философию, и оставил бы ее там, дрожащую от холода и голодную, на несколько дней или навсегда. Может быть, он позвонил бы в полицию, потребовал бы пустить собак по моему следу — по следу своей блудной дочери, — предложил бы старый свитер моей матери, пропитанный моим пóтом, чтобы они могли выследить меня по запаху в заснеженных холмах. Я представляла самые различные сценарии. Но никто и никогда не искал меня. Или же я просто достаточно хорошо спряталась, и меня так и не нашли.

Я говорила всем, что меня зовут Лина. А фамилию я сменила следующей весной, когда вышла замуж. В этом заключается выгода от брака. Женщина обретает новое «я».

Быть может, неделей раньше я тосковала бы по нормальному Рождеству, желала бы, чтобы у меня была возможность постучаться в чью-нибудь дверь, сесть за накрытый стол — чтобы там стояло блюдо с индейкой, или окороком, или яг-

ненком, или жареной уткой, — и чтобы пожилой, но все еще красивый отец семейства с улыбкой отрезал бы каждому свою порцию. Я тосковала бы о любящей матери с жемчужными серьгами в ушах, о добром дедушке в свитере ручной вязки, о собаке с висячими ушами, о потрескивающих поленьях в камине. Быть может, если б я не встретила Ребекку, то уезжала бы из Иксвилла, полная сожалений. Быть может, я оплакивала бы свою неспособность добиться процветания, клялась бы Господу, что изменюсь, стану настоящей леди, буду как следует питаться три раза в день, сидеть прямо, как послушная девочка, вести дневник, ходить в церковь, молиться, носить чистую одежду, обзаведусь подругами, буду встречаться с парнями, буду ходить красивой походкой, заниматься стиркой, и так далее — что угодно, лишь бы это означало, что мне не придется свершать свой путь в одиночку, уезжая в холодное рождественское утро, подобно круглой сироте.

Но все обернулось так, что я покидала Иксвилл без сожалений, и я была не одна. Рита Польк безвольно сидела рядом со мной в «Додже» — спящая, молчаливая и почти достойная почтения в этом молчании. Ее ладони, широкие и посиневшие от холода, соскользнули на сиденье между

нами, когда я повернула, следуя изгибу дороги. Я подняла их и мягко положила ей на колени.

Я медленно ехала по безлюдным улицам, мимо начальной школы, мимо средней школы, мимо ратуши. Я выбрала путь, ведущий мимо полицейского управления, чтобы сказать «прощай» позеленевшей медной табличке, широким окнам, люминесцентным лампам и грязному линолеумному полу внутри. Я ехала по Мэйн-стрит, серой и пустой в тусклом утреннем свете. Полоски желтого света протянулись от горизонта между низкими зданиями и озарили интерьер парикмахерской, золотистую надпись в окне булочной, смерзшуюся снежную жижу в сточной канаве перед иксвиллским почтовым отделением. Эти лучи то вспыхивали, то угасали все то время, пока я вела машину к выезду из города, как будто понимая, что не могу увидеть все это место разом — только вспышками, отдельными деталями. Ветер завывал в открытом окне и обжигал мое лицо, как будто кто-то свыше повелевал мне запомнить Иксвилл таким, в мерцании света и вое ветра: просто некое место на земле, город, похожий на любой другой, стены и окна, — ничего такого, что можно было бы любить, о чем можно было бы скучать или тосковать. Я включила

радио, но на всех частотах передавали только рождественские песни или гимны, и я выключила приемник.

Я хотела бы снова испытать то краткое состояние покоя, которое ощутила, когда ехала по шоссе, ведущему на север. Мой разум был пуст, широко раскрытые глаза упивались зрелищем проплывающих мимо рощ и заснеженных пастбищ. Солнце мелькало между деревьями, и на одном из поворотов дороги ударило мне прямо в лицо, ослепив меня. Когда я снова смогла видеть, в нескольких ярдах впереди, преграждая мне путь, стоял олень. Я притормозила, глядя на животное, застывшее на месте. Олень смотрел на меня в ответ, чуть опустив голову, как будто я заставила его ждать. Я свернула на обочину и закрыла окно машины.

Миссис Польк все еще крепко спала, когда я оставила ее в автомобиле, брошенном возле дороги с мотором, работающим на холостом ходу. В баке оставалось достаточно бензина, чтобы двигатель не заглох еще несколько часов. Я надеялась, что она успела открыть глаза, чтобы оценить то место, где я оставила ее. Если бы я должна была умереть, этот прекрасный заснеженный перелесок, безмолвный и холодный,

отражающий голубое сияние ясного утреннего неба, был бы едва ли не самым лучшим местом. Я попрощалась с «Доджем» и направилась к оленю, все еще стоящему недвижно. Из его ноздрей вырывался пар и повисал в воздухе между нами, словно стайка призраков. Я подняла руку, словно бы для того, чтобы поприветствовать благородное животное. Олень не сводил с меня огромных черных глаз, полных испуга, но при этом добрых, морда его была чуть тронута инеем, рога парили над головой, подобно короне. Я помню, как остановилась рядом с оленем; его дрожащее тело было мощным и крепким. На глазах у меня все-таки выступили слезы. Я открыла рот, чтобы заговорить с оленем, но он сорвался с места и поскакал прочь от дороги, к опушке, а потом скрылся среди деревьев. Вот и всё. Я плакала и размазывала слезы по лицу, чтобы стереть с него кровь, и шла все дальше, а мои ноги с хрустом взламывали корочку наста на снегу.

Когда несколькими милями дальше, у перекрестка дорог, я поймала машину, направляющуюся на юг, я сказала водителю, что мать побила меня и вытолкала из автомобиля. Мужчина протянул мне термос, полный виски. Я сделала глоток и заплакала еще сильнее.

— Ну-ну, — промолвил он, похлопав меня по бедру крепкой обветренной ладонью.

Откинувшись на спинку пассажирского сиденья, я пила и смотрела в затуманенное окно. Я смотрела, как старый мир остается позади, все дальше и дальше, уходит, уходит, уходит… пока, подобно мне, не исчез совсем.